

АЛЕКСЕЙ ЭЙСНЕР

ЧЕЛОВЕК С ТРЕМЯ ИМЕНАМИ







ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

МАТЭ ЗАЛКА



АЛЕКСЕЙ ЭЙСНЕР

ЧЕЛОВЕК С ТРЕМЯ ИМЕНАМИ

Повесть
о Матэ Залке

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1986

Р2
Э33

Герой повести «Человек с тремя именами» — Матэ Залка, революционер, известный венгерский писатель-интернационалист, участник гражданской войны в России и в Испании. Автор этой книги Алексей Владимирович Эйснер (1905—1984 гг.) во время войны испанского народа с фашизмом был адъютантом Матэ Залки — легендарного генерала Лукача. Его повесть — первая в серии «Пламенные революционеры», написанная очевидцем изображаемых событий. А. В. Эйснер — один из авторов в сборниках «Михаил Кольцов, каким он был», «Матэ Залка — писатель, генерал, человек», «Воспоминания об Илье Эренбурге». Его перу принадлежат сборник очерков «Сестра моя Болгария» и повесть «Двенадцатая, интернациональная».

$Э\frac{0506000000—028}{079(02)—86}153—86$

ПРЕДИСЛОВИЕ

Герой этой книги жил и действовал в Венгрии, в России и в Испании, а так как он «посетил сей мир в его минуты роковые», на его долю выпало участие в трех войнах. В 1916 году он, юный вольноопределяющийся австро-венгерской армии, сражался сначала против берсальеров Итальянского королевства, а потом и против пехоты Российской империи. Тяжело раненным он был взят в плен, около года провел в лазаретах и по выздоровлении попал в лагерь для военнопленных за Хабаровском.

После того как Октябрьская революция дошла до Сибири, он вместе с другими венграми бежал в тайгу и создал партизанский отряд, выступивший против атамана Семенова и белочехов, а позже вступил в Красную Армию, воевал, штурмовал Перекоп и даже после занятия Крыма не демобилизовался, но участвовал в ликвидации махновщины и возникавших то там, то сям мятежей.

Из сорока одного года жизни около двадцати лет он провел в родной Венгрии, еще двадцать — в ставшем ему второй родиной Советском Союзе и всего неполных восемь месяцев — в Испании, где командовал Двенадцатой интернациональной бригадой, переформированной затем в 45-ю интердивизию.

11 июня 1937 года он был сражен на раскаленной

---

[1] Стрелки (*ит.*).

арагонским солнцем прифронтовой дороге осколком артиллерийской гранаты. Однако именно месяцы участия в испанской гражданской войне и жертвенная смерть в ней прославили его больше всех предыдущих подвигов, и без этого вряд ли могла бы состояться повесть «Человек с тремя именами».

О первой мировой войне, с которой началась его столь разносторонняя военная биография, в памяти человечества сохранилось очень многое. Гражданская война в России не только многократно описана историками, но и изучается в советских школах. Однако бурные и трагические события 1931—1939 годов, потрясшие Испанию, отодвинуты в прошлое и заслонены страшнейшей из войн, разразившейся на Западе вскоре после поражения испанских республиканцев, а летом 1941-го обрушившейся и на СССР. И все же, как сказала Долорес Ибаррури в редакции «Красной звезды» на собрании по случаю тридцатой годовщины начала гражданской войны в Испании, всемирная антифашистская война началась не в тридцать девятом и не в сорок первом, а в 1936 году когда испанский народ первый выступил против своего а также против итальянского и германского фашизма и в жестоких боях продержался немногим меньше трех лет при действенной поддержке СССР и съехавшихся со всех концов света добровольцев.

Первое время огромные исторические перемены осуществлялись в Испании мирным путем. Начало их относится к 1931 году.

В условиях мирового экономического кризиса бесславно закончилась жестокая военная диктатура генерала Примо де Ривера, поддержанная королем. Сторонники Республики на первых же свободных муниципальных выборах добились ими самими не предвиденной победы,

получив абсолютное преобладание над монархистами во всех крупных городах. Испания была провозглашена республикой. Альфонс XIII по рекомендации главы своего последнего кабинета покинул страну.

Казалось бы, за этим бескровным переворотом должна была последовать эра демократического развития и процветания. Но очень скоро была предпринята первая попытка военно-монархического путча, без большого, впрочем, кровопролития пресеченная. Гораздо хуже оказалось другое: правые уже на следующих же выборах в кортесы взяли убедительный реванш. Нерасчетливо жесткое их правление, стремление восстановить все утерянные позиции привело к нарастанию недовольства в стране. В конце 1934 года вспыхнуло вооруженное восстание шахтеров в Астурии. Захватившие склады оружия и взрывчатки, одержавшие ряд побед и даже занявшие центр провинции — Овьедо, шахтеры в конце концов были свирепо подавлены жандармерией и испанскими колониальными частями под командованием молодого генерала Франко. Участники сражений и забастовок были подвержены жесточайшим репрессиям. Но военное поражение не повергло побежденных в отчаяние. В борьбе они приобрели драгоценный опыт, и, что самое главное, между шахтерами разных политических ориентаций возникло взаимопонимание. Отчуждение, существовавшее ранее между социалистами, коммунистами и анархистами, исчезло, и через некоторое время стало возможно соглашение о единстве действий социалистической и Коммунистической партий Испании. Впрочем, не меньшую роль, чем совместные боевые действия, сыграл и недавний приход к власти в Германии истеричного фюрера, обеспеченный тем, что немецкие социал-демократы и коммунисты на решающих выборах проголосовали врозь, каждый за своего кандидата, тогда как вместе они собрали бы голосов больше, чем Гитлер. Этот горький опыт, пусть и

запоздало, но постепенно, через пакт о единстве действий, привел-таки к образованию блока всех левых и демократических сил, названного Народным фронтом. В начале 1936 года на парламентских выборах в Испании правые потерпели поражение.

Однако испанская аристократия, многочисленный генералитет, традиционно связанное с ними высшее духовенство, а также недавно созданная организация фашистского типа — «испанская фаланга» — не желали примириться с результатами голосования. А так как состоявшее из прекраснодушных либеральных профессоров и красноречивых левых адвокатов первое правительство, сформированное в результате победы Народного фронта, не допускало и мысли о возможности каких бы то ни было враждебных комплотов, то объединенная реакция, не таясь, взялась за подготовку военного мятежа. Но, когда он начался, произошло нечто непредвиденное. Немедленно переформированное и ставшее более радикальным, правительство хотя и не без колебаний и проволочек, но все же решилось раздать стрелковое оружие организованным рабочим, да и вообще широким массам горожан. Вместе с верными Республике солдатами, а также со штурмовой охраной — новой, республиканской жандармерией — они оказали регулярной армии, поднявшей реакционный мятеж, такое отчаянное сопротивление, что уже на третьи сутки стало очевидно: на этот раз pronunciamiento[1], столь часто изменявшее течение испанской истории, не удалось. За исключением Севильи, во всех крупных городах и промышленных центрах: в Мадриде, в Барселоне, в Бильбао, в Валенсии, в Малаге, в Сантандере, в Мурсии, в Толедо, в Альбасете и во многих других армейский бунт был или полностью ликвидиро-

---

[1] Восстание, мятеж (кучки военных в армии) *(исп.)*, так называемый верхушечный военный переворот.

ван, или, в худшем случае, изменившие присяге армейские подразделения отступили в свои казармы и были окружены.

Решительность, проявленную народом в уличных столкновениях, легко понять, вспомнив жуткие подробности подавления Астурийского восстания и представив себе, к чему привел бы успех фашистского мятежа. Решительность и беспощадность народа были ответом на зверства мятежников: там где они одерживали победу, они истребляли поголовно всех, сдавшихся в плен, притом не одних сражавшихся, но и назначенных правительством губернаторов, командующих округами и других представителей провинциальных республиканских властей и тем более не успевших скрыться видных местных социалистов, коммунистов и профсоюзных руководителей.

В первую неделю не только испанская республиканская печать, но и вся мировая, за исключением крайне правой, признавала, что республиканское правительство почти повсеместно взяло верх. Опасность же высадки на побережье колониальных войск из Марокко совершенно исключалась, поскольку почти весь военно-морской флот, пусть и без большинства офицеров, продолжал подчиняться правительству и оборвал бы любую попытку пересечь Гибралтарский пролив. Однако именно в этот решающий момент в испанские события нагло вмешались Гитлер и Муссолини, предоставив командующему находящейся в Марокко армией генералу Франко технику, военных специалистов и необходимое количество транспортных самолетов, при помощи которых тот организовал поспешную переброску по воздуху иностранного легиона и таборов[1] марокканцев на плацдармы, захваченные мятежниками в южных районах страны.

[1] Часть регулярных марокканских войск.

Началось постепенное перерождение неудавшегося путча в жесточайшую гражданскую войну, в которой против народа сражалась регулярная армия, не обладавшая, правда, пригодной для боевых действий авиацией и танками, но имевшая в избытке и полевую артиллерию, и крупнокалиберные пулеметы, и достаточно боеприпасов. Вслед за транспортными самолетами мятежники начали получать итальянские и германские трехмоторные бомбардировщики, итальянские танкетки, немецкие четырехпушечные батареи, зенитки и военные грузовики.

И тогда весь мир раскололся надвое.

С обеих сторон пока еще не сплошного, а потому и быстро видоизменяющегося фронта военные корреспонденты ежедневно информировали читателей разноязычных газет о страшных событиях на Пиренейском полуострове, освещая и оценивая их в соответствии с тем, какие слои общественного мнения обслуживал их печатный орган.

В результате заранее оговоренной эффективной помощи со стороны Муссолини и Гитлера военное положение в стране начало быстро меняться. В открытых боях с численно превосходящим и хорошо снабженным противником республиканцы неизбежно проигрывали. Разрозненные толпы энтузиастов, часто не обеспеченные обоймами, а то и палящие из охотничьих ружей, не могли долго оказывать сопротивление непрерывно, рота за ротой, прибывающим на громадных самолетах легионерам и не боящимся смерти «маврам», как испанцы продолжали называть арабов. И те захватывали один населенный пункт за другим, освобождая жандармов, солдат и офицеров, тут же присоединявшихся к наступающим. Под властью законного правительства, даже через два месяца после начала мятежа, оставалось около двух третей испанской территории, но португальская граница уже была от нее полностью отрезана, так же как и северная

половина французской. Положение продолжалось ухудшаться. При этом, несмотря на солидный золотой запас, Республика не имела возможности приобрести за границей необходимую ей авиацию, артиллерию и другое оружие, чтобы на равных бороться с великолепно оснащенным врагом: все западноевропейские правительства наложили эмбарго на поставки военных материалов в Испанию, тогда как одностороннее вмешательство дуче и фюрера через посредство португальского диктатора Салазара продолжалось.

Однако примечательно, что с первых же часов на помощь стихийно возникшему в Республике народному ополчению пришли иностранные добровольцы. 18 июля, в день, назначенный главарями мятежа для его начала, в Барселоне должно было состояться торжественное открытие международной Спартакиады, на которую съехались рабочие-спортсмены из разных стран. Оно, естественно, не состоялось, но, увидев, что происходит вокруг, значительная часть ее участников, главным образом коммунистов и сочувствующих им, бросилась на поддержку своих гостеприимных хозяев. Оказались на баррикадах и некоторые проживавшие в Каталонии политэмигранты из тоталитарных государств. Уже через месяц по окончании уличных боев на Арагонском фронте сражались объединенные по языковому признаку небольшие иностранные добровольческие отряды, гордо называвшиеся центуриями. Число бойцов в них составляло около полутора тысяч. В отличие от большинства испанцев, многие из них в свое время отбывали воинскую повинность, а те, кто постарше, обладали и опытом мировой войны. Именно эти центурии — немецкая, итальянская, польская и венгерская — помогли сцементировать и надолго удержать застывшую линию обороны. Приблизительно в то же время немало смелых людей из Франции пересекли границу на севере и самоотверженно дрались с франки-

стами под Сантандером, под Ируном, но из-за недостатка боеприпасов им и здесь пришлось отойти.

Но, чем скорее продвигались мятежники и чем наглее действовали итальянские «капрони» и германские «юнкерсы», разрушавшие беззащитные города, а среди них и такой еще недавно модный курорт, как Сантандер, тем грознее росло негодование народов. Все более откровенная и все более массированная поддержка, оказываемая генералу Франко фашистской Италией и нацистской Германией, привела к тому, что Комитет по невмешательству, заседавший в Лондоне, превращался в ширму, прикрывающую военную помощь мятежникам со стороны Германии и Италии. СССР официально заявил, что «видит лишь один выход из создавшегося положения: вернуть правительству Испании право и возможность покупать оружие». А немного ранее, под влиянием все возрастающего проникновения в Испанию иностранных волонтеров, возникла мысль о создании из них интернациональных бригад. И уже к середине октября французский, итальянский и польский представители Коминтерна договорились об этом с Ларго Кабальеро, главой первого правительства Народного фронта, сформированного 4 сентября 1936 года.

Около месяца ушло на организацию базы формирования интербригад и на обучение первой из них, Одиннадцатой (по нумерации в республиканской армии). В нее вошли французский батальон «Парижская коммуна», немецкий, принявший имя Эдгара Андре, руководителя международного профсоюза моряков и докеров, только что подвергнутого в Берлине средневековой казни, и польский — имени генерала Домбровского. В канун девятнадцатой годовщины Октября бригада прибыла в Мадрид, под овации его жителей прошла по главным улицам и сразу же была направлена на позиции. Как стало известно мадридскому командованию, именно на 7 ноября был

назначен штурм столицы одновременно четырьмя колоннами, предводительствуемыми четырьмя испанскими генералами, пятая же — из подпольных сторонников Франко — должна была выступить изнутри.

В упорных и все ожесточающихся боях, предваряемых непрерывными бомбежками, франкисты, хотя с каждыми сутками медленнее и медленнее, однако все же продвигались и постепенно сжимали кольцо вокруг города на дальних подступах. В первых числах ноября они ворвались в прилегающий к столице старинный парк Каса-де-Кампо, за которым расположился Университетский городок, а на другом участке проникли в рабочее предместье Карабанчель. Несколько испанских бригад, сформированных так называемым Пятым полком, который представлял собой военную организацию Коммунистической партии Испании, вместе с бригадой карабинеров, обычно несущих охрану границ, и отдельными батальонами штурмовой охраны, неся огромные потери, сдерживали противника, но подавляемые его авиацией и многократным превосходством в артиллерии, остановили его лишь у стен Мадрида. Завязалось решающее сражение за него. У обороняющихся недоставало не только пулеметов, но и винтовок, не хватало и людей.

Неожиданное появление такого подкрепления, как Одиннадцатая, окрылило защитников города и оказало не только психологическое воздействие: около двух тысяч идейных бойцов, ведомых опытными командирами-фронтовиками, значили в этот момент очень многое. Их немедленно послали контратаковать в Каса-де-Кампо, где они сбили кадровых франкистских солдат с занимаемых ими позиций. Но после налета «юнкерсов» и получасовой артиллерийской подготовки на Одиннадцатую послали вдвое превосходящие силы, половину которых составляли марокканцы, и ей пришлось отойти. Вскоре она, однако, оправилась и опять кинулась в бой. И хотя через

некоторое время ее снова потеснили, все же интеровцам удалось удержать часть парка.

Распространенные европейской и американской печатью вести об этом воскресили в сердцах всех, сочувствующих республиканцам, угасшие было надежды на счастливый поворот событий. Среди же бойцов новых формирующихся интербригад даже частичный успех Одиннадцатой укреплял веру в свои силы и убеждение, что Мадрид удастся отстоять. И уже через несколько дней появилась под ним Двенадцатая.

Так с боя в Каса-де-Кампо началась славная история интербригад в испанской войне, завершившаяся лишь вместе с концом Республики и разоружением ее бойцов при переходе французской границы.

«Интернациональные бригады прошли большой и сложный путь. Особенно велика была их роль в первое время — в ноябре — декабре 1936 г. под Мадридом, в феврале 1937 г.— в районе Харамы, в марте 1937 г.— под Гвадалахарой. В дальнейшем, по мере того как укреплялась и росла испанская Народная армия, удельный вес интернациональных бригад, естественно, падал. С весны 1937 г. они стали пополняться испанцами, число которых все время росло» [1].

Но никак нельзя забывать, что самой первой на помощь Испании пришла строго законспирированная, не упоминавшаяся в сводках, не имевшая никакого номера и не носившая чьего-либо вдохновляющего имени еще одна интербригада, без которой вряд ли было б возможно сколько-нибудь длительное сопротивление гитлеровской и муссолиниевской интервенции. Именно эта бригада сопровождала, собирала и повела затем доставленные морем пушечные танки и легкокрылые истребители, прервавшие

---

[1] *Прицкер Д. П.* Подвиг Испанской Республики 1936—1939. М., 1962, с. 365.

безнаказанное разрушение испанских городов. Это на ее советников опирались, принимая решения, вышедшие из народа неопытные республиканские командиры, и это ее моряки и проводники обучали обезглавленный флот искусству конвоирования прибывающих под разными флагами грузов. И чудом стойкой обороны Мадрида страна обязана в равной степени как гордому противостоянию мадридцев и республиканской армии, так и помощи интербригад, в первую очередь той, без номера.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Не следует думать, что франко-испанская граница тогда пересекалась так легко, как преодолели ее в опустевшем вагоне трое неизвестных, из которых двое считали третьего парижским шпиком.

В октябре масса волонтеров, достигавшая ста и более человек в каждом вечернем поезде, идущем на Порт-Боу, высаживалась в Перпиньяне. Так как на недавних парламентских выборах во Франции победил Народный фронт и от центра этой провинции в палату депутатов был избран социалист, то прибывающих в Перпиньян принимали с восхищенным, хотя и конспиративным, гостеприимством. Ради соблюдения требования лондонского Комитета по невмешательству граница для оружия и едущих сражаться в Испанию была официально закрыта новым правительством, возглавляемым социалистом Леоном Блюмом. И, несмотря на то что не слишком формальное отношение к этому запрету скорее приветствовалось, чем наказывалось, все же многое зависело от взглядов и даже настроения охраняющих ее в тот или иной день жандармов. Поэтому, пока привилегированные пассажиры с правдоподобными документами комфортабельно доезжали до полуразрушенного перрона Порт-Боу, большинство волонтеров проводили ночи и дни на соломе, в предназначенном к сносу, лишенном электричества и воды, а также и оконных рам бывшем перпиньянском госпитале, ожидая смены недоброжелательного пограничного ба-

тальона более покладистым. И тогда каждые полчаса из госпиталя выезжал роскошный туристский автокар с пассажирами, выдающими себя за возвращающихся на страдающую родину испанских граждан, что доказывалось выписанным местным консулом Испании коллективным паспортом с выбранными наугад из барселонской телефонной книги тридцатью или сорока каталонскими фамилиями. Случалось, впрочем, что сидящие в автокаре пересаживались за тюремную решетку, присоединяясь к пытавшимся на рыбачьих баркасах попасть в Испанию морем, но задержанных бдительной береговой охраной, пока вызванный из Парижа здешний депутат не добьется их освобождения. Но, чем дальше шло время, тем труднее становилось преодолевать границу и все большее число добровольцев независимо от возраста и состояния здоровья вынуждено было ночами пробираться через Пиренеи контрабандистскими тропами, а с 1937 года они стали единственным путем для желающих принять участие в войне.

После Перпиньяна в купе осталось только два пассажира. Поездной грохот от этого, казалось, лишь увеличился, а опустевший вагон еще сильнее стало бросать из стороны в сторону.

— Гремит, будто жестянка из-под консервов, привязанная скверными мальчишками к хвосту бродячей собаки. Да и несется с такой же обезумелостью,— произнес порусски один из двоих.

— Скорей похоже на стрельбу пулеметного взвода во время маневров. На них всегда больше, чем в настоящем бою, стреляют. Нам теперь такое сравнение ближе,— с легким, как будто кавказским, акцентом отозвался второй.

— Я читал где-то, что за последнее десятилетие скорость на французских железных дорогах чуть не вдвое

возросла. Но какой оглушающий стук, какая прямо-таки корабельная качка, а главное, участились аварии,— проговорил первый, безупречное московское произношение которого не соответствовало его внешности — большому носу с горбинкой, блестящим черным глазам, волосам цвета воронового крыла, густым сросшимся бровям.

Его спутник благодаря традиционному чубу и широкой, скуластой физиономии походил на донского казака, единственно, что было непонятно: откуда взялся у донца призвук грузинского акцента.

Они сидели рядом, спиной к движению, как усадил их вчера во второй половине дня на Аустерлицком вокзале малознакомый сопровождающий. До полудня он показывал им Париж (по поводу которого горбоносый процитировал гоголевского Вакулу: «Губерния знатная! Нечего сказать: дома большущие...»), потом повел в ресторан, а затем купил билеты на поезд и даже взял напрокат за десять франков две громадные, туго надутые воздухом резиновые подушки в накрахмаленных наволочках. Подушки эти и сейчас торчали за их спинами, а еще шесть, использованных вышедшими в Тулузе и Перпиньяне, валялись у подлокотников на мягких диванах второго класса.

— Как это они, однако, выдерживают, целую ночь провести сидя? — понижая и без того глуховатый голос, сказал первый, вылитый турецкий паша с сигарной коробки, если надеть на него феску.— И я еще одной вещи во французах не понимаю. Ну как можно курить такое? — мотнул он не бритым с прошлого дня подбородком по направлению лежащей на откидном столике пачки сигарет в синей обертке, на которой было напечатано изображение галльского шлема с крылышками.

— Это разве что любители махорки могут понять,— тряхнув начинающим седеть чубом, согласился его со-

сед.— А нам с тобой курить нечего, хотя курево и есть...

Он замолк, потому что по мягкой дорожке кто-то приближался. К купе подошел еще один пассажир, не сошедший с поезда ни в Тулузе, ни в Перпиньяне. Они еще вчера обратили на него обеспокоенное внимание. Помещался он где-то в противоположном конце вагона, кажется даже в последнем купе, но почти все время бесцельно прогуливался по коридору, в высшей степени бесцеремонно рассматривая их. И сегодня ни свет ни заря, еще до Тулузы, он принялся бродить по раскачивающемуся вагону и несколько раз с многозначительным выражением заглянул в их отделение, будто зная о них что-то интересное. Проще всего было бы, конечно, закрыть дверь, но запор оказался неисправен, и от тряски она то приоткрывалась, то распахивалась настежь. Кроме того, даром что шли к концу двадцатые числа октября, но в поезде, идущем на юго-запад, при запертой двери в купе было нечем дышать, тем более что, к их удивлению, окна были приспущены лишь в коридоре, во избежание столь опасного явления, как courant d'air, что в переводе означает всего лишь «поток воздуха», которого, однако, французы боятся ничуть не меньше, чем в купеческом Замоскворечье боялись сквозняка. Так что, хотя непоседливый этот путешественник и тревожил обоих, запереться они не могли, как не могли и не беспокоиться. Даже одет он был странно, будто не одет, а переодет, словно киноактер в немецком фильме, играющий собравшегося поохотиться на фазанов горожанина. И духота его как будто не касалась, он не подумал хотя бы расстегнуть серый жакет, плотно облегавший его крепкий торс, не говоря уж о том, чтоб снять шерстяной в разноцветную поперечную полоску галстук, прихваченный, дабы не развевался, замысловатой перламутровой защепкой.

Однако то ли опустевший вагон придал им смелости, то ли просто надоело притворяться, будто они очень заин-

тересованы проносящимися мимо виноградниками в паровозном дыму, но сейчас, едва этот господин поравнялся с купе, оба с вызовом повернули к нему лица. А он, смотря на них голубовато-серыми смеющимися глазами, вдруг самым нахальным образом подмигнул, погладил светлую щеточку усов и, как ни в чем не бывало, зашагал обратно.

— Никакого сомнения: сыщик,— склоняясь к уху соседа, почти прошептал горбоносый.

— Ну и пусть. Мы же минут через двадцать в Сербере. Уж дальше-то, можешь быть спокоен, он не поедет. Граница.

— Но ведь нас на целый вагон всего двое. Выходит, что он за нами-то и следит.

— И шут с ним!

За окнами замелькали аккуратные домики с цветочными клумбами и фруктовыми деревьями перед ними, а за приопущенной рамой в коридоре продолжали тянуться виноградники, разделенные на участки натянутой на бетонные колья проволокой. Скоро, впрочем, и они сменились рядами обнесенных кирпичной оградой низких строений, позади которых проступало ярко-синее, как на почтовой открытке, море.

Под вагоном заскрежетали тормоза, паровоз принялся отталкивать вагоны назад, залязгали буфера, и внезапно поезд остановился. Сразу стало неправдоподобно тихо. Слышалось лишь однообразное чириканье воробьев.

— Будто с нами из дому летели,— ласково заметил начинающий седеть.

Оба оставались на своих местах. Их даже не потянуло к окну напротив — посмотреть, что за ним делается. Не слишком, видно, любознательные были люди.

В тишине, нарушаемой лишь воробьиным писком и попыхиваньем паровоза, гулко бухнула наружная дверь, и на площадке застучали тяжелые башмаки. Щелкнув, рас-

крылась вторая дверь, и по проходу торопливо прошел кондуктор с контрольными щипцами в руке. За ним без головного убора проследовал таможенный чиновник в черных люстриновых нарукавниках поверх кителя. Шествие завершали два полевых жандарма в высоких кепи, обшитых золотыми галунами, в темно-синем обмундировании, в черных крагах и с карабинами за плечами.

Остававшиеся в пустом купе переглянулись, а когда хлопнула выходная дверь, тот, который мог сойти за турка, облегченно передохнул.

— Никаких тебе формальностей, а? — удивился он.— Даже паспортов не проверили, хотя они у нас — комар носу не подточит. А так оно все же лучше. Сознайся, что, предъявляя его, всякий раз испытываешь легкое беспокойство.

— Не забывай, что во Франции тоже Народный фронт, и это отражается на поведении полиции.

Снаружи о чем-то спорили по-французски. Пронзительный свисток дежурного по станции заглушил дискуссию. Вагон заскрипел, как рассохшийся шкаф, и сдвинулся.

— «Сербер»,— прочитал вслух надпись на провинциальном вокзальчике «турок».— Можно считать, приехали.

Узкое, идеально асфальтированное шоссе, вдоль которого тащился поезд, вдруг круто повернуло направо и ушло за холмы. Человек двадцать полевых жандармов, все, как один, подложив большие пальцы правой руки под ремни карабинов, в две шеренги маршировали посередине его в направлении к станции. Видневшееся через окно в коридоре море начало в свою очередь удаляться, сверкая, но и линяя под солнцем. Войдя в крутые, обложенные зацементированными камнями, сближающиеся с обеих сторон скалы, поезд совсем замедлил ход. Чувствовалось, что он должен войти в туннель. И действительно, паровоз дал затяжной предупредительный гудок. С обоих

боков вагона перед черным отверстием проплыли две темно-синие лакированные каски. Никаких иных признаков границы между двумя государствами — ни пограничного столба, ни французского трехцветного флага, ни хотя бы караульного помещения — видно не было.

Лампочки в вагоне, когда он проник в туннель, почему-то не загорелись, и после ослепляющего солнечного света воцарилась кромешная тьма. В подавляющем этом мраке туннель показался нескончаемым. Оба пассажира ощупью нашли свои чемоданчики, невольно толкая друг друга, надели пиджаки и осторожно выбрались в коридор. Справа темнота начинала мало-помалу сереть, наконец посветлело так, что каждый смог различить силуэт другого, и сразу весь вагон очутился в режущем глаза свете солнца.

Поезд продолжал тащиться так, что его нетрудно было бы обогнать пешком, и скоро перед ним потянулся точно такой же, как в Сербере, перрон, только посередине разрушенный. Над перроном возвышались редкие мачты электрических фонарей, но все они были разбиты, а вместо них с каждой свисали длинные флаги из продольных ярко-желтых и ярко-красных узких полос. Они, напоминая одеяние оперного арлекина, виднелись повсюду: спускались с балконов и торчали над всеми дверями и даже из слуховых окон ближних и дальних домишек с оранжевыми черепичными крышами. Эти домишки образовывали неширокие и неровные улочки, карабкавшиеся на склоны окрестных гор. Морской залив, еще более яркий, чем во Франции, окаймленный девственно-белым, словно сахарным, береговым песком, неподвижно лежал шагах в двухстах от поезда.

Рядом с бесформенным провалом перрона, очевидным последствием бомбежки, расположилась живописная группа насквозь прожженных солнцем молодых людей в черных рабочих комбинезонах и в наполовину черных, напо-

ловину красных рогатых пилотках с висящими спереди кисточками, голые шеи у всех были повязаны тоже черно-красными платками. Из-под широких брюк торчали домашние белые тапочки, выглядевшие странно по соседству с прикладами винтовок, на которые эти парни опирались.

Чуть подальше средних лет брюнетка в полотняном, с украинской вышивкой платье, туго перетянутом в талии солдатским ремнем, с крохотной, будто игрушечной, кобурой на нем, напряженно всматривалась в окна приближающихся вагонов. Ее сопровождал очень маленький человек в темно-коричневой шелковой рубашке с короткими рукавами, в плечо его врезался тоненький ремешок, на котором висела громоздкая деревянная кобура маузера. Черные как смоль прилизанные волосы штатского блестели, будто лакированные, но ним был прочерчен геометрически точный пробор.

Едва окно, перед которым находились двое из первого купе, миновало женщину в летнем платье и ее сопровождающего, как поезд бесшумно остановился.

— Приехали,— объявил старший из двух.— Пошли.

Оба заторопились к выходу.

В Париже их предупредили, что в Порт-Боу они будут встречены «известным вам товарищем», однако не то чтобы известный, но и вовсе никто к ним не приближался. Оглядывая собравшихся к поезду, оба посмотрели налево и чуть не остолбенели: из дальней двери их вагона, аккуратно повернув за собой медную ручку, по ступенькам с независимым видом спускался тот, кого они приняли за французского шпика. В одной руке он держал дорогой кожаный чемодан, на локте другой висели идеально сложенный, как на картинке в журнале мод, еще более дорогой габардиновый плащ и толстая трость, а на голове сидел спортивного типа головной убор с прямым козырьком.

— Матвей Михайлович! Матвей Михайлович! — закричала брюнетка в вышитом платье, бросаясь к «французскому шпику».

— Здравствуй, Лизанька, здравствуй, моя родная! Вот чего не ждал — найти тебя здесь,— и он звучно поцеловал ее в обе щеки.

— Меня попросили тебя встретить. Все другие, кто знает тебя в лицо, сегодня очень заняты.

— Как же мне прикажешь быть?

— Нас ждет машина. Вот познакомься: ее шофер камарада Хосе. Здесь все мужчины или Антонио, или Хосе, или и то и другое вместе...

Малыш с путающимся у него ниже колен деревянным футляром маузера, в случае необходимости могущим послужить и прикладом к нему, осклабясь, сунул в протянутую руку приезжего свою ладонь, подхватил чемодан и плащ, и все трое направились к выходу. Проходя мимо своих вагонных попутчиков, «шпик» снова, но еще более фамильярно подмигнул им.

— Видел ты, с кем он целовался? Это же Елизавета Кольцова, жена Михаила Ефимовича, сама тоже журналистка, в «Комсомолке» работает. Вот тебе и «французский шпик»... А в то же время мне с ним в Большой деревне никогда встречаться не доводилось, не говоря уж о нашей конторе, хотя именно там я и должен был бы его видеть. Ведь он нерусский: все «л» произносит с мягким знаком, а «е» выговаривал почти как «э». И уж конечно никакой он не Матвей Михайлович. Интересно узнать, как его на самом деле зовут...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Похоже было, что спать в этом городе вообще не полагалось, вернее сказать, и самый краткий сон был практически немыслим. Вовсе не потому, что отель, в котором их

поместили, находился неподалеку от вокзала и мимо с грохотом проносились экспрессы и непрерывно гудели маневровые паровозы. Просто жизнь здесь была организована так, будто отдых никому и не требовался. Поэтому и ресторан, занимавший весь, кроме холла, нижний этаж отеля, совсем не закрывался на ночь, и, хотя жили они па третьем этаже, веселый рев оттуда был слышен так, будто ели, пили и восторженно орали «оле» чуть ли не у них в изголовье. Впрочем, шум проникал в номер не только из ресторана. Не меньший — врывался и с улицы, тоже не затихавшей до рассвета. Это было всего лишь проявление знаменитого испанского темперамента, с которым оба они смогли познакомиться уже в самые первые дни, когда через всю республику мчались из Порт-Боу в Мадрид.

Тогда, на перроне в этом самом Порт-Боу, недоуменно проводив глазами странного франта, которого почему-то встречала советская журналистка, они радостно заулыбались навстречу спешащему к ним высокому человеку со смуглым лицом, на котором, как нарисованные, выделялись преувеличенно черные брови. Подавая одному правую, другому левую руку, он торопливо предупредил:

— Запомните, пожалуйста, другари, меня теперь зовут Янов.

Все трое зашагали к выходу. На площадке перед вокзалом их ждал черный лимузин. Крышу его зачем-то покрывал прикрученный веревками матрац, па радиаторе рядом с летящей цаплей из белого металла торчал черно-красный флажок, а сияющий лаком кузов был с обеих сторон исписан однообразным сочетанием латинских букв.

Усевшись рядом с шофером, Янов вынул из внутреннего кармана светлой замшевой куртки заляпанные фиолетовыми печатями бумаги.

— Тебе приготовили документы на твое московское имя — Георгий Васильевич Петров,— протягивая их, снова

по-русски обратился он к старшему.— А тебе дали почему-то малоподходящую фамилию — Белов. Держи.

— А по имени как? — поинтересовался переименованный в Белова, принимая и разворачивая испанское удостоверение.

— А никак. Белов и все. Зато в этих документах написана и закреплена печатями чистая правда — то, что по национальности вы оба болгары.

Машина, все больше удаляясь от моря, летела по ровной и совершенно безлюдной равнине, ограниченной справа по горизонту расплывающимся в мареве горным хребтом. Изредка у подножия его виднелись поселки, над которыми указующим в небо перстом обязательно стояла готическая или даже романская колокольня. Прошло около часа, когда впереди показался город, на окраине которого высились массивные стены какой-то крепости.

— Фигерас,— объявил Янов.— Когда девятнадцатого июля гарнизон этой крепости присоединился к мятежникам, здешний народ, предводительствуемый анархистами, при содействии части солдат, ворвался внутрь и захватил крепость. Сейчас в ее казармах под не слишком доброжелательной охраной роты анархистов находится до тысячи добровольцев из различных стран. Как раз в этот момент представители Коминтерна ведут переговоры с правительством Ларго Кабальеро о создании отдельных интернациональных частей.

— Вот бы и нам туда,— высказался Петров.

— Вы предназначаетесь для другой цели, для участия в массовом партизанском движении в Эстремадуре, только что захваченной Франко. Вы, как и многие другие, будете направлены туда. Подробнее об этом узнаете в Мадриде.

— Ну, а ты сам, что здесь делаешь? — спросил Петров.— Ты же сюда чуть ли не с самого начала попал.

— С середины сентября. Был на Арагонском фронте.

Ранило. Сейчас долечиваюсь и нахожусь в распоряжении Военного комитета испанского ЦК.

Сколько шофер ни трубил, машине пришлось двигаться по Фигерасу самым тихим ходом: шоссе оказалось занятым веселой и нарядной толпой, не желающей считаться с осторожно объезжающим ее транспортом.

— Что здесь происходит? — спросил Белов.

— Народное гулянье. Вся Испания, но, конечно, в первую очередь молодежь, по воскресеньям и большим праздникам после сиесты, часов в шесть, выходит на главную улицу — а она повсюду здесь так и называется: Калье Майор — и до темноты прогуливается по ней. Впрочем, кажется, так по всей Южной Европе. Обычай этот соблюдается не только в поселках и местечках, но даже в предместьях самых больших городов... Но посмотрите: девушки идут в одну сторону, обычно в сопровождении матери или тетки, или даже бабушки, а мужчины — навстречу им. И оба течения ни за что не смешиваются. Конечно, случиться может, что кто-то подойдет поздороваться со знакомой, но долго около нее не задержится. Хотя испанские товарищи утверждают, что суровые правила эти в наши дни не очень соблюдаются...

За Фигерасом шоссе опять повернуло к морю и заизвивалось между холмами, покрытыми пожелтевшими виноградниками, и то вдруг выбегало к самому побережью и огибало залив за заливом, то опять исчезало между отвесно спускающимися прямо в морские волны горами и прорезало одно селение за другим. И в каждом, даже самом маленьком, двигалось шествие причесанных под оперную Кармен и разряженных красавиц, а навстречу, гордо неся, словно пробритые, проборы и шаркая черными полуботинками, начищенными так, что они отражали солнце, шли молодые люди, а то и мальчики, спешащие заменить на этом фронте старших мужчин, рискующих жизнью на настоящем. В каждом из остававшихся позади поселков,

и на въезде и на выезде, напоминая о происходящем в стране, стояли патрули с черно-красными повязками на рукавах, часто вооруженные старыми охотничьими ружьями, но тем не менее властно проверявшие пропуска проезжающих. А еще более остро говорили о событиях старые, а то и старинные церкви с обезглавленными статуями святых у порталов, с выломанными вратами, с зализами копоти от поджога на стенах и с непременным анархистским флагом на колокольне.

— Испанский темперамент,— произнес по этому поводу Белов.

— Хулиганство анархистов,— неуступчиво парировал Петров.

В живописнейшей, дивно расположенной Таррагоне, приведшей в восхищенное согласие обоих, Янов что-то сказал шоферу по-испански. Тот, взяв вправо, причалил к входу в небольшой кабачок. За одним из выставленных наружу круглых железных столиков дремали два старика в черных блузах. Казалось, что почтенные старцы сидят здесь по меньшей мере с тех пор, когда парижский поезд подходил к Порт-Боу. Шофер, простучав деревянными бусами, свисающими до пола на входе, нырнул в него и через десять минут вынырнул, обеими руками прижимая к груди два белоснежных высоких и узких хлеба, объемистый кусок вяленой ветчины в толстой, как подошва, коричневой шкуре и гигантскую лиловую луковицу. Машина бесшумно покатила дальше, а путешественники, не бравшие ничего в рот с Парижа, с откровенным оживлением принялись подкрепляться.

— Держите,— после того как оба, удовлетворенно вздохнув, стали вытирать рты и руки носовыми платками, протянул им Янов по пачке сигарет в целлофановой упаковке, под которой на фоне пирамиды посреди песков пустыни красовался желтый одногорбый верблюд.

С американскими «кэмл» они познакомились еще в

Скандинавии: провозить через границу не то чтобы пачку «Казбека» или «Беломора», но даже одну-единственную папиросу, сразу же обращавшую на себя внимание любого европейца, решительно не рекомендовалось. И теперь, в течение суток не имевшие ничего, кроме дерущих горло «голуаз блё», предложенных сопровождавшим их в прогулках по Парижу явным садистом, оба с наслаждением задымили. А покурив, убаюкиваемые после бессонной ночи мягким бегом мощного лимузина, они откинули головы на спинки сидений и, глядя в окна, как-то незаметно для самих себя сладко заснули. Янов не мешал им. Только когда кончились тянувшиеся больше часа промышленные предместья Барселоны, он разбудил своих друзей. Белов потянулся, зевнул, протер глаза и лишь тогда полез в карман за сигаретой, Петров же пришел в себя мгновенно, будто и не спал.

— Подъезжаем к Барселоне. Пообедаем и сразу же дальше. Переночуем в Валенсии,— сообщил Янов.

Обедали они в очень дорогом ресторане на необычайно широком и прямом бульваре, проложенном перпендикуляром от порта к горам, которые высились над неописуемо красивой столицей Каталонии. По обеим сторонам его запросто, как тополи в Москве, росли, раскидывая тяжелые перистые ветви, старые пальмы. По тротуару мимо раскрытого витринного окна протекал поток горожан. Большинство женщин в нем были одеты почти как во всех селениях, мужчины же носили «моно»[1] и пилотки с торчащими углами и кисточками. У многих на поясе виднелись кожаные кобуры с выглядывавшими из них рукоятями пистолетов, а кое у кого даже винтовка или карабин за плечом. Все, и мужчины и женщины, громко разговаривали, а то и выкрикивали что-то встречным. В группе остановившихся молодых анархистов, легко отличаемых

[1] Рабочая спецовка, которую носили анархисты.

от остальных обилием в одежде красного и черного, явно вспыхнула ссора. Они так ужасно вопили и до того угрожающе жестикулировали, что, казалось, вот-вот схватятся за оружие. Однако, покричав, неожиданно заулыбались, начали хлопать один другого по спине и в конце концов мирно разошлись.

— Я боялся: начнут стрелять,— высказал миновавшее беспокойство Белов.

— Ты пока не знаешь испанского и испанцев,— усмехнулся Янов,— а то бы понял, что они по-приятельски беседовали о завтрашнем выступлении под Уэску колумны[1], в которую недавно записались. Иной раз слушаешь издали, как две женщины вопят и руками машут, решаешь — одна в волосы другой неминуемо вцепится, а подойдешь поближе — речь о том, что куры у обеих неизвестно почему плохо несутся. Просто мы их жестов не понимаем, а чтобы воевать рядом с ними, необходимо и в языке жестов разбираться. Главное же, что нам всегда надо учитывать, это их темперамент...

Не прошло и недели с этого разговора в барселонском ресторане, а подтверждений словам Янова и у Белова и у Петрова набралось достаточно. Даже теперешняя невозможность выспаться в глубоком тылу, на мягких двуспальных кроватях, была прямым следствием местного вулканического темперамента. Впрочем, оба признавали, что он передается и тем, кто с ним соприкасается. Ибо ночи напролет немецкие, например, добровольцы, в унисон горланящие на мелодию советской песни «Все выше, и выше, и выше» собственный, германский текст, весьма революционный и, следовательно, не имеющий ничего общего ни с полетом наших «птиц», ни с тем, чем дышат

[1] Колонна (*исп.*).

их пропеллеры,— явно заразились здешним темпераментом. Что же говорить об итальянцах, которые испанцам, бесспорно, двоюродные братья...

Может быть, потому, что шли всего четвертые сутки их пребывания в Альбасете, но бессонница раздражала Петрова и Белова только ночью, и тогда оба умиленно вспоминали, как мирно им спалось в Валенсии, где они останавливались по дороге в Мадрид. В столицу Испании они приехали переполненные романтическими чувствами и, как ни странно, не утомленные двумя днями автомобильной езды. Зато в Мадриде их ждали треволнения.

Перед въездом в город их задержала очередная бомбардировка, продолжалась она около двадцати минут, да и отбой был дан не сразу по окончании. Но, попав на центральные улицы, все трое не обнаружили там ни малейших признаков паники, что, может быть, не удивило Янова, но Петрова и Белова поразило. Внешнего порядка тоже не было, однако терпеливо стоящие в очередях женщины в черных платьях и шалях, почти полное отсутствие молодых мужчин среди снующих по тротуарам прохожих, горделиво марширующие по трое в ряд безоружные милисьяносы под командованием оставшихся верными Республике кадровых солдат и даже неистово несущиеся во все стороны и непрерывно сигналящие автомашины с белой бумажкой на ветровом стекле, подтверждающей их конфискацию,— вся эта картина напоминала организованную суматошность муравейника, только что бесцельно развороченного каким-то проходившим варваром.

Янов поместил своих земляков в высящемся на большой площади фешенебельном отеле «Флорида», с недавних пор принадлежащем анархистскому профсоюзу служащих гостиниц, ресторанов, кафе и прочих увеселительных заведений. Дав отдохнуть, он перед вечером повез показать им последствия нынешней бомбежки.

Они увидели сохранившиеся стены пятиэтажных домов с вылетевшими не только стеклами, но и оконными рамами, посередине же вместо квартир высились лишь груды обломков и мусора, а рядом — два шестиэтажных без наружной стены, но с сохранившимися буржуазными квартирами, в которых были видны то рояль, то окружавшие обеденный стол резные дубовые стулья, то книжный шкаф, то кровать под балдахином, из-под которой страшно свисал вниз, в образовавшуюся пропасть, тяжелый ковер.

На одной из площадей оба бессмысленно долго смотрели на дно внушительной воронки от пятисоткилограммовой, по утверждению Янова, бомбы. В пахнущем глиной и тлением провале лежали искореженные ржавые трубы, кучи кирпичей, булыжника прежней мостовой и смотанные в беспорядочный клубок разной толщины кабели.

Посетили потрясенные болгары и совершенно разрушенный мадридский вокзал, где больше всего их поразила непостижимая сила взрыва, далеко расшвырявшая стальные рельсы со шпалами, к которым они были прикреплены, и не только расшвырявшая, но и скрутившая их в мотки, словно веревки.

На другой день они встали очень рано, к чему, как все болгары, были приучены с детства. За окном едва брезжил пасмурный рассвет. После не слишком-то обильного завтрака Янов повез их к «шефу».

Большое здание Центрального Комитета, к которому подкатила яновская машина, снаружи охранялось взводом гуардиа де асальто, в темно-синей форме с белыми кантами. Янов пояснил, что в переводе на русский это «штурмовая охрана» и что создана она была после свержения монархии в 1931 году в противовес гуардии сивиль, то есть «гражданской охране», бывшей при короле главной опорой режима, недаром почти все гражданские гвардейцы примкнули к мятежу. Что же касается гуардиа де

асальто, то, хотя в нее подбирались умеренные элементы, в Мадриде на них сумели оказать влияние коммунисты, так что известная часть их и даже несколько младших офицеров вступили в партию.

Здание украшали большие портреты Сталина и очень красивого, но грустного Хосе Диаса.

Внутри же оно, скорее всего, походило на пчелиный улей. В довершение сходства все этажи его напряженно и грозно гудели. По широким мраморным лестницам, будто взволнованные пчелы и тоже без видимого смысла взапуски бегали милисьяносы, обвешанные перекрещивающимися пулеметными лентами и болтающимися на поясах ручными гранатами. Иногда среди них попадались немолодые рабочие, тащившие на спинах, держа обеими руками за веревочную петлю, тяжеленные деревянные ящики с винтовочными патронами.

На площадке между этажами два худых обтрепанных старика вручали разного возраста и по-разному одетым людям завернутые в промасленную бумагу винтовки с привязанными поверх тесаками в ножнах и болтающимися на шнурках конвертиками, в которых находились пристрелочные паспорта. На самой верхней площадке две молоденькие и очень хорошенькие девушки в «моно», с приколотыми к груди значками КИМа, выдавали пачки кустарно отпечатанных брошюр сосредоточенным парням, судя по всему, только что надевшим темно-коричневое комиссарское обмундирование.

— Знаете, что это раздают? — проходя мимо, спросил Янов.— Вместе со мной на Арагонский фронт прибыл из Парижа немецкий писатель Людвиг Ренн. Не успел он и пяти дней провести в окопах с добровольцами из центурии Тельмана, как его затребовали в Мадрид. Так как он не только писатель, но и кадровый офицер германской императорской армии, то его, говорят, по совету Кольцова засадили за изготовление популярных инструкций по

военному делу для испанских добровольцев. Вот эта книжечка и есть одно из последствий педагогической деятельности Ренна в переводе на кастильский...

В глубине темного коридора Янов постучался в закрытую дверь, не дожидаясь ответа, открыл ее и пропустил вперед Петрова и Белова. В обширном кабинете за письменным столом сидел полный человек с круглым лицом.

— Камарада Петров и камарада Белов, а перед вами камарада Луис [1],— представил Янов вошедших и хозяина кабинета.

— Я тебя где-то уже видел,— очень плохо выговаривая по-русски, обратился Луис к Белову.

— Мне нередко приходилось бывать в доме у Кутафьи,— быстро проговорил Белов.

— Passons [2],— властно перебил Луис, перейдя на французский.— По анкетам ни один из вас испанского не знает,— он посмотрел в бумагу перед собой,— но Белов поймет по-французски, а Петрову пусть Янов переведет.

Хотя его звали не Луи, а Луисом, слова произносил он, как парижанин, и был предельно лаконичен и ясен, будто читал хорошо написанную речь. Из того, что Луис сказал, следовало, что еще до падения Толедо, то есть почти месяц назад, возникла идея развернуть партизанское движение в тылах мятежников и прежде всего в недавно захваченной Эстремадуре. По существу, в руках мятежников только города и лишь днем контролируемые главные шоссе. Надо также принять во внимание, что наступали там почти исключительно терсио, то есть иностранный легион и несколько таборов марокканцев, что должно было сильно задеть национальную гордость эстремадурских крестьян. Беспощадный же террор завоевателей вызывает не страх, а раскаленный народный гнев.

---

[1] Псевдоним Викторио Кодовильи.

[2] Не стоит говорить об этом (*фр.*).

В одном Бадахосе, и только на арене для боя быков, расстреляно, заколото штыками и прирезано навахами свыше тысячи пятисот рабочих, ремесленников, мелких служащих и окрестных крестьян, оказавших вооруженное сопротивление, а то и просто состоящих в профсоюзах. Так что горючего материала там хватит, надо лишь поднести спичку. Такой спичкой и должны стать прибывающие в Испанию проверенные кадры. Практически вопрос сейчас лишь в том, как отнесутся к такому заданию товарищи Петров и Белов.

Белов слушал Луиса, устремив на него блестящие глаза, и только нервно потирал тыльную сторону кисти то одной, то другой руки. Петров же, не понимавший говорившего, опустив голову со свесившимся чубом, согласными кивками поддерживал быстрый шепот Янова.

Едва Луис закончил, как Белов на несколько затрудненном, но грамматически правильном французском ответил и за себя и за Петрова, что, будучи не первый год членами ВКП(б), а также состоя в Болгарской секции Коминтерна, оба они твердо знают его уставное положение, по которому каждый коммунист беспрекословно подчиняется решениям той партии, на территории каковой находится. Приехали же они в Испанию добровольно, и, следовательно, вопрос исчерпан.

Луис одобрительно качнул двумя своими подбородками, встал, протянул мягкую ладонь сначала Петрову, затем Белову, наконец, и Янову, что-то сказал тому по-испански, и все трое покинули кабинет.

— Поехали к товарищу, которому поручено все это предприятие,— объявил Янов.— Только сначала еще к одному знающему человеку зайдем посоветоваться.

— Кто этот Луис, ты его знаешь? — спросил Белова на лестнице Петров.

— Один из основателей аргентинской компартии. Он итальянец, но родители его перекочевали в Аргентину,

когда он был ребенком. Последнее время в секретариате Коминтерна работал...

Минут через пятнадцать шестиместный их «линкольн» под непрерывные звонки трамваев и какофонию автомобильных гудков пробился сквозь откровенно аварийное движение в центре воюющей столицы и, обогнув протяженное мрачное здание, въехал во двор его мимо стоявших у ворот двух бойцов гуардиа де асальто, видимо знавших и машину и шофера. Остановился он у невзрачного входа с узкой дверью. Перед нею тоже стоял штурмовой гвардеец, держа прикладом к ноге винтовку с примкнутым тесаком. Отдавая Янову честь, небрежно взглянул на его документ, но долго и внимательно изучал удостоверения его спутников.

Сразу за второй, такой же узкой, но, как у сейфа, массивной стальной дверью висело обыкновенное солдатское одеяло. Янов отодвинул его и придержал, давая пройти Петрову и Белову. За «портьерой» начиналась ведущая в глубокое подземелье бетонная лестница без перил. Похоже, что они были в подвале какого-то банка[1]. Потянулся пахнущий плесенью низкий коридор с подвешенными шагах в двадцати одна от другой еле тлеющими и голыми электрическими лампочками. От центрального прохода иногда вправо и влево отходили темные, как ночь, ответвления, куда без карманного фонарика нечего и соваться.

В конце коридора был поворот налево, и Янов свернул в него. Вскоре они очутились перед кое-как сколоченной дощатой перегородкой с вырезанным в ней входом. Он перекрывался подобием садовой калитки. Переступив че-

[1] Из-за полнейшей в первое время беззащитности города от фашистских бомбежек командный пункт генерала Миахи (глава Хунты обороны Мадрида) был устроен в подвале министерства финансов, где до мятежа хранился государственный золотой запас.

рез широкую доску, заменяющую порог, они попали в еще более тесный коридор, справа он был ограничен не доходящей до потолка стенкой из неотесанных досок, окрашенных, однако, ярко-зеленой краской. В стенке этой, метрах в пяти одна от другой, виднелись тоже дощатые двери, скрепленные наискосок бруском. Но здесь каменный пол коридора был, как в гостинице, устлан ковровой дорожкой, в конце которой находился странно выглядевший тут лакированный ломберный столик, инкрустированный бронзой. На нем теснились два черных городских телефонных аппарата и один полевой — в полированном ящике, а за телефонами сидела — еще меньше, чем лакированный стол, подходящая к убогой обстановке — прелестная блондинка в накинутом на плечи мужском осеннем пальто.

— Привет, Ляля! — поздоровался с ней Янов.

— Привет,— деловито, без тени кокетства, отвечала она.

— Мы вот с товарищами к Фаберу [1]. Он здесь?

— Ты совсем, Янов, оторвался от жизни,— упрекнула Ляля.— Или ты забыл, что сегодня решающая операция? Все там. Здесь одна я оставлена, да еще полковник Лоти [2], на случай, если понадобится связаться с министерио.

— Всем нам радоваться этому нужно,— ответил Янов.— Наконец-то начинает соблюдаться военная тайна. Ну зачем мне, спрашивается, об этой операции заранее знать, когда я в ней не участвую?.. Однако вот что, камарадас мисс, раз Лоти здесь, давайте сходим к нему...

Идя в обратном направлении, Янов вслух считал двери слева и постучался в третью.

— Сига [3],— прозвучал по-испански сонный голос из-за перегородки.

[1] Псевдоним советника Хаджи Мамсурова.
[2] Помощник В. Горева — Львович.
[3] Входи (*исп.*).

В крохотном чуланчике, обклеенном веселыми в цветочек обоями, на казарменной железной койке лежал бледный человек в роговых очках. Увидев входящих, он сбросил прикрывавшее его кожаное пальто и вскочил.

— Позвольте, товарищ Лоти, представить вам двух моих давних знакомых, присланных сюда из Большой деревни.

Кроме койки в комнатушке стояли некрашеный стол, гостиничная тумбочка у изголовья кровати, четыре видавшие виды венских стула. На тумбочке красовалась початая бутылка французского коньяка знаменитой марки и несколько рюмок. Лоти перебросил с одного из стульев на койку расстегнутую кобуру, из которой выглядывал «ТТ».

— Коньяку? — пожимая вошедшим руки, предложил он.

— Можно,— согласился Петров.

Белов взял одну из рюмок и обнаружил, что ею кто-то недавно пользовался.

— Далеко ходить для мытья. Коньяк же дезинфицирует,— успокоил его Лоти.— Так что не брезгуйте.

Он наполнил рюмки.

— Без этого долго здесь не протянешь,— заметил Лоти.— Сырость как в склепе. Простыни всегда влажные. В теории никто из нас здесь не живет, у каждого номер в гостинице. На практике же там только чемодан с вещами, но чаще раза в неделю ни один из нас к себе в номер не попадает, да и то — не выспаться, а чтобы белье сменить и, если горячая вода идет, душ принять. И днюем и почуем здесь. Что поделаешь: война. Ну, давайте.

Все выпили не спеша.

— Раз вы ко мне, а не к Хаджи попали, или не к Фаберу, как он чаще именуется, а то его еще и Ксанти зовут, то я вам сразу все скажу. Партизанское движение в Эстремадуре трудноосуществимо.

Янов при этих словах даже привстал, но сел опять, удивленно приподняв брови, а Петров и Белов быстро переглянулись.

— Да, да, трудноосуществимо,— повторил Лоти.— Слишком много тут трудностей, и первая из них, что сама Эстремадура — типично испанская историческая условность. По существу, это старинное общее название двух соседних, но очень различных провинций, с различными природными условиями и, что еще важнее, с разным населением, говорящим каждое на своем диалекте. Иностранные же добровольцы почти все из того же гнезда Димитрова, что и вы, и, понятно, не только местных диалектов не знают, но и на общепринятом кастильском «Мундо Обреро» прочитать не могут. Много ли от них проку? Не ясно ли, что обосноваться и начать что-то делать в Эстремадуре смогут люди, отлично представляющие себе главные особенности этих районов, все склонности жителей их, да не вообще, а отдельно крестьян, отдельно ремесленников, отдельно рабочих и даже учителей начальных школ. Необходимо назубок усвоить и топографию местности, да не по карте, а собственными ножками протопав по пыльным сельским дорогам и по каменистым горным тропинкам. Надо помнить и где какая речка течет, и которую из них курица летом перейдет, а какую и цыпленок вброд одолеет. Не говоря уж о том, что лесов здесь почитай что нет, но зато у восставших генералов есть авиация, почему на открытом месте больше чем двоим в толпу собираться небезопасно. Короче, от уже отправленных групп больше недели ни слуху ни духу. Вы должны были попасть в третью.

Янов с откровенным сомнением смотрел на Лоти. Тот как бы в ответ на это продолжал:

— Только не вообразите, пожалуйста, что я вселяю в вас пессимизм перед отправкой на опасное задание. Просто мне известно, что вас на него уже не отправят. Все

дело в том, что представители французской, итальянской и польской компартий окончательно договорились с правительством о разрешении начать создание боевых единиц из прибывающих иностранных добровольцев на условии, что каждая будет представлять все партийные и профсоюзные организации, входящие в Народный фронт. На этом основании наш военный атташе приказал Хаджи всех товарищей, являющихся в его распоряжение, направлять в город Альбасете, на базу формирования интернациональных соединений. Новость эта до вас, другарь Янов, очевидно, еще не успела дойти.

Петров и Белов опять переглянулись, но на этот раз заметно жизнерадостнее.

— Единственно, кого Хаджи имеет право оставлять у себя, это специалистов подрывного дела. Думаю, вы к ним не принадлежите. Вот вы, судя по возрасту, должно быть, обладаете определенной военной квалификацией? — обратился Лоти к Петрову.

— Этой весной закончил академию имени Фрунзе и аттестован полковником запаса Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

— Ого! А вы?

— В мировую командовал в болгарской армии батареей,— ответил Белов.

— Артиллеристы даже здесь, в Мадриде, на вес золота, а в Альбасете вас будут на части рвать...

Не прошло и двух суток после собеседования с Лоти, как Петров и Белов на попутной машине катили к югу.

Проехав добрую половину Испании, они только к вечеру добрались до Альбасете, где официально начиналась организация интернациональных воинских формирований. Добровольцы со всего белого света имели полное основа-

ние претендовать на духовное покровительство уроженца соседней провинции мелкопоместного ламанчского дворянина Дон Кихота.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Превращением добровольцев в бойцов, сведением их в батальоны, а этих последних — в бригады и отправкой их на фронт почти десять месяцев руководил Андре Марти, член Политбюро Французской коммунистической партии и представитель ее в Коминтерне. Один из руководителей восстания французских военных моряков на Черном море, отказавшихся открыть огонь по вступающим в Одессу большевикам. После второй мировой войны был обвинен во фракционной деятельности и, невзирая на прошлые заслуги, исключен из партии. Следует, однако, признать, что уже в Альбасете он несколько подмочил свою репутацию. Назначен туда Марти был не только в силу своего славного прошлого, но и потому, что родился во французской части Каталонии, носил испанскую фамилию и хорошо знал политическое положение за Пиренеями, так как после падения монархии неоднократно ездил туда с поручениями от Коминтерна. Марти был масштабной фигурой, но отличался повышенным самолюбием, обидчивостью и мстительностью. В Альбасете он распоряжался самовластно, окружив себя подобострастными исполнителями, главный из которых, Видаль, выехав в отпуск, выступил в парижской правой печати с клеветой на интербригады, альбасетскую базу и самого Андре Марти. Вскоре выяснилось, что он — под своей подлинной фамилией Эйман — был сотрудником французской военной разведки.

К концу лета 1937 года Марти был освобожден от занимаемой должности. Надо отметить, что он проявил себя неумелым организатором в мелочах, не смог сразу создать деловой штаб, неудачно подбирал людей, плохо распреде-

лял свое время и ни с кем не советовался. На место Марти был назначен майор Белов, недавний начальник штаба 45-й интердивизии.

Высадив своих пассажиров у входа в небольшой двухэтажный домик, где помещался штаб интернационалистов, скрипящий, чихающий и фыркающий «ситроен» сразу же отбыл в известном только его водителю направлении. Различного возраста и по-разному одетые люди, толпившиеся на улице, в передней и на лестнице, на трех языках поочередно объяснили Белову, что если он прислан из Мадрида, то ему надлежит немедленно записаться па прием к Андре Марти, присланному на днях сюда для руководства.

Когда приезжие не без труда протиснулись па второй этаж особнячка всего из восьми комнат, оказалось, что он битком набит пришедшими еще с утра и ожидающими приема по самым неожиданным поводам: желание получить на складе пару ботинок, срочная необходимость лечь в госпиталь на операцию... Выяснилось также, что запись на прием не ведется и что определенных часов приема не существовало, так как Андре Марти почти никогда не было на месте.

Немолодой замухрышка, исполнявший роль не то начальника несуществующей канцелярии штаба, не то вестового, очень плохо говоривший и, что было совсем уж странно, еще хуже понимавший по-французски, кое-как объяснил Белову, что «camarade Marty на арене для убивания быков, куда привезли еще один партия волонтэр, а после разговаривания с этот волонтэр наш великий товарищ пойдет на одна машина около станция, насмотреть, готов ли столовая, где будет кормить приезжий, потому как столовый на бывшая казарма guardia civil можно кушать только уже сделанный батальон».

Услышав, однако, что Белов по-немецки несколько скептически высказался о его сообщении, этот, по-видимому, все же рассыльный вдруг пришел в преувеличенный восторг и на чистейшем берлинском диалекте твердо обещал, что если они придут завтра утром без десяти восемь («без десяти восемь, а не в восемь»), то в его возможностях пропустить их вне очереди к «нашему великому товарищу Марти». Он тут же выдал им ордера на двуспальные номера в лучшей гостинице города, талоны на трехразовое питание в ресторане при ней и даже предоставил в их распоряжение исчезнувший было, сильно утомленный дорогой из Мадрида, но все же еще способный передвигаться «ситроен».

Именно тогда, в первую свою альбасетскую ночь, и Белов и Петров получили известное представление о том, что впоследствии с некоторым даже внутренним содроганием, но и с улыбкой именовали «испанским темпераментом». Впрочем, еще по дороге в Мадрид оба убедились, что пресловутый этот темперамент, если под ним подразумевается открытое и бурное проявление чувств, чрезвычайно многолик.

Продемонстрировал им это еще шофер Янова. Где-то за Барселоной они проезжали какой-то приморский городок. Из-за средневековой узости большей части его улиц шоссе, до того вмещавшее три легковые машины, в нем разделялось: по правой стороне города шло движение к столице, по противоположной — от нее. Улочка, по которой они объезжали совсем непроезжий центр, была до того узка, что шины по обе стороны «линкольна» шуршали, цепляясь за сложенные из камней высокие края пешеходных дорожек, где двоим встречным не разминуться. Вскоре машине пришлось вообще остановиться, потому что посередине проезжей части неторопливо семенил

ослик, симметрично навьюченный шестью мешками. Шофер нетерпеливо нажал на клаксон. И в то же мгновение где-то слева, должно быть, в порту, устрашающе завыла сирена, предупреждая о приближении вражеской авиации. Услышав одновременно и клаксон сзади и сирену сбоку, осел остановился, вытянул шею, оскалил лошадиные зубы, отставил хвост, чтобы едущие могли убедиться, что он не он, а она, после чего ослица эта взревела так, что почти заглушила не только автомобиль, но и портовую сирену.

Толстая женщина, в черном платке, в черном до земли платье и со стеклянными бусами на шее, сошла с того, что по размерам не имело права считаться тротуаром, и ударила свое шумно протестующее против шума однокопытное сухой веткой, которой она ранее обмахивалась как веером. Ослица мгновенно замолкла, и тогда удалось расслышать, что, понижая тон, стихла и сирена. Опустив хвост, ослица с интересом обнюхивала асфальт и, по-видимому, не собиралась тащить дальше наваленные на нее мешки. Толстая женщина вторично стегнула ее по крупу — никакого впечатления. Тогда она обеими руками уперлась в зад ослицы и, придав увесистому своему туловищу почти горизонтальное положение, попыталась столкнуть с места непослушное животное. Однако ослица, сопротивляясь, будто вонзила в асфальт точеные копытца.

Шофер не выдержал. Заскрипев зубами, он выскочил из машины, обогнул радиатор и слева кулаками ударил в тяжелые мешки. Для сохранения равновесия ослице пришлось передвинуть свои стройные, но явно стальные ножки. Шофер с той же яростью ударил во второй раз, и ослица опять подвинулась. В третий раз ей пришлось поднять передние копыта на тротуар. После этого шофер пихнул сзади, и она очутилась на пешеходной дорожке, головой к стене дома, а хвостом к машине. Шофер брезгливо отряхнул ладони, прыгнул за баранку, бухнул двер-

цей и нажал на стартер. «Линкольн» медленно двинулся, и тогда, по пояс высунувшись через опущенное стекло и держа руль одной рукой, шофер хрипящим и застревающим в горле фальцетом проорал какое-то, несомненно самое последнее из всех имеющихся в его распоряжении, проклятие.

— Не иначе как по матушке пустил,— с оттенком неодобрения определил Петров.— При женщине все-таки.

Янов улыбнулся.

— Этого у них, как и у нас в Болгарии, нет. Хотите знать его ругательство? В буквальном переводе это — «сын моей души!»

В машине наступило потрясенное молчание. И только когда она выбралась из тесной средневековой улочки, Белов откинулся на спинку сиденья и как бы про себя уважительно произнес:

— Оч-чень своеобразный народ...

Утром, придя к штабу за двадцать минут до назначенного срока, они обнаружили, что наружная дверь еще заперта, внешней же охраны помещения вообще не было.

— Удивительное, чтоб не сказать преступное, легкомыслие,— возмутился Петров.

Ровно без четверти восемь послышался звук ключа, вставляемого в замочную скважину, дверь раскрылась, и перед ними возник щурящийся от света вчерашний их знакомец.

— Салуд! — с утренней непрочищенностью в горле приветствовал он их по-испански, поднимая кулак к плечу.

— Салю! — по-французски ответствовал Белов, в свою очередь прикоснувшись кулаком к черному своему беретику.

Петров тоже молча притронулся к головному убору

кулаком. Предводительствуемые не слишком типичным штабным работником, оба поднялись по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж и вошли в расположенную прямо против нее небольшую комнатку, вероятно, приемную. Должно быть, где-то поблизости помещалась столовая, потому что сюда долетал звон посуды и неразличимые обрывки разговоров, время от времени вдруг затихавших, и тогда слышался один поучающий бархатный баритон.

Прошло немного времени, и раздался шум отодвигаемых стульев и шарканье ног. Мимо приемной проследовало несколько человек в свитерах и кожаных куртках, а двое — в обыкновенных костюмах с жилетами и при галстуках. Среди всех особенно выделялся один — маленького роста, темноволосый, с выдающимся носом. На нем был новый с иголочки темно-синий суконный китель и брюки из того же материала. Соперник Сирано де Бержерака носил широкий берет французских альпийских стрелков, лихо сдвинутый на ухо. Со всем этим плохо сочетались лишь большие роговые очки. Зато под застегнутый на пуговицу погончик левого плеча был продет ремень французской офицерской лакированной портупеи, прикрепленный к поясу, как раз над кобурой.

— Commandant Vidal,— суфлерским шепотом объяснил уже проскользнувший в приемную все тот же непредставительный работник штаба, на своем отличном немецком пояснил, что Genosse Видаль — французский офицер запаса, на последних коммунальных выборах был избран муниципальным советником одного из пролетарских округов Парижа. Здесь же майор Видаль — начальник штаба у Андре Марти и, можно сказать, его правая рука.

Шепот его заглушили проникшие снаружи музыкальный женский голос и цоканье высоких каблуков. Стройная молодая женщина не спеша прошла мимо двери в приемную. Ее сопровождали двое в белых халатах, оба

с сигаретами во рту, вероятно врачи. Перебивая друг друга, они старались рассмешить хорошенькую спутницу какими-то забавными историями. Сразу же за ними, постукивая тросточкой с плавно загнутой верхушкой,— в двадцатые годы по всем европейским городам молодые франты в обязательных котелках не выходили из дому без тросточки — прошел тот самый гражданин, который ехал с Петровым и Беловым в опустевшем вагоне. И здесь он выглядел так же независимо, только сейчас подмигнуть им не успел.

— Madame Pauline, la femme de notre grand camarade...[1] — начал было невзрачный информатор, но оборвал себя, вытянув руки по швам и устремив взор на дверь.

Тяжело, но быстро шагая, в приемную вошел Андре Марти, в такой же синей форме, в какой только что промелькнул Видаль, с такой же точно портупеей и кобурой на поясе, но сидело все гораздо свободнее и образовывало на полной его фигуре множество складок.

Оба болгарина хорошо знали Марти в лицо. И сейчас увидели, что он заметно постарел. Редкие, с сильной проседью волосы были небрежно зачесаны назад. Полное лицо с детским круглым подбородком, под которым имелся значительно более заметный второй, отдавало желтизной и, несмотря на веселое выражение, выглядело усталым. Он одобрительно посмотрел на уже дожидавшихся его людей, произнес непременное «Salud camaradas!» и, жестом пригласив следовать за ним, вошел в свой кабинет. Не успели они переступить порог, а Марти, будто давно находился в такой позе, уже сидел за письменным столом, закинув правую руку за спинку стула, левую же положив на кипу старых номеров «Юманите». Петров и Белов, войдя, остановились, но Марти свисающей со стула рукой показал, чтобы они садились.

[1] — Мадам Полин, жена нашего великого товарища... (*фр.*).

Узнав, что один из двух его не поймет, он попросил Белова послужить переводчиком и через него предложил Петрову, аттестованному полковником РККА, переселиться из отеля в казарму, тоже неподалеку от вокзала. В ней имеется annexe[1] для старших офицеров, получивших высшее военное образование, из которых и будут назначаться командиры интернациональных отрядов. Заглянув же в справку Белова, сказал, что ему надлежит немедленно переехать в Альмансу, меньше чем в ста километрах от Альбасете.

— Старинный испанский город, увековеченный в бессмертном «Дон Кихоте». Там сосредоточиваются все прибывающие сюда бывшие артиллеристы. К началу ноября в их распоряжение должны быть доставлены семидесятишестимиллиметровые орудия с заводов Шкода. Из них необходимо создать четыре трехпушечные батареи. До получения материальной части подбирайте людей, начинайте теоретические занятия. В течение примерно месяца, что у нас с вами в запасе, каждый обязан подготовить человек пятьдесят дисциплинированных и метких канониров для Республики. Вам помогут находящиеся уже в Альмансе французские и...— Марти кашлянул в кулак,— другие выдающиеся специалисты.

Возможно, что, когда Белов, вздохнув, пожимал перед гостиницей широкую руку Петрова, сердце его и дрогнуло, нечто подобное должен был испытывать и Петров, но внешне оба остались спокойны.

В Альбасете была всего лишь одна настоящая казарма, прежде принадлежавшая гражданской охране, а все остальные начали называться казармами только после того, как приезжающие добровольцы, до отказа заполнив

[1] Пристройка, крыло (*фр.*).

ее, начали занимать все другие, более или менее подходящие, помещения. Одно из них еще недавно было мужским монастырем, но многоязычный гам, толкотня на лестницах и клубящийся повсюду табачный дым делали его во всем подобным только что оставленному отелю.

Предъявив выданную ему записку и поднявшись на второй этаж в бывшую келью, чистенькую, с покрашенным масляной краской полом, неизвестным цветком в глиняном горшке на подоконнике, спартанской железной койкой, умывальником в углу, состоявшим из огромного фарфорового таза и такого же кувшина в нем, Петров едва успел убрать свой фибровый чемодан в шкаф, как в дверь постучали. Молодой парень в зеленой суконной форме и берете, отдав честь кулаком и грохнув сапогами, на сербском языке передал «другу пуковнику» просьбу зайти в номер на этом же этаже к «дженералу». Там навстречу Петрову поднялся значительный человек с волевым лицом и зачесанными назад курчавыми, седеющими на висках волосами. На нем был толстый свитер, закрывающий шею до подбородка.

— Будем знакомы. Клебер,— представился он на чистейшем, во всяком случае более чистом, чем у Петрова, русском языке.

— Меня зовут не так громко: Петров.

— Так вы помните, что это имя носил один знаменитый генерал?

— На которого Наполеон оставил свою армию в Египте? Как не помнить.

— Клебер был австрийцем, и я тоже по происхождению австриец.

Он указал Петрову на стул.

— Мне звонил Марти насчет вас. Пока в Альбасете не слишком много людей, подкованных в военном отношении, и, следовательно, вы, безусловно, один из кандидатов на высокую командную должность. Правда, незна-

ние французского будет очепь ограничивать, поскольку оп объявлен официальным языком интернациональных формирований. А как у вас с польским?

— Понимаю, но не говорю.

— Это уже лучше. Поляков здесь много. Мпого и балканцев. Вообще-то на сегодня зарегистрировано уже около двадцати национальностей. Трудности отсюда проистекают неимоверные. Я кроме родпого немецкого и ставшего родным русского знаю еще испанский и французский, честно говоря, испанский неважно. Но и этого педостаточно. Как, например, объясняться с греком, который знает еще только турецкий? Ведь известно, что построепие небоскреба в Вавилоне провалилось из-за смешения языков. У нас здесь не меньшее смешение. Выход один: создавать роты, а еще лучше батальоны по языковому признаку. Таких уже четыре: французский, польский, итальянский и немецкий. Во французском чуть яе четверть бельгийцев, но фламандцы, так или иначе, говорят на французском. В немецкий входят еще австрийцы, венгры, несколько эльзасцев. Уже решено, что отправлять па фронт будем не отдельные батальоны, а целые бригады испанского образца. Это самостоятельная боевая единица, вроде нашего пехотного полка, но усиленная собственной батареей, кавалерийским эскадроном, отдельной пулеметной ротой, санитарной службой... Торопиться не думаем и организуем все фундаментально. Времени нам отпущено достаточно: первая бригада должна вступить в строй к декабрю, а сейчас только ноябрь яачинается. Месяца вполне хватит. Пока же я предложил послать тебя к полякам. Их уже человек пятьсот. Спать будешь здесь, а весь день — с ними. Ояи за городом, но машину тебе дадим. У них, представь, в наши дни еще господствует выборное начало, так хорошеяько рассмотри, кого они там себе навыбирали. Дня через три мы с тобой опять встретимся и побеседуем подробнее.

В дверь постучали.

— Entrez! — крикнул Клебер.

И вошел... Нет, не вошел даже, а будто из-под земли явился, тот самый щеголь с усиками, который и после Перпиньяна остался в пустом вагоне и кого Петров видел сегодня выходящим из штабной столовой. Он и сейчас был так же франтовато одет, так же тщательно выбрит, и от него вызывающе пахло одеколоном, и еще эта немыслимая буржуазная тросточка, висящая на сгибе локтя.

— Не встречались? — спросил Клебер и вошедшего и Петрова.— Знакомьтесь: коронель[1] Петров, а это испанский генерал Лукач.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Во множестве написанного и произнесенного о герое этой повести почти обязательно употребляется слово «легендарный». Как бы побуждаемые этим словом, иные пишущие или говорящие вместо того, чтобы через архивы устанавливать реальные факты, проверять их путем сравнения и хронологической сверки, продолжают повторять ни с чем не сообразные выдумки, к каким, правда, предрасполагает разорванная пополам доиспанская жизнь Матэ Залки. Среди самых распространенных небылиц непременно присутствует утверждение, что он «бывший гусарский лейтенант», что он «лихо отбил» у белочехов золотой запас России и доставил поезд с ним с Дальнего Востока в Москву. Легенда о поезде с государственной казной дополняется сочинениями о пребывании Матэ Залки в кавалерии Кемаля. Факты таковы: бóльшая часть российского золотого запаса, оставленная чехословацким

[1] Здесь и далее слово «полковник» встречается как в испанском («коронель»), так и во французском («колонель») варианте.

корпусом Гайды и адмиралом Колчаком, была перевезена из Сибири в Казань без какого бы то ни было участия Матэ Залки. В революционную же Москву разрозненный из предосторожности состав доставлялся отдельными вагонами, и золотые слитки в одном из них действительно охраняли венгры, возглавлявшиеся Матэ Залкой. Слух же о его участии в освобождении Турции возник, вероятно, в связи с тем, что Матэ Залка ездил в эту страну дипкурьером. Зачем украшать его и без того перенасыщенную событиями и подвигами биографию?

Особенно много противоречий в мемуарах его школьных друзей, ведь о нем начали вспоминать, когда он стал знаменит в Венгрии. Печально, что теперь уже невозможно восполнить многие пробелы в его удивительной жизни.

...Он опять бежал босиком. Мальчишеские ступни вязли в песке, но, когда попадались сухие кусты, он легко через них перепрыгивал. Вдруг подошвы перестали ощущать нагретую солнцем почву. Теперь под ними была сырая прохлада недавно вымытого матерью дощатого пола, и хотя обоняние в снах никогда не участвует, но нос его, только что вдыхавший холодящий ноздри аромат мяты, на пучок которой он наступил на бегу, и более нежный душок чебреца, и самый главный — упоительный запах встречного степного ветра, сейчас чувствовал, как остро пахнет мадьярской водкой — палинкой, и гнильцой от сохнущей на дворе винной бочки, и — на случай, кто закажет,— шипящей в кухне на сковороде бараниной с красным перцем, а еще — едким, щиплющим глаза мужицким табаком.

Здесь, в большой комнате сельской корчмы, которая теперь так часто ему снится, уважительно именуемой «залой», стояли грубо сколоченные некрашеные столы, а

за ними, на таких же самодельных скамьях, сидели местные крестьяне. Одни глоточками прихлебывали сливовую, другие так же неспешно пили домашнее мутноватое вино, вынимая для этого изо рта свои простые вишневые или глиняные трубки, а кто побогаче — и немецкие, фарфоровые с металлической крышечкой и выгнутым чубуком. Говорили они негромко и тоже неторопливо, всегда об одном и том же: что кукуруза в этом году хорошо растет, что яблок осенью много не снять, видно пчелы плохо поработали, или еще о том, как бык чуть не запорол приехавшего на побывку из армии парня, чаще же всего — о погоде: быть или не быть завтра дождю, и чтоб он не помешал убрать сено.

Отец в этих снах всегда молча стоял за стойкой. Изредка кто-либо из сидевших за столами делал ему знак, и он подходил с флягой, наливал чего требовалось, снимал с плеча длинное полотенце, поднимал стакан или рюмку, вытирал пролитое и возвращался на свое место.

За спиной его вяло поблескивали городские бутылки с разнообразными наклейками, но то были фабричные дорогие напитки, и их почти никогда не спрашивали. Почему-то всякий раз во сне, когда взгляд мальчика задерживался на утомленном, но строгом отцовском лице, внутри возникала необъяснимая грусть. Постепенно она росла и заполняла грудь такой острой жалостью, что всегда в этом месте — вот уже несколько лет — он непременно просыпался и, мгновенно приходя в себя, обнаруживал на глазах слезы и каждый раз изумлялся почти невыносимому лирическому напряжению бессодержательного, по существу, сновидения...

Он поднес левую кисть к лицу, пытаясь разглядеть, который же час, но было чересчур темно, и, хотя циферблат отчетливо белел во мраке, различить стрелки оказалось невозможным. Лежа на спине и заложив сцепленные пальцы под затылок, он размышлял о том, почему

сон этот, в котором ровно ничего не происходило, не снился ему в отрочестве или во время учения в средней школе в соседнем с их Матольчем местечке Матесалке, в котором родился его отец, ни позже, когда он посещал Высшее коммерческое училище, находившееся в центре области Сатмаре, ни в школе прапорщиков, куда он был зачислен после начала мировой войны, ни даже на фронте? Больше того, он хорошо помнил, что впервые увидел этот сон только в русском плену, да и то не во время лежания в офицерском госпитале Западной России, а лишь далеко за Уралом, в Красноречепском лагере для военнопленных. И еще одна странность: в милом, родном Матольче, где протекло его раннее детство и два скучнейших года начальной школы, было ведь много такого, что с гораздо большим основанием могло бы присниться. Он вообще не помнит, чтобы когда-нибудь, разве что совсем малышом, вот так бесцельно, куда глаза глядят, бегал бы по песчаной равнине за селом, где там и сям паслись козы или мелкие кучки овец. Уж если что бывало, так это бешеная скачка на лошадях, сначала без седла, а там — в нечастые приезды из Матесалки на школьные каникулы — и на оседланном коне, понятно, не отцовском. У корчмаря собственной лошади не было. Настоящих кавалерийских держали господа Ясаи, у которых были земли поблизости от Матольча. Эта дворянская семья разорилась давно, но кое-что у них все же осталось. Они горделиво называли себя на английский лад — «джентри». О подлинном значении этого понятия он узнал уже в коммерческом, читая какой-то классический переводной роман.

Как бы то ни было, но у этих «джентри» было четверо детей: две дочери и два сына. С младшим из них он познакомился, ловя как-то на удочку пескарей в речке, вдоль которой расположилось их село и которая выразительно именовалась Мертвый Са-

мош, хотя пескари в ней все же водились. В общем, знакомство их свершилось под знаком пескаря. Насмотревшись, как помещичий мальчуган — его звали Анти, и был этот Анти на год моложе младшего сына корчмаря — пытается ловить рыбу, насадив на крючок бледного и вялого дождевого червяка, он бескорыстно показал, где можно накопать отборных навозных — багровых и духовитых. Ловля сразу пошла на лад. Анти был очень благодарен ему и оказался веселым и общительным, как он сам, хлопцем. Хотя кто, собственно, не общителен в девять лет? В общем, они сразу подружились, и Анти позвал его к себе. Что ж, он взял и пошел. Раньше ему никогда не приходилось бывать в таких домах. Однако мальчик и виду не показал, что поражен. Почему-то, когда он в первый раз попал к этим Ясаи, к нему отнесся дружески не один его новый приятель, маленький Антал, но и его старший брат, и обе сестры, и даже сами их родители. По правде сказать, не только такого богатого дома, но и таких особ, как две эти барышни, он тоже никогда до того не видывал, разве что на картинках. Обе были писаные красавицы, в особенности младшая. Маленькой она была до того похожа на дорогую фарфоровую куклу, что ее с детства так и прозвали Куколкой. Но ни она, ни другая сестрица и никто из них не придавал ни малейшего значения тому, что дружок их младшего брата был сыном местного корчмаря Михая Франкля. А может быть, они знали, что задолго до рождения последнего ребенка этот Михай был очень далек от того, чтобы держать сельскую корчму. Он арендовал в другой волости у барона Кенде много хольдов солончака и пас на них свои отары. Дело как будто наладилось. Но все пошло прахом. В один несчастный год на овец напал мор, и за какой-нибудь месяц все они передохли. Тогда и пришлось отцу продать хороший дом и все, что в нем и при нем, а после выплаты арендной платы барону у него

еле-еле доставало, чтобы купить эту корчму в Матольче у вдовы ее прежнего хозяина.

Потому ли, что господа Ясаи все это знали, или потому, что сами разорились, но все они, даже их прислуга, относились к сыну владельца сельского кабачка как к ровне. А потом, когда Анти и он переехали в Салку (Матесалкой ее называли лишь на картах, да еще когда писали адрес на конверте, а так все говорили просто: Салка), где была средняя школа, и стали появляться в Матольче только на каникулах, то отношения со всеми Ясаи стали еще лучше. Вот тогда и начали они втроем носиться на конях по степи: два брата Ясаи и он, Бела. Теперь это имя кажется ему совсем чужим, но ведь целых двадцать лет он носил его, пока уже за Уралом, уходя в тайгу, не сменил, чтобы ненароком не подвести почти восьмидесятилетнего отца и сестер, и всех остальных родственников в Венгрии, не отвечающих, конечно, за действия сибирских партизан.

Правда, теперешнее его имя — здесь, в Испании, совершенно секретное — возникло первоначально как литературный псевдоним, когда он всерьез взялся за стихи, а главное, когда их стали помещать в школьном журнале, а позже и в литературном приложении к местной газетенке. Легкомысленное это занятие во что бы то ни стало необходимо было скрыть от отца, отказывающего себе во всем, чтобы обеспечить единственному из всех его детей, неблагодарному Беле, основательное коммерческое образование, которое дало бы хоть ему возможность выбиться из беспросветной сельской бедности. Рядом с такой целью стишки были не просто бессмысленной затеей, глупым баловством, но вредной помехой, отвлекающей от основной задачи. Но что было делать, если он не мог расстаться с ними, хотя сперва на чтение, а там и на их писание уходило все его время, очень немного оставалось на игры, а на учение его просто-напросто не хватало.

И выдумал он этих псевдонимов немало. Первый, сочиненный еще в средней школе, звучал чересчур прозрачно: Бела Фаи.

Забавно, что через столько лет он и слышит и видит его здесь ежедневно. Сокращенным по первым буквам названием Федерации анархистов Иберии сплошь исписаны стены домов, трамваи, автомашины и вагоны поездов или украшены головные уборы, шейные платки, черно-красные знамена и даже белые куртки официантов. Даже и сейчас в ночной тишине неким беззвучным фоном в ушах ритмично отдается: «ФАИ! ФАИ! ФАИ!»

Хорошо все же, что он тогда от этого псевдонима отказался, как, впрочем, и от многих других, всех их уже и не вспомнить. А вот последний был действительно хорошо придуман, не придуман даже, а просто он преобразовал в имя и фамилию разделенное надвое название дорогого его сердцу местечка: Матесалка — Матэ Залка. Этот псевдоним он принимал несколько раз и привычно воспользовался им, когда написал и поставил пьесу за тысячу верст от Австро-Венгрии, в офицерском бараке лагеря военнопленных в ледяном Красноярском крае.

А еще немного позже он всерьез назвался этим литературным именем, и оно в конце концов так приросло к нему, что когда, бывало, жена окликала его племянника, переместившегося из хортистской Венгрии в Москву и превратившегося в советского военного летчика, выделявшегося среди своих товарищей лишь тем, что его зовут Бела, то он, бывший Бела, и ухом не вел, будто это имя никогда ему не принадлежало.

Да, если подумать, почти все в его судьбе, даже то, что написано в сданном перед отъездом паспорте, определилось его ранним юношеским пристрастием к литературе. Как-то старшая дочь Ясаи, писавшая альбомные стихи, напевно прочитала ему вслух одно из своих творений, и неожиданно для себя самого он сразу сдался, хуже

того, пришел в восторг, а вернувшись к себе, сел за стол и так, с бухты-барахты, сочинил первое в жизни стихотворение, скорее, нечто вроде того, ибо у столь неопытного подмастерья, каким он был, первый поэтический блин не мог не выйти комом. И рифмовка была весьма приблизительной, и размер хромал на обе ноги, но печальнее всего выглядело содержание, наивнейшим образом повторившее то, что за несколько часов перед тем продекламировала ему сестра Куколки.

Однако именно с этого вечера он запоем стал читать и прежних и современных венгерских поэтов, а кроме того, и безудержно писать сам. Стихи, если стоит называть стихами эти сырые подражания последнему из прочитанных авторов, так и потекли из него, словно вода из плохо завернутого крана. Этот неиссякаемый поток посвящался прелестной Куколке.

Он втайне влюбился в нее и долго, очень долго продолжал любить, не любить даже, а задыхаться только при взгляде на нее. Сердце останавливалось, когда она мелодичным своим голоском называла его по имени. Но ему приходилось скрывать свои чувства, потому что, взрослея, он все лучше понимал, какая непреодолимая пропасть зияла между ними. И тут ничего не могли изменить ни ее благосклонность, ни ее снисходительный интерес к его строфам, разбухающим от невозможности вместить в себя переполняющие его чувства, ни их совместное увлечение театром. Ничего. Между ними зияла бездна, через которую ему никогда не перебраться. Но и забыть первую любовь он тоже не мог. Да и забыл ли даже сейчас?.. Хотя еще до войны она написала ему в коммерческое училище, что собирается замуж, и вскоре действительно вышла за преуспевающего адвоката. Ее муж, чтобы избежать призыва в действующую армию, за хорошие деньги сделался белобилетником, но Куколка была патриоткой и не смогла примириться с этим. Она уехала от него к своей

матери. Старик Ясаи к этому времени умер, а сыновья его были призваны и в качестве «джентри» поступили в гусары. Старший скоро был убит в шикарной, но бессмысленной кавалерийской атаке, а младший продолжал служить и даже пытался устроить и своего друга детства в этот привилегированный полк...

Он повернулся на правый бок, подтянул колени к груди, по-детски подложил ладонь под щеку и закрыл глаза. Хотелось бы все-таки понять, почему один и тот же сон последнее время все чаще снится ему, даже когда он стал испанским генералом. И всегда чувство пронзительной жалости к стоящему за стойкой и упорно молчащему отцу приводит к пробуждению. Чем, собственно, оно вызывалось?..

Отец, несомненно, был никчемным коммерсантом, так думали многие, даже родившая ему восемь детей и рано умершая жена. Обманывали его все, кому не лень, кроме разве окрестных крестьян, эти никогда и никого не обманывали. Но чаще других его снисходительностью пользовались бесконечные родственники, начиная с родных сестер, а за ними — двоюродные, за двоюродными же многочисленные племянники и даже дети этих племянников и племянниц. Все они брали в долг продукты из бывшей при корчме небольшой лавочки и обычно потом забывали расплатиться.

И все же ранящая жалость проистекала не из-за отцовской неспособности к деловому исполнению роли мелкого лавочника. Ведь он не по слабости характера допускал это постоянное разграбление, а потому, что был старшим в роду и считал помощь даже самым отдаленным родственникам своим долгом. Внутренне же он был очень тверд и обладал непоколебимыми, хотя, по мнению младшего сына, и сильно устаревшими взглядами. Так что, вероятнее всего, короткий, но настойчивый сон этот порождался тем, что называется угрызениями совести.

Ведь с первого класса в Матольче и до окончания Высшего коммерческого училища постоянно обманывал отца. А как было не лгать? Еще подростком он ясно понял, что ни за какие блага не сможет пойти по избранной для него стариком дороге, потому что у него есть другое предназначение. Но расхождение между отцовскими надеждами и своим внутренним стремлением неизбежно приходилось скрывать, тем более что у мадьяр испокон веку существовали и до сих пор продолжают существовать совершенно особые отношения между отцом и сыновьями.

По этим, освященным древностью обычаям, отцы руководят своими сыновьями не только до их гражданского совершеннолетия, как оно принято повсюду, но и до той поры, пока те не обзаведутся собственным потомством. И отец продолжает управлять сыном, и всеми вокруг это почитается естественным и законным. Поэтому-то, если в начальной школе и в младших классах средней школы он скрывал свои дела, а скорее, свое безделье из страха перед тем, что чеховский Ванька Жуков именовал «выволочкой», то позже, когда слабеющий и смягчающийся с возрастом отец перестал его драть как сидорову козу (интересно узнать, кто этот Сидор и чем провинилась его коза?), лгать приходилось уже, чтобы не огорчать старика. По-русски это называется ложь во спасение, но как ее ни называй, а ложь есть ложь.

Однако был ли он сам в чем-либо по-настоящему виноват? Сначала из него прямо-таки хлестали стихи или, лучше сказать, то, что он принимал за стихи. За стихами пошло театральное помешательство: участие в любительских спектаклях, сочинение стихотворных пьес и даже изготовление бутафории. Он и дневал и ночевал в сатмарском театрике, особенно когда наезжали гастролеры.

Но существовали и другие помехи серьезному отношению к предметам, преподаваемым будущим коммерсантам. Ведь как-никак, а он превратился в юношу. В до-

вольно, надо признаться, странного юношу, который не курил (и даже ни разу не уступил просьбам одноклассников хотя бы попробовать разок затянуться), ни при каких обстоятельствах не пил, отказывался, ссылаясь на контузию в 1916 году. То же он продолжал говорить и потом, если в гостях или даже на каком-нибудь банкете ему предлагали выпить. Возможно, неприятие спиртного возникло в нем еще в детстве, порожденное острым запахом алкоголя, стоявшего в воздухе отцовской корчмы и смешанного со столь же едким дымом грубого крестьянского табака. Но не надо думать, что отвращение к сливовой и к дыму трубки превратили его в монаха. Да, он не пил и не курил, зато влюблялся за троих: за себя самого, да еще и за курящего и за пьющего.

Трудно теперь восстановить постоянное, мучительное это ощущение бьющегося сердца, в котором при этом все еще продолжала царить прекрасная и умная младшая барышня Ясаи. Но она парила высоко-высоко над всеми, а внизу, на земле, оставалась еще пропасть других девушек, имен которых ни за что уже и не вспомнить. Впрочем, ту маленькую надменную немку, для которой он написал первое в Салке стихотворение, презрительно ею отвергнутое, звали, помнится, Анной. Конечно. Анной Рот. А сколько на них на всех, на ожидание их под дождем, на бесполезные разговоры с ними, было потрачено часов. Не ясно ли, что на выполнение домашних занятий абсолютно нечего было выкроить?

Но еще больше времени потребовалось на прозу, когда он занялся ею. Это произошло уже в коммерческом, одновременно с театральным безумством. К этому времени он настолько повзрослел, что перестал запоем читать все, что попадется, а принялся изучать тех писателей, которые высказывали что-то новое и неожиданное, учили всматриваться в окружающую жизнь, разбираться в ней. Примерно тогда же он понял, что хорошо написать ко-

роткую новеллу значительно труднее, чем прилагаемый к еженедельному иллюстрированному журналу бесконечный приключенческий роман. Он впервые почувствовал различие между художественной литературой и всяческими развлекательными, чисто ремесленными, подделками под нее. Постиг он тогда и то, что подлинное искусство требует не порыва, а полнейшей самоотдачи и неустанного, каторжного труда. Что ж. Ценой упорной работы кое-чего он все же добился. Не очень многого, если быть честным, но для недавнего оборвыша из Матольча, с трудом научившегося читать и писать, это кое-что было несомненным успехом.

И тем не менее это было лишь началом пути. По нему предстояло еще долго и упорно шагать, пока из сатмарского восторженного писаки выработался профессиональный литератор.

Ему было всего восемнадцать лет, когда в Европе вспыхнула война, очень скоро превратившаяся в мировую. Едва достигнув двадцати лет, он бросил военную школу и, надолго отшвырнув от себя какие бы то ни было помыслы о литературе, как искренний и горячий патриот, добровольно вступил в 12-й Сатмарский пехотный полк вольноопределяющимся.

Очень скоро полк этот был введен в бой на сербском фронте, а потом переброшен на итальянский. Тот, кто предполагает, что жизнь в окопах способствует литературному творчеству, сильно ошибается. То же можно сказать и о военном госпитале. Только попав в плен под Луцком и совершая медлительное путешествие через всю необъятную Россию сначала в вагоне Красного Креста, чему он был обязан ранению и контузии, а затем в теплушке,— только тогда он снова обрел свободное время и в ушах его под неторопливый стук колес опять зазвучали стихотворные ритмы и рифмы.

В Краснореченском лагере, расположенном за триде-

вять земель от Венгрии — оставалось рукой подать до Охотского моря,— куда в конце концов завезли попавших в плен венгров и где, кроме унылых бесед о прошлом, игры в карты да возможности бесцельно слоняться вдоль двойного ограждения из колючей проволоки или беспробудно спать,— делать было совершенно нечего.

И сначала он всем существом предался писанию бесконечных писем на родину, а затем из-под русского стального пера № 86, вставленного в ядовито-зеленую деревянную ручку, потекли фиолетовой чернильной бесконечной рекой стихи. Ему пошел тогда всего двадцать второй год, и следовало ли удивляться, что стихи били фонтаном.

В них изливались не угасшие за месяцы фронтовых лишений страстные и возвышенные чувства к его невесте, семнадцатилетней стройной брюнетке с каштановыми глазами, к грациозной маленькой Регине, женихом которой он стал еще в бытность свою юнкером. В первых письмах с войны он умолял отца просить ее руки от имени своего младшего сына, а старик все откладывал и откладывал сватовство, считая, видимо, небогатую девушку, служащую в аптеке, слишком скромной партией для образованного молодого человека, которого вот-вот должны произвести в офицеры. Без пяти минут лейтенант слал ей бурные письма и с сербского, и с итальянского, и с русского фронтов, и только одно осталось неотправленным. Оно лежало в нагрудном кармане, и его пробило вонзившимся под ребро осколком, залило кровью, и русские санитары выбросили его вместе с окровавленным бельем. Но еще из лазарета в Луцке он написал ей и потом с дороги послал открытку, так что к прибытию эшелона на Красную Речку его уже ждали там сразу два ее нежнейших и жалостливых письма. Оба кончались обещанием ждать его, хотя бы война продлилась еще два года, во что она верить не хочет. Последние слова были

замараны австро-венгерской военной цензурой, но все равно их можно было разобрать.

Однако письма из дому доходили до пленных через две, а то и через три недели, а в обратном направлении шли еще дольше, а так как, кроме чтения и писания писем, многим офицерам больше нечем было заняться, то у самых молодых зародилась мысль устроить любительские представления. У кого-то нашелся сборник венгерских пьес, и они поставили две из них, и бывший сатмарский театрал играл в обеих. Особенным утешением сделались спектакли при наступлении темной, тягучей и снежной зимы, познакомившей людей из Центральной Европы с трескучими сибирскими морозами, доходившими в январе 1917 года почти до сорока градусов ниже нуля.

Но еще до наступления поздней сибирской весны в лагерь пришла потрясающая весть о революции в Петрограде, об отречении царя и создании Временного правительства. Утепленные сугробами бараки заволновались. В офицерском — завязались кипучие споры: будет ли революционная Россия продолжать войну, и, если нет, не освободит ли она всех военнопленных? В солдатских же началось подспудное брожение.

Впрочем, довольно скоро выяснилось, что война будет длиться «до победного конца» и с пленными пока все останется по-прежнему. Именно тогда он и взялся за пьесу «Иерусалим». В ней изображался крестовый поход, показывалась предрешенная неудача крестоносцев и все, что из нее вытекало. Но в сценах трагических катаклизмов XI века ему удалось высказать некоторые заветные мысли, имеющие самое непосредственное отношение к современности. Пьеса достаточно прямо осуждала войну, вызывала жалость к убитым и сострадание к их вдовам и сиротам. Это была откровенно пацифистская пьеса, написанная сентиментально и слишком поспешно. Юный драматург читал много, но сумбурно и уж во всяком случае

не знал тогда Пушкина и не предполагал даже, что надо алгеброй гармонию проверить. И все же, несмотря на ее сценическую незавершенность и излишнюю декламационность, пьеса имела успех не только у пленных солдат, но и у многих офицеров.

И если по «Иерусалиму» нельзя судить о масштабах одаренности его сочинителя, то по несовершенной пьесе этой видно, какое огромное влияние оказали на него участие в кровопролитных боях и унылые тяготы плена. Куда подевался тот, готовый лезть на рожон, пылкий мальчишка, тот несгибаемый патриот, который, боясь не дождаться выпуска из военной школы, по уши увязнув в верноподданнических чувствах (не столько, понятно, к Францу-Иосифу I, императору двуединой австро-венгерской монархии, сколько к королю Венгрии, которым был все тот же Франц-Иосиф, только переименованный по-мадьярски в Ференца-Йожефа), добровольно поступил вольноопределяющимся в готовившийся к отправлению в действующую армию 12-й Сатмарский пехотный полк?

Уже на итальянском фронте наивного юношу поразила дистанция, если не пропасть, лежавшая между нижними чинами, а также запасными или только что произведенными молодыми офицерами на передовой и высокопоставленными штабными чинами. А попав в плен, он, к своему удивлению, заметил, что вражда между воюющими народами, похоже, осталась где-то там, на линии фронта. Во вражеском тылу никто не проявлял к мадьярам, австрийцам, чехам, хорватам или словакам ни малейшей ненависти. Русские сестры милосердия в белых накрахмаленных косынках, с красными крестиками на лбу и большими крестами на передниках относились к раненым военнопленным не как к выведенным из строя офицерам и солдатам противника, а как к тяжело страдающим людям. И, чем дальше в глубь страны везли их, тем чаще обращались к окнам санитарного вагона сочувственно-любо-

пытные глазки молоденьких девушек, тем добродушнее были на станциях беззубые улыбки старых крестьян, протягивающих пленным в приоткрытые двери теплушек матерчатые кисеты с махоркой, тем жалостливее звучали причитания простых баб.

В общем, ко времени написания «Иерусалима» он из воинственного защитника отечества как-то незаметно, но очень решительно превратился в убежденного пацифиста, и успех пьесы был приятен ему больше всего тем, что зрители почти единогласно одобряли в ней осуждение всякой войны. Тогда же он окончательно остановился на своем, избранном и для «Иерусалима», псевдониме, под которым стал известен всему лагерю. Он напоминал ему не то чтоб о самом счастливом, но, по крайней мере, о самом жизнерадостном и беззаботном и, главное, божественно-безответственном и, следовательно, самом легком периоде его жизни — школьном. Там, в Матесалке, он бесповоротно решил посвятить свою жизнь литературе, так что псевдоним этот, который когда-нибудь будет напечатан над заглавием всех его книг, был чем-то вроде тайного обета верности и благодарности. Ну а, кроме того, выбранный псевдоним этот постоянно напоминал ему о родном крае, о населявших его трудолюбивых людях, о лучших на свете самошских яблоках и еще о самом чистом и выразительном мадьярском языке, на каком тогда говорили тамошние крестьяне. И уж как-то само собой получилось, что литературное его имя стало вскоре и паспортным, хотя настоящего в нем было только обязательное у русских отчество — Михайлович. Каждый раз, когда его произносили в России, незаметно возникало ощущение отцовского присутствия.

Вот уже три года, как отца нет, но до сих пор при воспоминании о нем слегка теснит в груди. Когда же в Москву пришел заграничный, обрамленный траурной каемочкой конверт с извещением о смерти старика, то, будучи

столько перенесшим, отнюдь не слезливым человеком, он жалобно закричал и долго неутешно плакал, всхлипывая, как ребенок, которому не удается справиться с собой. И дочка, Талочка, и жена очень сочувствовали ему. Верочка даже немного удивлялась. «Ну, успокойся, мой дорогой,— утешала она.— Не убивайся так страшно. Ведь он был совсем-совсем старый человек. Редко кто доживает до этого возраста. И ты его почти двадцать лет не видал, а так горюешь...»

Он не пытался объяснить ей то, чего она просто не могла понять. Ведь в нем боль от потери усугублялась острым сознанием своей вины перед покойным, вины в том, что он пошел не указанной ему, а своей собственной дорогой. Когда умерла мать, он тоже горевал и плакал, но тогда он был еще ребенок, а детская печаль быстролетна. Тогда не было этого терзающего раскаяния, хотя он отлично знал, что никак не мог вести себя иначе.

Бедный отец. После смерти жены он сильно сдал. Без хозяйки не только дом, но и дело пошло к упадку. Несмотря на свою вспыльчивость, она была ему послушной женой, а во второй раз он уже не женился и жил бобылем. С остальными детьми у него продолжались спокойные, если даже не прохладные, отношения, только ему, младшему, отец отводил в своем сердце особое место и, чем больше проходило времени, тем мягче и добрее становился к нему. Как горько должен был страдать неудачливый старик, когда ему стало ясно, что любимый сын обманул его ожидания. И теперь поздно пытаться как-то загладить это. Ничем больше не помочь, ничего не изменить...

— Ладно, Пал Лукач,— громко сказал он по-русски в темноте.— Хватит. Надо спать. Утро близко, а дел завтра невпроворот.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Главный советник при генерале Миахе советский военный атташе комбриг Горев был кровно заинтересован в скорейшем появлении на Мадридском фронте таких, особо надежных, боевых единиц, как интербригады. Он направил Матэ Залку, обладавшего военным опытом, в Альбасете.

Библейское повествование о неудачном построении в древнем Вавилоне первого небоскреба убеждает в том, что люди могут творить общее дело, если они говорят на одном языке. Вот уж чего нельзя было сказать об иностранных добровольцах, начавших с середины октября 1936 года переполнять Альбасете, старинный, извечно провинциальный, тихий испанский городок.

Правда, среди них было небольшое число латиноамериканцев, говоривших по-испански. Однако в Альбасете кроме французов, итальянцев и поляков были еще и немцы, и англичане, и венгры, и югославы, и болгары, и греки, и румыны, был даже один эфиоп. И перед людьми, которые брались организовать эти разноязычные толпы, чтобы создать из них боеспособные войсковые части, стояла задача ничуть не легче построения вавилонской башни. Если же принять еще во внимание, что уже находившиеся в распоряжении альбасетского центра примерно две тысячи человек были и политически неоднородны, нетрудно понять, что было от чего растеряться. При заполнении анкет больше половины волонтеров объявили себя беспартийными, и хотя среди остальных абсолютное большинство составляли коммунисты, немало было и социалистов разного толка, а также всякого рода радикалов и даже анархистов. Впрочем, всех объединяли широкие, искренние антифашистские настроения.

Прибыв в Альбасете, в штаб формирования интернациональных соединений, лишь к началу ноября, генерал Пал Лукач быстро разобрался в том, что на газетном языке именовалось «морально-политической обстановкой».

Он появился здесь с сильным опозданием, потому что его задержали эстремадурские дела; он даже побывал на периферии этой части Испании. Еще в Париже его предупредили, что опытный сибирский партизан вроде него непременно будет поставлен во главе одного из крупнейших отрядов эстремадурских герильеросов, как по-испански именовались участники народного сопротивления, создавшие своеобразные традиции в этой области еще со времен борьбы с Наполеоном.

По прибытии в Мадрид он переночевал в отеле и чем свет, переодетый в черный люстриновый пиджак, дешевые вельветовые брюки того же цвета и в белые парусиновые туфли, катил по направлению к фронту, а рядом с ним лежало серое солдатское одеяло, которое русские солдаты носили скаткой через плечо, а тут в середине его было прорезано отверстие для головы, чтобы пользоваться им вроде пончо, как в холода делают здешние крестьяне. Когда Пал Лукач увидел в зеркале свое круглое лицо и задрапированную одеялом фигуру, ему открылось совершенно неожиданное сходство между этим ряженым и Санчо Пансой.

Сопровождал его в путешествии некий товарищ Кириллов, прирожденный остряк, с породистым усталым лицом, знающий кучу европейских языков и еще турецкий, из которого нынешний Лукач в двадцатые годы выучил до сотни слов, потому что неоднократно ездил дипкурьером и в Турцию. Но если бывший советский дипкурьер смахивал на слугу Дон Кихота, то хозяин машины скорее походил на крупного европейского дипломата. Он был одет в отлично сшитый серый костюм, голубую шелковую рубашку и дорогой синий галстук; поверх всего было еще

модное светло-коричневое пальто из толстого ворсистого сукна, а на голове сидела фетровая шляпа. При знакомстве он сразу объявил, что «Кириллов» — это его здешнее имя. Еще в начале поездки он предупредил, что дорога им предстоит не очень долгая, так как не только машина везет их к фронту, но почти с той же скоростью и фронт спешит им навстречу. Понятно было, что это ироническое преувеличение базируется на чем-то реальном.

Накануне Кириллов, а также его сослуживец и, видимо, близкий приятель — Сандлер сообщили Лукачу невеселые подробности происшедшего неделю назад прорыва республиканских позиций у Симпосуэло, после чего мятежные армии с удвоенной быстротой покатились к Мадриду.

Было около десяти, когда по приезде в брошенный жителями крохотный поселочек Кириллов снял свою оксфордскую шляпу, повесил ее на крючок возле дверцы и произнес по-испански целую речь, обращенную к сидевшему рядом с шофером тощему, средних лет молчальнику (за всю дорогу он не проронил ни слова), одетому примерно так же, как Лукач, но выглядевшему в этом одеянии естественнее. Лукачу было известно, что этот дядя — его проводник. Закончив свою речь, Кириллов положил руку на обшлаг рукава своего соседа и опять перешел на русский:

— Фронт здесь все еще так называемый. Допускаю даже, что мы его уже пересекли. Если нет, то вам легче это будет сделать вдвоем и не на машине. Вероятнее всего, вы долго ни души не встретите. Места тут довольно глухие. А если на кого напоретесь, то я объяснил Хосе, что для посторонних вы глухонемой с детства. В отряде же вы найдете товарища, не хуже меня говорящего по-русски. Он доброволец из Парижа. До недавней поры служил в эскадрилье Мальро пулеметчиком. Вы про нее слыхали?

Лукач ответил, что читал о ней в корреспонденциях Кольцова.

— Мальро за этого своего Anatol'я головой ручается. Жду вас обратно завтра. Лучше бы утром, чтобы я здесь не закис. Вернетесь, мы с вами окончательно все в ЦК обговорим, а там принимайте командование. Если ночью сюда вдруг придут фашисты, то вы где-нибудь неподалеку обнаружите мой хладный труп. Но до вашего возвращения я отсюда, так или иначе, ни ногой. Ни пуха ни пера.

На прощание он похлопал Хосе по спине и обменялся с Лукачем крепким рукопожатием. Лукач просунул голову в дыру одеяла и ладонями поправил растрепавшиеся при этом волосы. Он и Хосе вышли из автомобиля. Хосе перекинул синюю холщовую сумку через плечо, показал Лукачу, чтобы он шел сзади, и размашисто зашагал.

За последним, сложенным из плохо отесанных камней домом (Лукач про себя вспомнил, что так же кладут стены в некоторых областях Казахстана, куда его, как и многих других иностранных членов партии, посылали на коллективизацию в 1929 году) Хосе взял вправо и еще быстрее пошел по тропинке, еле заметной на каменистой почве. Оглянувшись, перед тем как ступить на нее, Лукач увидел, что Кириллов, открыв дверцу, замахал ему аристократическим своим фетром.

Повернув, они начали углубляться в поросшую пожелтевшей травой неширокую долинку, извивающуюся меж невысоких холмов. По ней бродили две белые козы. Одна из них задрала бороду и жалобно заблеяла. Хосе оглянулся, собрался что-то выговорить, но, вспомнив, что иностранный товарищ все равно ничего не поймет, только рукой махнул. «Хотел, вероятно, сказать, что коза давно не доена»,— решил Лукач.

По еле различимой тропе они шли около часа, а затем Хосе, по каким-то доступным ему одному соображениям, свернул с нее и взял опять вправо к крутому склону, по-

росшему сухим, колючим кустарником, и стал подниматься по нему напрямую. Так, то поднимаясь, то опускаясь, шли они еще часа два, пока не оказались на поперечной пыльной дороге, проложенной по дну ущелья. Впереди и справа над ним, в серой скале, можно было различить нечто вроде трещины, а то и входа в пещеру. Хосе оживился и, когда они оказались почти под нею, остановился и устремил взгляд на эту расщелину. Лукач тоже поднял к ней глаза. Так они простояли не меньше минуты. Уверенное лицо Хосе постепенно приняло растерянное выражение. Очевидно, предполагавшаяся встреча должна была состояться здесь, но похоже, что другие участники ее не то опоздали, не то вообще не явились. Лукач вопросительно посмотрел на своего гида, тот выразительно развел руками. Они сели на выступ у обочины дороги. Хосе, положив сумку на колени, достал из нее кирпич белого хлеба и такой же белый круг сыра. Они перекусили. Хосе вынул было из кармана самодельный кисет и кресало, но, взглянув на окружающие вершины, сунул все обратно. Они просидели неподвижно и молча еще минут десять, пока Хосе на что-то не решился. Осмотревшись, он указал Лукачу на лежащий чуть повыше огромный, покрытый мхом камень. Нетрудно было догадаться, что Хосе предлагает укрыться там. Убедившись, что иностранец понял его жест, он приложился на прощание кулаком к своему берету, перебежал дорогу и, не оглядываясь, исчез в кустах.

Весь, вплоть до белых туфель, укутанный длинным одеялом, Лукач уютно, как в спальном мешке, лежал за камнем, но на душе у него было отнюдь не безмятежно. Он не знал, ни что за выход придумал этот самый Хосе, ни куда отправился, ни когда вернется, да и вернется ли вообще. Разве не может случиться, что его схватят и с ним к этому камню придут совсем не те, кому следовало бы?.. Едва мысль его допустила такой поворот событий,

Лукач приподнялся, в несколько прыжков, как кошка, переместился метров на тридцать повыше и залег в подвернувшейся ложбинке, позади хотя и облетевшего, но все равно густого куста.

По дороге сюда он не отставал от своего проводника и смотрел не только на его спину или под ноги, но старался запомнить весь их путь. Надо думать, он сумел бы самостоятельно добраться до поселка, где остался Кириллов. Но это днем. Если же Хосе не вернется достаточно скоро, придется проторчать в этой выемке до утра. Неспокойно у него на душе было еще и потому, что, находясь на вражеской территории, он не был вооружен. Хоть бы самый маленький браунинг в кармане... Но так порешили в Мадриде. Да что там браунинг, когда нет и часов на руке, ни листка бумаги, ни карандаша с собой, ни тебе компаса,— абсолютно ничего нельзя было брать. «Не забудьте оставить в номере и носовой платок. Испанские крестьяне, даже глухонемые, так же как, впрочем, и наши во многих областях, пользоваться им не приучены»,— еще вчера вечером инструктировал его Кириллов. Белье тоже пришлось переменить, выдали ему и грубые шерстяные носки домашнего вязания.

— Что может быть глупее героической гибели из-за метки на кальсонах? — поддержал своего приятеля и Сандлер...

Вокруг было прямо-таки нестерпимо тихо. Хоть бы пичужка какая засвиристела, или полевая мышь пискнула в норке, или, пролетая над головой, всевидящий ворон проронил свое «крук». Даже кусты не шелестели. Просто неправдоподобно, что в таком узком коридоре между гор — а ни ветерка.

Время тянулось ужасно медленно. Нигде не было видно ничего живого. От мертвой тишины шумело в ушах. Но вдруг в ней послышался едва различимый, но непрекращающийся шорох. Лукач приподнял голову. Это никак

не мог быть Хосе — чуть слышное шелестение доносилось не с противоположной от дороги стороны, но откуда-то сверху. Напряженно вслушиваясь и всматриваясь, Лукач уже через несколько минут испытал внезапное облегчение: метрах в двухстах над ним то появлялся, то скрывался среди кустов черный берет Хосе. Вопреки всякой логике, он спускался вовсе не с той горы, на которую какое-то время назад поднимался, а с противоположной.

Вскоре кусты захрустели совсем близко, и Лукач не мог отказать себе в удовольствии несколько мгновений полюбоваться растерянно-испуганным выражением на лице своего гида, когда, вытянувшись во весь рост, тот обнаружил, что порученного его попечениям ответственного иностранного camarada за камнем нет. Насладившись его испугом, повеселевший Лукач слегка прочистил горло, и тот, мгновенно повернувшись на этот звук, в свою очередь расцвел.

— Bueno,— одобрительно произнес он явно по поводу перемещения своего подопечного.

Проронив при нем одно лишь это «хорошо» за весь день, Хосе и не подумал присесть, но решительно двинулся вниз, кивком пригласив Лукача следовать за ним. Едва оказавшись на знакомой дороге, он быстро пошел налево, и стало понятно, что они возвращаются к своим.

Было уже совершенно темно, когда, опять никого не встретив, за исключением все тех же двух коз, смутно белевших на краю запомнившейся лужайки и сквозь сон испустивших слабое блеяние на неясный шелест двух пар парусиновых туфель, усталые пешеходы различили черные очертания первых каменных хижин вымершего поселка. Миновав их, Хосе громко засвистел, и почти сразу ночную улицу откуда-то слева прорезал ослепительный свет автомобильных фар, превративший пустой дом, в который уперлись лучи, в искусно выполненную театральную декорацию.

Кириллов встретил их очень буднично, словно они ходили в какой-нибудь магазин по соседству.

— Вернулись не солоно хлебавши,— успел проговорить Лукач, пока они с Хосе усаживались, а шофер запускал мотор и выбирался на шоссе, где сразу прибавил газу.

Сдержанно, почти не жестикулируя, Хосе минут двадцать отчитывался перед Кирилловым, а кончив, повернулся к световым снопам, прыгающим перед машиной по выбоинам дороги.

— Даю вам слово вкусно и до отвала накормить у себя,— сказал Кириллов.— Кажется, этим исчерпывается вся приятная часть информации: Хосе принес неутешительные вести. Партизанская группа, в которую мы вас направляли, была третьего дня окружена в горах и уничтожена двумя ротами guardia civil. Эта «гражданская гвардия» сохранилась в неприкосновенности со времен Альфонса Тринадцатого, вы, вероятно, слыхали о ней. Ускользнуть и укрыться в ближайшем населенном пункте удалось всего человекам тридцати, однако уже на следующий день всех иностранцев выловили и перестреляли. Что со вторым, гораздо большим, отрядом, расположенным глубже в тылах противника,— мы и его думали подчинить вам — Хосе сколько-нибудь точно узнать не смог, но в обоих поселках, где он побывал, говорили о недавнем сражении с применением фашистами горной артиллерии. Насчет же третьей группы, так она, как вы уже знаете, была разгромлена еще до вашего приезда. Придется вместе с вами поразмыслить, как действовать дальше.

Наутро, едва Лукач принял, увы, холодный душ, в дверь постучали. Вместе с заспанным Кирилловым в номер вошел небольшого роста человек, с подчеркнутой выправкой и очень приятным, даже красивым, лицом.

— Рад с вами познакомиться, товарищ Лукач. По-

зволыте представиться: майор Ратнер. Состою порученцем при советском военном атташе в Испании комбриге Гореве. Он просит вас по возможности тотчас же спуститься к нему, пока он не выехал в Хунту обороны.

Через несколько минут все трое уже входили в гостиничные апартаменты Горева. Он по-английски говорил по телефону, но на секунду прикрыл ладонью трубку и повел подбородком:

— Прошу садиться.

Из кресла в белом матерчатом чехле Лукач незаметно разглядывал Горева. Продолжая разговор, комбриг уставил отсутствующий взор в возвышавшийся на подоконнике серовато-зеленый кактус.

Внешность Горева располагала к нему уже тем, что он был очень молод. Если самому Лукачу шел сорок первый, то Горев выглядел лет на шесть-семь моложе. Близко знавший по гражданской войне многих из ее героев, достигших теперь высоких командных постов, Лукач в своих нередких встречах с ними имел возможность заметить, как отличается от них, в большинстве своем лично очень способных, следующее поколение советских военачальников. И разница была не только в общей и специальной подготовленности или в освоении иностранных языков, но еще и в несравненно более широком кругозоре, и даже в том, о чем пока еще не принято было упоминать, но что никак нельзя было не ценить при общении,— в воспитанности.

Горев был высок, худ, обладал примерной военной подтянутостью. Острое волевое лицо его кроме нескрываемой озабоченности выражало еще и работу мысли.

На столе между ним и телефонным аппаратом лежала великолепная трубка с модным прямым и длинным чубуком и жестяная, с яркой наклейкой, коробка знаменитого «кэпстена». Положив изящно изогнутую телефонную трубку на высокую вилку аппарата и взяв курительную, Горев

большим пальцем умял в нее щепоть волокнистого, пахнущего медом светло-желтого табака, чиркнул спичкой и, раскуривая, держал над ним, пока она не догорела до конца. С видимым наслаждением набрав в рот благоуханного дыма, он выпустил его и пересел к Лукачу.

— Жалею, что мне с опозданием доложили о вашем прибытии и я не смог предотвратить бесполезную трату вашего времени. Скажите, однако, прямо, каковы ваши общие впечатления о географической, так сказать, пригодности тех мест для развернутого партизанского движения?

— Я видел немного,— отвечал Лукач, шестым чувством ловя настороженное отношение к его словам сидящего сзади Кириллова и потому слегка волнуясь,— а сверх того партизанил-то я лишь вначале, и за Уралом, а затем служил в регулярных частях.

— И все же?

— Ну прежде всего, здесь нет тайги — главного надежного укрытия, а также декорации для партизанского маневра. Там, куда меня водили, воробью не спрятаться, не то что человеку. Но ведь леса в Испании есть?

— Они как парки. Того, что у нас называется лесом, и в помине нет. В горах, правда, хватает незаселенных и даже нехоженых мест, но партизанам там не прокормиться. Да и делать нечего. Ходить оттуда на акцию куда-нибудь за пятьдесят километров — чистая бессмыслица: туда и обратно за двое суток не обернуться. Не надо и про авиацию забывать. На безлесных склонах она и овцу засечет. По моему скромному мнению, условий для ведения сколько-нибудь успешной партизанской войны в современной Испании нет, и распылять на нее и без того недостаточные командные кадры недопустимо. Иное дело — диверсионные группы, но это особый разговор. Вы, кстати, в каком звании?

— Комбриг запаса. Однако от армии я не оторвался.

Меня часто приглашают инспектировать кавалерийские соединения.

— Комбриг, так сказать, в переводе на испанский — генерал. Вот меня, например, здесь именуют — хенерал Гореф. Значит, и вы — хенерал Лукач. Короче, считаю необходимым немедленно направить вас в распоряжение альбасетских воевод. Там вы принесете несравнимо большую пользу, чем где-то поблизости от Мадрида, ползая ящерицей по голым камням. А месяца через полтора сможете ввести в бой вами же организованную и подготовленную войсковую единицу. Согласны?

— Есть, товарищ комбриг.

— Меня зовут Владимир Ефимович. На этом мы с вами простимся. Генерал Миаха встает рано и, пожалуй, заждался.— Он повернулся к Ратнеру, которому что-то нашептывал Кириллов.— Попрошу вас обеспечить генералу завтрак и исправную машину. Желаю успеха,— протянул он руку Лукачу.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Чтобы из альбасетского хаоса начали выкристаллизовываться две первые интербригады, уже до появления Марти очень много сделал Галло. Это неудивительно, если знать, что этот псевдоним носил Луиджи Лонго. Тольятти, известный как Эрколи и в СССР и в Испании, где он в июле 1937 года сменил болгарина Степанова, несомненно, предвидел, посылая Галло в Альбасете, его будущие успехи. И не случайно, когда в начале 1944 года Эрколи смог открыто возвратиться в Италию и опять называться Тольятти, себе в преемники он наметил общепризнанного вождя итальянских партизан Луиджи Лонго.

Одновременно стоит раскрыть и некоторые другие имена. Петров и в Москве звался Георгием Васильевичем

Петровым, хотя имя его было Фердинанд Козовский. Один из молодых командиров прославленного Сентябрьского восстания 1923 года в Болгарии. В 1925 году военный суд заочно приговорил его к смертной казни. Во время войны с немецким фашизмом генерал Петров командовал болгарской пехотной дивизией, а потом до конца жизни был бессменным председателем Народного собрания. Белов, его друг и по Софии, и по Москве, и по Испании, носил с детства имя и фамилию Карло Луканов и переименован был только за Пиренеями. Вернувшись на родину, он вскоре был назначен первым заместителем председателя Совета министров НРБ, а затем переведен на дипломатическую работу и около десяти лет стоял во главе министерства иностранных дел. Присутствовавший на совещании у Марти советник Фриц, через короткое время тоже оказавшийся в ближайшем окружении Лукача, до отъезда в Испанию командовал Третьим полком Пролетарской дивизии и, за исключением испанского периода, всегда звался Павлом Ивановичем Батовым. Эвакуирован после ранения в Москву. Участвовал в финской войне. В Отечественной — в качестве командарма 65-й — прошел от Сталинграда до Кенигсберга.

Ко времени появления генерала Лукача альбасетская база формирования уже имела целый штат человек из двадцати разного ранга ответственных военных и партийных работников.

Сразу же по приезде Лукач отправился знакомиться с майором Цюрупой, который неофициально заведовал имевшим теперь особое значение местным оружейным складом. Представительный Цюрупа, тоже принадлежавший к новому типу советских командиров, рассказал, что еще в начале октября замысел создания интернациональных войсковых частей представлялся труднореализуе-

мым. Коминтерн, однако, по мнению Цюрупы, правильно поступил, направив в Испанию группу своих работников и среди них молодого, но дипломатичного и настойчивого итальянского партийного организатора, называемого здесь Галло.

Во второй половине октября Ларго Кабальеро дал согласие на формирование боевых частей из иностранных добровольцев при условии, что они вольются в республиканскую армию, будут беспрекословно подчиняться ее командованию, а также руководиться не платформой какой-либо одной партии, но демократическими и антифашистскими идеалами всего Народного фронта. Местом для разворачивания этой работы было избрано Альбасете.

В Альбасете имелась всего одна жандармская казарма, распущенный доминиканский монастырь, несколько разгромленных анархистами церквей, один большой отель и очень немного других сколько-нибудь вместительных зданий. Кроме отличного ресторана при отеле, столовой в казарме, именуемой рефектуаром, и нескольких мелких таверн, негде было и накормить прибывающих. Стало также ясно, что непросто будет и с обслуживанием, поскольку почти все работоспособные мужчины уже ушли или собирались уйти на фронт, а женщины, воспитанные в сложном переплетении давних, но и очень укоренившихся мусульманских обычаев и последующих строгих католических норм, вряд ли согласятся ухаживать за таким множеством холостых мужчин-иноземцев.

Тем не менее Галло «со товарищи», как сказал Цюрупа, не жалея своих сил, взялись за неразрешимую, казалось бы, задачу и к концу первой декады октября располагали казармами распущенной гражданской охраны и оборудованной в бывшем гараже столовой, с поварами, официантами и необходимой посудой, способной пропускать до трехсот едоков в час, а также складами обмундирования, амбулаторией и многим еще.

Пока шли все эти приготовления, угрожая беспорядком вызвать недовольство иностранных волонтеров, все переходящие, переезжающие и переплывающие испанскую границу весьма кстати задерживались недоверчивыми анархистами в пограничной крепости Фигерас, рассчитанной на очень большой гарнизон. А вскоре после начала всей этой деятельности в Альбасете прибыл Андре Марти с небольшой свитой и женой, «очень молодой да еще, вообразите, и хорошенькой», с оттенком удивления прибавил Цюрупа.

Лукач понимал, что направление сюда деятеля такого масштаба придавало всем, кто попадал в Альбасете, и всему, что здесь делалось, новое и более веское значение. Цюрупа рассказал еще, что сразу же после приезда Марти, то есть с середины октября, поезд за поездом начали доставлять из Фигераса первых добровольцев. Их оказалось столько, что уже через три дня все приготовленные помещения были заполнены до отказа, и пришлось реквизировать брошенные местными богачами дома. С трудом справлялась с перегрузкой и столовая. Но понемногу жизнь все же налаживалась. Добровольцев вывозили из перенаселенного Альбасете и размещали по местечкам и селам неподалеку, где из них должны были складываться отдельные батальоны.

Узнав у Цюрупы, что было возможно, Лукач усердно включился в общую деятельность. За первые два дня он на предоставленном ему «опельке» объездил все четыре вчерне уже существующих батальона, посетил расположенный еще дальше от Альбасете артиллерийский полигон и пригородное стрельбище. Он с интересом будущего хозяина внимательно присматривался к командирам и бойцам.

Не без некоторого изумления он узнал, что испанская пехотная бригада в действительности представляет собой вовсе не бригаду в том смысле, в каком эта войсковая

единица существовала в австро-венгерской, германской или русской армиях, где в нее сводились два, а то и три полка. Здесь она практически представляла собой всего лишь один полк, но с приданными полевой артиллерией, эскадроном, отдельной саперной ротой, взводом связи и собственной медицинской службой. Таким образом, вполне могло быть, что все четыре батальона уйдут с первой бригадой, как намечалось, где-то около двадцатого ноября, по завершении месячного обучения. Но возможно, что какой-то из них будет оставлен, чтобы послужить ядром второй бригады, которую, судя по всему, должен будет принять он, генерал Лукач.

Ближе всего его сердцу был наиболее дисциплинированный и лучше других организованный немецкий батальон, состоявший под началом бывшего кадрового капитана германской армии Ганса Кале, долговязого человека с очень умными глазами. (Батальон будет носить имя Эдгара Андре, бельгийца по происхождению, одного из самых любимых руководителей германского пролетариата. Ему, кстати, приписывалось авторство недавно распространившегося повсюду антифашистского приветствия поднятым кулаком. Приговоренный в национал-социалистском рейхе к смертной казни и отказавшийся подать на имя Гитлера просьбу о помиловании, Эдгар Андре 6 ноября 1936 года с варварской театральностью будет публично казнен: палач топором отрубит ему голову на плахе.)

Кроме немцев и австрийцев в этом батальоне числилось несколько англичан (в том числе правнук Дарвина и племянник Черчилля) и до сорока человек венгров. Лукач побеседовал с ними. Все они оказались политэмигрантами из хортистской Венгрии, живущими во Франции. Разговаривая с соотечественниками на родном языке, Лукач пришел в такое воодушевление, что закончил беседу несколько излишне громкими фразами, к каким обычно не прибегал.


Матольч
Бела Франкль
Матэ Залка

В итальянский батальон Лукача повез сам Галло. Не говоря по-немецки, он вынужден был объясняться с Лукачем на весьма приблизительном русском, даже недостаточное знание которого он из конспиративных соображений скрывал.

Представив генералу Лукачу только что назначенного командиром батальона майора Паччарди, Галло пояснил, что он привез с собой из Парижа сразу тридцать добровольцев.

Высокий, хорошо сложенный шатен, с румяным лицом, Паччарди понравился Лукачу. Однако, проведя часа два в его батальоне, Лукач про себя отметил некоторую внешнюю беспорядочность — особенно по сравнению с немецким батальоном,— разнобой в обмундировании (что, конечно, больше всего зависело от испанского интендантства), небрежное ношение этой неунифицированной формы, недостаток воинской подтянутости, излишне вольное общение с командованием.

Зато польский батальон Лукач во всех отношениях одобрил. Между прочим, он неожиданно встретил в нем того начинающего седеть чубатого дядю, на которого обратил внимание, когда тот со своим большеносым спутником садился на Аустерлицком вокзале в его вагон. Тогда он уверенно определил, что они тоже из Москвы. Сейчас встреча почему-то была скорее прохладной. Переложив из правой руки в левую купленную им в Париже великолепную трость и протягивая знакомому незнакомцу ладонь, Лукач назвал уже привычную третью свою фамилию.

— Петров,— сухо произнес тот, добавив, что он инспектор пехоты.

Это значило, что он главный контролер всей ее боевой подготовки, однако, пресекая такое широкое толкование, Петров пояснил, что из-за отсутствия обученных командных кадров в польском, политически хорошо подкован-

ном батальоне он, Петров, прикреплен к нему одному.

Батальон единодушно принял имя Ярослава Домбровского, поляка, бывшего офицера русской армии, боровшегося за освобождение Польши с царским правительством и бежавшего из московской пересыльной тюрьмы в Париж, где он впоследствии стал генералом Парижской коммуны, руководившим всеми ее вооруженными силами и убитым в бою. Батальоном Домбровского командует Ульяновский, молодой коммунист из рабочих, все военное образование которого сводится, однако, к отбытию воинской повинности у пана Пилсудского.

Представленный Петровым бывший жолнерж, понятно, напускал на себя преувеличенную серьезность, но у него была приятная и смышленая физиономия. Комиссаром при нем состоял пожилой мастеровой, неторопливый, с замедленной русской речью. Фамилия его была Матушчак.

Среди командиров рот был один западный украинец, но, как рассказал Матушчак, украинец этот, Иван Шеверда, явился в Испанию сразу после демобилизации из французского иностранного легиона. Матушчак прибавил еще, что надежные французские товарищи поручились за него.

Возглавить французский батальон «Парижская коммуна», по мнению альбасетских кадровиков, должен был Людвиг Ренн, но партийное и военное руководство Пятого полка[1] все не отпускало его из Мадрида, и Марти назначил командиром капитана резерва Дюмона, спокойного, коренастого, с несоразмерно большой головой и короткими ногами, в голубых обмотках французского пехотинца.

Дольше, чем требовала вежливость, Лукач в «Парижской коммуне» не задерживался, потому что объясняться

[1] Объединение добровольческих формирований КПИ, ядро будущей регулярной Народной армии. КПИ рассматривала организованную ею часть не как «полк коммунистической партии, а как военную организацию Народного фронта».— *Ред.*

здесь можно было лишь через миниатюрного адъютанта, а тот все сильнее смущал Лукача своей развязностью, но еще больше — почти опереточной нарядностью. Он умудрился где-то раздобыть тончайшего темно-синего сукна бриджи и френч с декоративными погончиками, поверх самозваной формы узенькая грудь Сегала перекрещивалась светло-желтой портупеей с лакированной кобурой. На шее Сегала, будто приготовившегося сниматься в батальном фильме, висел еще громоздкий футляр с морским цейсовским биноклем. Тогда как сам генерал Лукач оставался пока безоружным и разгуливал в обыкновенных, отлично, правда, выглаженных дорожных брюках, спортивного стиля куртке и штатской шапочке с квадратным козырьком.

Из всех, с кем генералу Лукачу привелось познакомиться на базе формирования интернациональных бригад, наибольшее и огорчительное разочарование вызвал в нем сам Андре Марти, хотя до личного знакомства Лукач всегда относился к нему с предопределенным пиететом. Бывая теперь на приемах новых добровольцев, он мог судить, как убежденно, страстно и почти не повторяясь произносил свои приветственные речи Марти. Галло как-то заметил, что в Андре Марти удачно сочетаются бурный темперамент, образное мышление и безошибочная законченность политических формулировок. Наблюдал Лукач и за тем, как, будучи в хорошем настроении, Марти поддерживал беседу за обеденным столом штаба и был, видимо, не бездарным рассказчиком.

Но замечал Лукач и другое. Едва он начинал говорить, как все, словно по команде, одновременно умолкали и с подчеркнутой заинтересованностью поворачивались к нему, если же возникало молчание и кто-либо из сидящих за трапезой вполголоса начинал рассказывать какой-нибудь анекдот, вызывая веселый смех ближайших слушателей, Марти бросал недовольный взгляд в его сторону

и тут же привлекал внимание завтракающих или обедающих к качеству вина или к необыкновенно острому соусу, подаваемому к жаркому.

Однако при столь мелочной ревности к чужому успеху этот, безусловно, одаренный человек обладал прирожденным демократизмом, никогда не требовал для себя никаких привилегий или исключений, был по французской партийной традиции на «ты» с подчиненными, в частности и со своим вестовым, к которому обращался не иначе, как со словом «камарад».

На пятые сутки пребывания в Альбасете генерал Лукач, прихватив Сегала, заехал на прием к Марти, желая узнать, каково положение со сроками доставки артиллерии, давно обещанной интернациональным бригадам. Вестовой почтительно попросил подождать, потому что в данный момент у товарища Марти его жена... Не успел он договорить, как через закрытую дверь послышался гневный и все более громкий крик, то доходящий до настоящего рева, то вдруг срывающийся в петушиную фистулу. Почти с ужасом Лукач узнал голос Марти. Истерический вопль все возрастал и с удвоенной силой ворвался в приемную, когда дверь рывком открылась, и бледная Полин, в белом врачебном халате, переступила порог. Не опуская головы, но ни на кого не глядя, она быстро пересекла переполненную комнату, и с лестницы донесся удаляющийся перестук ее каблучков.

Успевший тем временем прошмыгнуть в кабинет старообразный вестовой, как ни в чем не бывало, появился на пороге и сделал Лукачу знак, что можно войти.

Марти сидел, поставив локти на разложенные перед ним бумаги и подперев кулаками взлохмаченные седые виски. Он поднял голову на шум шагов и сравнительно успешно изобразил некое подобие улыбки.

— Садитесь, товарищи,— кратко перевел Сегал его хриплое и гораздо более длинное предложение.

На сухой вопрос Лукача, и не пытавшегося делать вид, что он ничего не слышал, Марти ответил, что двенадцать орудий с заводов «Шкоды» уже в Испании и давно должны быть в Альмансе, но что-то их все нет и нет. Не только он сам, но в равной степени и «камарад Сюрупа» и «женераль Клебер» серьезно обеспокоены этим. По всем расчетам, первая бригада должна отбывать на фронт недели через две, но не может же она выехать неукомплектованной, без собственной батареи?

Выслушав перевод, Лукач постучал пальцами по сгибу трости и хотел было в завершение беседы заметить, что громкие споры проникают, между прочим, в приемную и что, как ему кажется, с этим следовало бы считаться, но, посмотрев на своего адъютанта, смахивающего на восковой манекен в витрине венского магазина для господ офицеров, и представив себе, как тот будет интерпретировать его осторожное замечание, предпочел воздержаться.

Однако, сидя в бойком и вертлявом «опеле», Лукач долго не мог успокоиться. Только что происшедшая семейная сцена продолжала возмущать его. «Всякое невладение собой сколько-нибудь ответственного товарища почти всегда вульгарно,— размышлял он,— а здесь еще получилось некрасивое, как говорят русские, выношение... нет, вынесение сора из избы...»

К раздражению, которое вызвало в нем поведение Марти, примешивалась и острая жалость к Полин. Молодая женщина была так унижена перед посторонними... В нем чуть ли не с детства сидело убеждение, что женщины вообще совершенно особые существа, ни в чем не похожие на мужчин, и что если они принадлежат не всегда к прекрасному, то всегда — к слабому полу, трогательно беззащитному и очень легкоранимому. Грубость, проявленная кем бы то ни было по отношению к женщине, всегда вызывала в нем кипучее негодование и часто застав-

ляла вступать в неловкие и не имеющие к нему лично ни малейшего отношения конфликты. И то, что Марти позволил себе истерично орать на собственную жену, которая к тому же годилась ему в дочери, навсегда уронило этого человека в его глазах.

Вот уже почти неделя, как генерал Лукач занимался организацией будущей первой интернациональной бригады. Все это время поезд ежедневно привозил от двухсот до трехсот новых добровольцев, и понемногу торжественная процедура их приема упростилась. На перрон, на котором люди, выйдя из вагонов, выстраивались по национальному признаку, приходили два или три «респонсабля»[1] из отдела кадров и разводили их по местам расквартирования. Однако непрерывный этот поток убеждал Лукача, что к концу ноября ему удастся не только собрать, но и подготовить еще три или четыре батальона уже для своей бригады.

Прибыли наконец и пушки. Их действительно оказалось двенадцать, новехоньких и со всеми положенными причиндалами. Это позволяло создать четыре батареи, но намекало также на возможность значительного усиления двух первых бригад артиллерийским дивизионом. Но, к разочарованию обоих генералов, и Клебера, и Лукача, начальник базы заявил, что его обязали сформировать четыре интернациональных соединения и все они должны иметь собственную артиллерию, для того и прислано двенадцать орудий.

Утром в день прибытия пушек Лукач отправился на полигон в Альмансу и там неожиданно наткнулся на знакомого венгра, оказавшегося артиллеристом. Правда, генерал Лукач встречался с ним всего лишь один раз на

[1] Ответственный (*исп.*).

общем собрании венгерских эмигрантов в Москве, но зато хорошо знал его брата, некогда входившего в состав подпольного Политбюро ЦК партии и представлявшего ее в Коминтерне. Здесь фамилия артиллериста стала немецкой. В сочетании с испанским именем Мигель она звучала не слишком убедительно, и, вероятно, поэтому советский специалист, опекавший полигон со всем его содержанием — пушками, снарядами и людьми,— звал этого испано-германского венгра московского происхождения просто-напросто Мишкой.

Однако Мигель Баллер был настоящим пушкарем, в чем Лукач смог удостовериться по истечении уже десяти минут беседы с ним на родном мадьярском,— он окончил артиллерийское училище в СССР. Серые выпуклые глаза Баллера смотрели внимательно и добродушно. Здесь его уже успели назначить помощником командира начерно подобранной батареи, и вместе с нею он должен отправляться на фронт в составе первой бригады, но Лукач с этим не согласился и сказал, что попробует договориться с Клебером, который обязан понять, что означает для венгра, командующего бригадой, хотя бы один венгр-офицер в батарее.

От Баллера генерал Лукач узнал, что в Альмансе есть еще один пушкарь, тоже из Москвы,— болгарин Белов, командовавший батареей еще в империалистическую войну. Лукач изъявил желание немедленно познакомиться с этим самым Беловым, и Баллер, размахивая руками, повел ритмично постукивающего на ходу тросточкой генерала к одноэтажному зданию, бывшему до недавних пор каким-то складом, а сейчас превращенному в штаб артиллерийских формирований. Баллер попросил минуточку подождать и почти сразу вывел своего протеже, оказавшегося вторым из поездных попутчиков Лукача, которого он ошибочно принимал за кавказца.

Белов сразу расположил к себе Лукача вежливостью

и четкой, несмотря на употребление старомодных русских оборотов и книжных слов, дисциплинированной речью. И Лукачу стало ясно, что заставить этого товарища, очевидно поднаторевшего не только в артиллерийских расчетах, командовать тремя полевыми пушками все равно что стрелять из них по воробьям. И он тут же предложил Белову подумать о возможности стать начальником оперативного отдела в штабе второй бригады.

На 4 ноября Марти назначил совещание всех ответственных за обучение первой бригады. Предстояло решить вопрос о ее окончательной готовности, о том, сколько и какие батальоны в нее войдут, и о возможной дате ее отправления. На совещании он выступил первым и объявил, что испанское республиканское правительство приняло решение, которым определен для первой интернациональной бригады ее порядковый номер в Народной армии, где она будет именоваться то ли Девятой, то ли Одиннадцатой бригадой — это еще не выяснено — с прибавлением почетного определения: интернациональная. Это решение подчеркивает полное и безоговорочное подчинение бригад испанскому командованию, их органическое включение в созданную регулярную армию республиканской Испании.

Человек двадцать присутствующих увлеченно зааплодировали, а Марти предоставил слово генералу Клеберу. Тот встал, пригладил курчавые волосы и довольно чисто заговорил тоже по-французски. Главным в его речи было требование, чтобы во вверяемую ему бригаду обязательно были включены все четыре наличных батальона, поскольку предварительное их обучение будет завершено в ближайшие десять — двенадцать дней, а офицерами и комиссарами все они уже укомплектованы. Требование свое он подкрепил логичным утверждением, что первая из интернациональных бригад рекомендует все следующие за нею, а потому, вступая в сражение, она должна своим

боевым духом, а также своей численной мощью произвести на врага подавляющее впечатление. Но, устрашая фашистов, она одновременно послужит вдохновляющим примером для недостаточно стойких анархистских колонн. Именно с этой целью он и добивается включения в ее ряды всех, до последнего, боеспособных людей, находящихся в Альбасете.

Похожий на вооружившуюся до зубов фарфоровую пасторальную статуэтку Сегал нашептывал перевод на ухо Лукачу, и хотя того сильно огорчала мысль, что из его рук навсегда вырывается крепкий немецкий батальон со своим долговязым толковым Гансом и, что самое главное, с полноценным взводом венгров, он не мог не признать безусловной правоты Клебера и аплодировал ему вместе с остальными.

Однако в ночь на пятое произошло нечто непредвиденное, о чем стало известно еще очень рано утром. Из Мадрида прибыло несколько направленных по разным альбасетским адресам, но одинаково тревожных известий о резком ухудшении военного положения столицы. Еще до рассвета Цюрупа с помощью мотоциклиста разбудил и собрал в своей законспирированной резиденции при оружейных складах всех советских инструкторов, а также Клебера, Лукача и Петрова, чтобы объявить о телефонном разговоре с комбригом Горевым, состоявшемся около трех часов ночи.

Горев сообщил, что всю последнюю неделю отступление на западном от Мадрида фронте ускорялось. Контратака под Сесеньей не удалась, а потому принесла лишь временное облегчение. Командование мятежников передало по радио реляцию, из которой следовало, что, подойдя в настоящий момент вплотную к Мадриду, оно отдало приказ взять его 7 ноября. Дата, конечно, избрана не случайно и должна послужить красноречивым «поздравлением» Москве. На город предпримут одновременное наступле-

ние четыре колонны, ведомые опытными мятежными генералами, пятая колонна из сочувствующей им части мадридского населения выступит изнутри.

Обычно спокойный и деловитый, Цюрупа взволнованно подчеркнул, что ситуация чрезвычайно тревожна. Ее серьезность подтверждает и тот факт, что анархисты, в продолжение трех с половиной месяцев отказывавшиеся, следуя своей догме, вступить в правительство Народного фронта, сегодня введут в него четырех министров. Главная трудность сейчас в том, что под Мадридом нет не то что стратегических, но и вообще каких-либо резервов. Все, что имелось, использовано до последнего человека и вытянуто в одну линию.

— В этих условиях,— обвел глазами своих внимательных слушателей Цюрупа и остановил взгляд на Клебере,— в этих тяжелых условиях Владимир Ефимович обращается к вам ко всем с категорическим настоянием: немедленно направить в Мадрид первую интернациональную бригаду в том виде, в каком она есть. Самое ничтожное промедление может привести к непредвиденным последствиям.

— Будет сделано,— уверенно произнес незнакомый Лукачу маленький худенький инструктор, даже в мешковатом лыжном костюме сохранивший неистребимую воинскую выправку.

— Не сомневаюсь, товарищ... Фриц,— с еле заметной заминкой перед немецким уменьшительным именем отозвался Цюрупа.— Ваша общая задача,— добавил он, обращаясь к остальным,— помочь генералу Клеберу и его штабу сейчас же начать готовить бригаду к отъезду и соответственно мобилизовать бойцов, моя же — убедить местные городские и железнодорожные власти, а также анархистский профсоюз железнодорожников в срочной необходимости собрать к вечеру пассажирские вагоны в числе, достаточном по крайней мере для двух тысяч че-

ловек. Интендантство должно быть отправлено на грузовиках. За дело!

В свою очередь Марти и Галло получили по телефонограмме. В обеих указывалось: все волонтеры, вне зависимости от степени их подготовленности к бою, но вооруженные и обмундированные, не позже утра 6 ноября должны быть в осажденной столице. С небольшим опозданием курьер доставил генералу Эмилю Клеберу запечатанный пакет из военного министерства, содержавший приказ — через два часа по получении его выступить с находящейся под его командованием Одиннадцатой интернациональной бригадой в распоряжение мадридского штаба обороны, с тем чтобы рапортовать о своем прибытии не позднее полудня 6 ноября.

К десяти Марти созвал всех на сверхэкстренное совещание. На нем было сообщено, что итальянский батальон Гарибальди за последние четверо суток принял в свои ряды свыше трехсот человек необученного пополнения, причем ни обмундирования, ни оружия на них пока не получил, всего же триста пятьдесят итальянских волонтеров еще не имели винтовок. Посему приказ о сформированной Одиннадцатой бригаде (интернациональной), который отдается сегодняшним числом и будет подписан камарадом Марти, комиссаром базы камарадом Галло и начальником штаба камарадом Видалем, гласит, что Одиннадцатая состоит из трех батальонов: первый — немецкий, командир камарад Ганс, комиссаром же выдающийся германский коммунист, бывший депутат рейхстага и герой единственного удавшегося побега из концентрационного лагеря Дахау камарад Баймлер, второй батальон — «Парижская коммуна», командир камарад Дюмон, комиссар член Центрального Комитета французской компартии камарад Ребьер, третий — «Домбровский», командир камарад Ульяновский, комиссар камарад Матушчак. Бригаде приданы кавалерийский эскадрон и батарея артиллерии.

Несмотря на склонность Марти к обсуждению мельчайших подробностей, совещание на этом было закрыто, и Альбасете будто закипело. Уже днем три 75-миллиметровые пушки с зарядными ящиками, маскированные одеялами своей прислуги, двинулись на трех платформах специальным поездом из Альмансы на Мадрид. В самом Альбасете почти всю ночь при свете факелов грузился эскадрон, и в близких к товарным путям домах никто не спал от нервного ржания и взвизгивания породистых коней, вводимых по деревянным настилам в вагоны, и басовитой, главным образом французской, брани коноводов.

А утром на плацу бывшей казармы гуардиа сивиль выстроились все три отбывающих батальона. Местный любительский духовой оркестр в составе девяти музыкантов без передышки громко играл бодрый и невероятно протяженный «гимн Риего». За ним исполнялся «Интернационал», а за ним снова «гимн Риего». В редких же промежутках минорно звучала недавно распространившаяся среди революционной европейской молодежи французская комсомольская песня на слова Вайяна Кутюрье и конечно же — мажорная итальянская «Аванти, пополо».

Одетые не слишком однообразно, но все же преимущественно в темно-синие, коричневые и черные вельветовые куртки и такие же брюки с напуском на солдатские ботинки, немецкий батальон, батальоны «Парижская коммуна» и «Домбровский» выстроились по порядку рота за ротой, с пулеметным взводом на правом фланге. Правее же каждого батальона, рядом с развевающимся по ветру самодельным знаменем, стояли командир с комиссаром и штаб. Светло-желтые портупеи с четырьмя подсумками спереди придавали бойцам необходимое единообразие, а разного размера и цвета рюкзаки за спинами нарушали его. Ближе других к общеармейскому стилю были французы, обмундированные в одинаковую форму, отдаленно напоминающую об альпийских стрелках, но

еще больше благодаря легким каскам с гребешком времен мировой войны. Польские же добровольцы определенно смахивали на статистов, ангажированных для съемки фильма о группе европейских исследователей, готовящихся проникнуть в дебри Амазонки.

В оркестре вдруг особенно гулко забухал тамбур, потом затрещала барабанная дробь, и в центре тянущегося вдоль всего второго этажа балкона появился Андре Марти, в закрывавшем правое ухо и спускавшемся до шеи грандиозном баскском берете и расстегнутом канадском полушубке, позволявшем обозревать внушительный живот. За Марти широко шагал кривыми ногами в обмотках Видаль, а за ним двигалась целая группа, большей частью одетых в такие же, как и на Марти, белоснежные кожухи с белыми бараньими воротниками, присланные недавно из Оттавы. Над всеми возвышался Клебер. И он был в канадке с поднятым воротником, но без фуражки, и ветер шевелил его густую шевелюру. Рядом с ним стояли: не худой даже, а тощий, очень бледный Галло, Лукач в своем полуспортивном костюме и с неизменной тросточкой на руке, Петров, отбывающий с Одиннадцатой официально на положении инспектора пехоты, тут же был Фриц в рыжем своем одеянии и несколько кадровиков.

Оркестр смолк. Послышались французские, польские и немецкие команды. Батальоны замерли. И над ними загремел могучий голос Марти. Он говорил о необходимости строгого соблюдения воинской дисциплины и о невозможности отречься от нее теперь, после зачисления в списки «волонтеров свободы», на которых с тревогой и надеждой взирает весь мир, и еще о том, что в ближайшие дни, если не часы, им предстоит вступить в смертный бой.

— Вперед, дорогие мои товарищи! Вперед, герои! За хлеб, мир и свободу! За прекрасный, гордый, непобедимый Мадрид! За испанских женщин и детей, защищая

которых вы сражаетесь и за свои семьи! В бой за спасение человечества от фашизма!..

И, поднеся правый кулак к берету, он запел «Интернационал», подхваченный и стоящими на балконе и всею бригадой по меньшей мере на десяти языках.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Генерал Миаха (что в переводе означает «крошка»), придя в восторг от сочиненного его штабными красноречивого приказа о наступлении, распорядился, чтобы накануне он был прочитан по радио и таким образом лишил республиканскую атаку неожиданности. Об этом поступке с горестной иронией рассказал в «Испанском дневнике» Михаил Кольцов. Мятежные генералы, конечно, не были до такой степени чистосердечны. Но когда Горев разговаривал по междугородному телефону с Цюрупой, он опасался, как бы до них не дошло, что в плен к республиканцам попался франкистский офицер с копией расписанной по часам и минутам диспозиции, в которой перечислялись все этапы наступления на Мадрид четырех колонн, ведомых четырьмя самыми удачливыми командующими, причем генерал Мола должен был 7 ноября верхом на белой лошади достичь центра города и выпить кофе в известном каждому мадридцу кафе на Пуэрта-дель-Соль. В документе этом еще говорилось, что пятая колонна выступит изнутри. И хотя дату взятия столицы соблюсти не удалось, однако, по всей вероятности, восьмого франкисты ворвались бы в город через Каса-де-Кампо и Университетский городок, если б не начавшаяся яростная контратака первой интербригады. Пусть ей и пришлось в конце концов отойти за Мансанарес, но она задержала двигавшегося в главном направлении противника и безнадежно скомпрометировала театральное питье кофе в зна-

менитой кофейне. Громадные потери в непрерывных трехдневных боях вместе с моральным и физическим износом самых надежных регулярных и марокканских батальонов заставили франкистское командование на несколько суток отложить взятие Мадрида. Однако возможность падения его вовсе не была устранена. Поэтому-то и была вызвана Двенадцатая всего через десять часов после официального начала ее формирования.

Только теперь начиналась для будущего командира Двенадцатой бригады настоящая работа по собиранию всех приехавших и приезжающих и по сплочению их в единый боевой организм. Правда, батальон Гарибальди, если не считать последнего пополнения, был уже не только сформирован, но и обучен ничуть не хуже других, отправившихся сражаться. Но то, что ему оставили именно этот батальон, было главным (хотя и тайным) огорчением Лукача, и лишь пожелание не хотевшего разлучаться со своими соотечественниками Луиджи Галло стать комиссаром новой бригады утешало, как, впрочем, и наметившееся возникновение второго немецкого батальона, фундаментом которому должна была послужить отзываемая с Арагонского фронта прославленная центурия Тельмана. Лукач с удовлетворением представлял себе, каким будет батальон, построенный на столь твердом основании. Радовали и сведения, поступающие из Фигераса, где, как и перед формированием Одиннадцатой, скопилось уже до тысячи волонтеров, задерживаемых там с последних чисел октября на сей раз уже не по причине начальной альбасетской неразберихи, а из-за переполненности всех подходящих помещений и в самом городке и даже в окружающих селениях.

Как и в прошлый раз, среди прибывающих больше всего было французов, за ними шли поляки из Франции

и бельгийцы, в Альбасете же нетерпеливее всего ждали югославов, болгар, румын и греков. Ведь здесь собралось уже свыше ста югославов и болгар, а в отделе кадров давно лелеяли мечту порадовать Георгия Димитрова созданием балканского батальона его имени. Так или иначе, но, в общем, на бригаду народу набиралось. Времени же на окончательное ее сцементирование, как и на предварительное обучение, должно было хватить с гаком. Республиканское командование рассчитывало на ввод ее в строй не раньше самого конца ноября, то есть минимум через две декады.

Еще вчера, получив сообщение, что сегодня, 7 ноября, в день, когда дома будут праздновать девятнадцатую годовщину Октября, должны прибыть почти пятьдесят фронтовиков из демобилизованной центурии Тельмана, генерал Лукач выехал встретить их.

Ганс Баймлер рассказал ему, что центурию эту основали проживавшие в Барселоне немецкие эмигранты, а также спортсмены, приехавшие в нее на международную Спартакиаду. Организовывалась она в противовес Олимпиаде в гитлеровском Берлине. Многим из съехавшихся в столицу Каталонии любителей спорта неожиданно пришлось переключаться с легкой атлетики на смертельное состязание по стрельбе в уличных боях, возникших на главных улицах каталонской столицы. После победоносного окончания их в самой Барселоне выяснилось, что, к несчастью, в Сарагосе, Теруэле, Уэске и некоторых других провинциальных городах верх одержала взбунтовавшаяся армия. Поэтому очень скоро возник чрезвычайно стабильный Каталонский фронт, куда почти сразу же ушли сражаться и добровольческие центурии, составленные из иностранцев. Принявшая имя Тельмана была одной из первых и самых многочисленных. Ганс Баймлер провел с нею около недели в боях, пока не был отозван в Мадрид.

Утро неожиданно выдалось дождливое и холодное. Подъезжая к вокзалу, Лукач не в первый раз отметил про себя, что в этой удивительно самобытной стране все и происходило удивительно. Можно было бы понять и даже счесть простительным, если бы поезд опоздал, допустим, на полчаса, но он по необъяснимым причинам пришел минут на двадцать раньше, чем следовало по расписанию. Лукач догадался об этом, увидев людей, шлепающих по лужам хорошо знакомым несколько частым шагом догитлеровской германской пехоты, если она не на параде. Уже закаленные в сражениях, бойцы, числом больше полного взвода, в насквозь промокших комбинезонах и набухших, как губки, зеленых суконных беретах, видимо, не придавали плохой погоде преувеличенного значения. Рядом с ними по мостовой шагали, тоже в ногу, два немецких кадровика из штаба Марти, вышедшие встретить знаменитую центурию. Отстав метров на сто, опираясь на костыли и поджав перевязанную ногу, по тротуару прыгает немолодой тельмановец, а рядом с ним, деликатно стараясь не обгонять его, идет второй, без берета, с окутанной ватой и бинтами головой, он несет два рюкзака — один за плечами, другой в руках.

Пока Сегал торопливо передавал указание генерала плохо понимающему его шоферу, тот успел проскочить мимо и мокрого взвода и двух раненых, поспешающих во всю доступную им прыть, после чего лихо развернулся и притормозил, уже слегка обогнав их.

Не вступая в длительные объяснения, Лукач тоном приказания предложил обоим немцам побыстрее лезть в машину. Сегал с немым протестом подставил свою нежную особу под ливень, потому что в их «опелечке» всем не разместиться. Раненые, смущенно улыбаясь, с трудом забрались в машину, и «опель» понесся к больнице. По пути Лукач разузнал, что этим же поездом приехало около двухсот французов, валлонов и фламандцев и без малого

сто поляков и других славян, а среди них с десяток белых русских. Рассказчик, очевидно коммунист, был законно шокирован такой несообразностью — разве мы в них нуждаемся? — но признал, что в пути они вели себя, как все остальные. О своей центурии он сообщил, что из более чем двухсот бойцов тридцать два были убиты и еще шестнадцать умерли от ран в тылу, а вообще-то ранено никак не меньше ста. Они оба тоже находились еще в госпитале, но, узнав от навестившего их Баймлера о выводе центурии с передовой и отъезде ее на переформирование, сбежали из него, чтобы не оторваться от своих. Раненые рассказали о том, как помог им Баймлер на фронте. Он каким-то образом сумел раздобыть для центурии двести пар французских солдатских ботинок, так что хватило на всех оставшихся в строю, и еще пар двадцать передали соседям...

Ссадив раненых у больницы и обменявшись с ними «рот фронт», давно заменившим в германской революционной среде все Guten Morgen и Guten Tag, Лукач коекак объяснил своему водителю, что необходимо вернуться на вокзал.

Уже совсем неподалеку от него машине встретилась гораздо более многочисленная и еще сильнее, чем центурионы, промокшая толпа, бредущая по пузырящимся лужам. Заметнее всего она отличалась от обстрелянных немцев даже не своей цивильной, как выражался Фриц, одеждой, а поражающим несоответствием этого подобия пехотного строя и зримой, какой-то общей опущенностью шагавших в нем. А рядом с этой промокшей до костей понуростью бодро шел в брезентовом плаще и капюшоне, из-под коего торчал один мокрый нос, Видаль, соблаговоливший встретить своих соотечественников.

Однако то, что открылось Лукачу на самой станции, выглядело еще печальнее. За небольшим зданием в конце перрона, выстроившись в две шеренги, стояло рядов пять-

десят — шестьдесят никем не встреченных людей, и с каждого из них стекала вода, может быть чуть менее энергично, чем она течет во время проливного дождя из водосточных труб. Но, в отличие от только что встреченных французских и бельгийских волонтеров, эти выглядели отнюдь не угнетенными, а только очень-очень терпеливыми. Между тем издали можно было заметить, что они не только промокли, но что им еще и холодно.

Лукач негодовал: никто в альбасетском штабе не додумался заранее явиться сюда, чтобы, дождавшись поезда, поскорее увести новичков из-под ливня, немедленно переодеть, обсушить одежду, а их самих накормить, напоить горячим кофе и обязательно поздравить.

— Estado mayor [1]! — крикнул Лукач водителю, когда увидел двух респонсаблей в таких же, как у Видаля, брезентовых плащах. Они спешили к «утопленникам» на перроне.

Он взбежал по лестнице к кабинету начальника базы в сознании не только своих прав, но и безусловной правоты своего негодования, однако в приемной перед ним вытянулся вестовой с физиономией пожилого лакея.

— Он выехал сегодня, в Ма... ну, туда, куда собирают французов и валлонов, да и фламандцев... В этой Ма... Маоре сейчас закладывается франко-бельгийский батальон, который будет носить имя Андре Марти...

Круто повернувшись, Лукач сбежал в нижний этаж, постучался к Видалю и, не дожидаясь приглашения, вошел. Начальник альбасетского штаба недовольно оторвался от бумаг. Лукач сразу же, отбивая такт тростью, принялся выкладывать ему свое возмущение. Конечно, товарищ Видаль и сам знает, насколько важно военачальнику всегда предвидеть возможные перемены погоды, а следовательно, и заранее предусмотреть необходимые

[1] Генеральный штаб (*исп.*).

варианты встречи вновь прибывающих. Ведь массовое заболевание гриппом непременно создаст затруднения в организации Двенадцатой бригады. Но кроме чисто практических имеются еще моральные соображения. Или майор Видаль считает возможным, чтобы люди, добровольно приехавшие сразиться за Республику, испытывали полное небрежение к себе со стороны тех, кто не готовится, как они, рисковать жизнью, а присланы, чтобы принимать их с дружбой и уважением, хорошенько позаботиться о них, должным образом организовать, обучить, снабдить оружием и проводить на фронт. Это ведь самое откровенное безобразие, когда кое-кто заботится о своем здоровье и респонсабли в непромокаемых плащах с опозданием приходят встречать промокших до костей волонтеров, у которых зуб на зуб не попадает. Как будущий командир этой бригады, он, генерал Лукач, решительно протестует против такого поведения и требует, чтобы впредь оно не могло повториться...

Уже берясь за ручку двери и тем подчеркивая, что его дело было заявить протест и никаких объяснений, а тем более оправданий он слушать не желает, Лукач увидел побелевший нос и потемневшие глаза Видаля, и ему стало очевидно, что близкого друга в лице этого человека он уже никогда не приобретет.

«Ну и черт с ним»,— внутренне махнул рукой Лукач.

Заехав в волонтерскую столовую и удостоверившись, что первой кормится центурия Тельмана, тут же и подсыхающая, Лукач отправился в Альмансу. Сдержанный Белов и еще более, чем обычно, жизнерадостный Баллер, оставленный-таки Клебером Лукачу, доложили ему, что батарея до сих пор не сформирована потому, что артиллеристов среди прибывающих добровольцев оказывалось немного. Оба считали, что завершить ее создание удастся не ранее двадцатого числа.

Только к вечеру Лукач добрался до бывшего домини-

канского монастыря, а выйдя из «опеля», усмотрел Фрица, уже отпускавшего точно такой же свой. Фриц очень нравился Лукачу, хотя, познакомившись у Цюрупы, они встречались всего дважды, да и то на ходу. Воспользовавшись случаем, Лукач пригласил его к себе:

— Хоть к ночи вспомним, какой нынче день.

Фриц охотно согласился.

Войдя в свою келью, Лукач, еще не раздевшись, поставил на электроплитку кастрюльку с водой, а затем, сбросив куртку, принялся доставать из тумбочки все, что у него имелось съестного. В комнате было чисто и скорее прохладно, но благодаря теплу, исходящему от раскалившейся плитки, становилось даже уютно. Пока вода закипала, два непьющих и некурящих мужа разговорились. Фриц не преувеличивал конспирации, и Лукач узнал, как того по имени-отчеству и фамилии, что с шестнадцатого года участвовал в мировой войне, имеет военное образование, все экзамены сдал на «отлично» и аттестовали его нормально, на полковника, только от аттестации до производства немалая дистанция, так что еще недели три назад он ходил в майорах, командуя в этом звании Третьим полком Пролетарской дивизии, уже два года, как его полк лучший в ней по всем показателям. Известно стало Лукачу и то, что у Фрица остались в Москве жена и две дочки. Затем наступила очередь Лукача, и он назвал свой закрепленный паспортом литературный псевдоним и сознался, что, случается, в свободное время пописывает, прибавил, что тоже женат и что его Вера Ивановна прехорошенькая, а дочка, Талочка, будущей весной закончит десятилетку. При этом выяснилось, что хотя Фриц ничего из написанного московско-венгерским писателем не читал — да и когда командиру полка книжки читать? — но названное имя он слышал.

Когда вода закипела, Лукач заварил купленный еще в Париже, и даже в сухом виде благоуханный цейлон-

ский чай и приготовил с дюжину бутербродов с вяленой ветчиной и пресным здешним сыром. Лишь тогда оба почувствовали, как зверски голодны, и за какие-нибудь двадцать минут прикончили все, запивая еду крепчайшим напитком. Фриц совсем растаял и рассказал, что в начале семнадцатого был произведен в прапорщики, а в гражданскую командовал пехотным полком.

— Был у нас парень один, очень здорово стихи сочинял. И вот, недавно получаю письмо, и написано оно, представляете, этим самым моим прежним бойцом. Напоминает он, что зовут его Алексей Сурков и что это он печатает стихи в центральных газетах. Может, слыхали?

Лукач не только слыхал, но и знаком был с Сурковым по РАППу. Фрица это окончательно покорило. Прощаясь, он даже на «ты» перешел:

— Спасибо тебе, дорогой. А то и лег бы и встал натощак. Еще раз с праздником тебя и будь здоров. А насчет бригады твоей, так чем смогу...

Утром Лукач поехал в бывшую казарму гуардиа сивиль. Там еще спали, но у ворот стоял часовой и без пропуска не впустил, а вызвал начальника караула, и уже тот повел Лукача к командиру батальона, недавнему создателю и руководителю центурии Тельмана — comandante Шиндлеру. Вежливый голубоглазый человек лет пятидесяти, с тихим голосом и сдержанным поведением, он пленил Лукача, но после десятиминутной беседы генерал почувствовал, что тот предельно утомлен.

Шиндлер коротко доложил, что в казарме — вместе с отозванными с Арагона — провели ночь триста шестьдесят семь человек немцев и австрийцев, есть и несколько эльзасцев, считающих себя немцами. Всего на неполные две роты. Чтобы получился батальон, надо бы еще, как минимум, триста волонтеров.

От тельмановцев Лукач завернул к себе, где разбудил Сегала и делившего с ним номер польского кадровика,

даже спавшего в очках, возможно чтобы лучше видеть сны. Первого генерал усадил за перевод на французский исписанной четким почерком Фрица тетрадки, на обложке которой стояло: «Взвод в обороне», а второго, чтобы не терять времени, за то же, но уже с сегаловского перевода на польский, а затем поехал посмотреть на вчерашних поляков.

Их разместили не очень удобно — по пустующим домам. Однако ни в одном из них никого не оказалось, за исключением пожилого дневального, крепко спавшего у входа на железной койке с матрасом. Лукач растормошил его, и тот на отчаянном немецком объяснил, что все отправились в кино поблизости — выбирать себе командира и комиссара. Лукач, услышав это, поднял брови и решил, что необходимо срочно переговорить с Галло об анархистских тенденциях в еще не организованных группах. Желая узнать, как сам дневальный относится к подобному образу действий, Лукач для начала спросил, поляк ли он.

— Не,— ответил тот внезапно вроде не по-польски.

— А кто же? — перешел Лукач на русский.

— Из Альзаса мы,— последовал уклончивый ответ.

— Но до Эльзаса кем вы были по национальности?

— Мы-то? Русские мы.

Из дальнейших кратких и прямо поставленных вопросов и столь же коротких, но не всегда вразумительных ответов Лукач уяснил, что «мы» из крестьян и были призваны в российскую императорскую армию еще в 1915 году, а в начале шестнадцатого запасным полком, в который попал обученный стрелять и колоть молоденький солдатик, заткнули какую-то дыру в Карпатах. Так теперешний собеседник Лукача превратился в личного врага его, тоже тогда двадцатилетнего патриота Белы. Впрочем, летом семнадцатого года, когда он уже чуть ли не год пребывал в плену, этот догадливый мобилизованный мужи-

чок тоже находился в тылу, но в качестве пробирающегося к семье и к земле дезертира. Однако поздней осенью он, так и не добравшись до дома, вступил в отряд Красной Армии, вскоре отправленной на юг для укрепления возникающего фронта гражданской войны, но через несколько месяцев отряд был окружен белыми. «Один, значится, поручик с наганом мене спрашивает: «Имя и фамилие?» — «Фамилие мое, отвечаю, выходит, Юнин, ваше благородие».— «Русский?» — «Так точно, подтверждаю, вполне русский».— «Пойдешь к нам служить?» — и наган с левой в правую перекладывает».— «Как, говорю, можно не пойти? Пойду, беспременно, ваше благородие...» Но у белых Юнин прослужил всего с неделю, так как вторично стал пленным, но уже Красной Армии, в результате чего снова начал сражаться за Советскую власть, и сражался долго, пока при контрнаступлении Пилсудского остатки дивизии, в которой служил Юнин, были окружены белополяками. Проведя несколько месяцев в концлагере, Юнин, показавшийся польским военным властям вполне безобидным, был расконвоирован и два года «мантулил» батраком у пана, а потом завербовался во Францию на угольные шахты. Проработал там Юнин немало, но в конце концов ему породой придавило ноги, и, подлечившись, он устроился на картонажную фабрику в Эльзасе, где чуть было не дотянул до десятилетнего стажа, да записался через профсоюз в Испанию.

— Домой, сказывали, пустят. Невмоготу домой, значится, потянуло, в собственную Калужскую губернию.

— Губерний-то больше нет, дядя,— заметил Лукач.

— И хрен с ними. Мне все одно. Лишь бы деревня моя была, а она куды денется?..

Раздумывая, до чего разные люди объединятся в его будущей бригаде, Лукач проехал в штаб разузнать, кого и сколько можно ждать в ближайшее время, а потом пешком прошел на соседнюю улицу в дом, где расположи-

лись разделенные по национальному (а чаще по государственному) признаку отделы кадров. Лукач заглядывал во все комнаты и везде настойчиво напоминал о необходимости искать между прибывающими служивших в артиллерии, но не забывать и про кавалеристов, хотя в эскадрон можно записывать всех желающих.

Он уже уходил из кабинета германских и скандинавских кадров, когда на пороге внезапно появился один давний знакомый. Лукач несколько секунд напрягал память, пока его не озарило, что единственная их встреча состоялась шесть лет тому назад в Харькове, на международном съезде революционных писателей.

После победы Гитлера на выборах Густав Реглер[1] эмигрировал во Францию. И когда на европейской сцене начал разыгрываться первый акт испанской трагедии, Лукач прочел в газетах сообщение, что прогрессивные писатели Парижа собрали значительную сумму денег в помощь Испании, на которые приобрели грузовую автомашину, оборудовали ее специальным устройством и могучим рупором для ведения пропаганды на вражеские позиции и доставили в Мадрид. Испанским писателям передали ее Луи Арагон, Эльза Триоле и Густав Реглер.

Сейчас он тоже узнал знакомого по харьковскому съезду и бросился к Лукачу, который поскорее сообщил ему на ухо, как его здесь зовут. Сразу же Реглер объявил, что решил вступить в интербригаду, но не знает еще кем. Что об этом думает испанский генерал Лукач, стать ли ему офицером, поскольку он обер-лейтенант резерва, или же политическим комиссаром?

Лукач ответил, что тут и думать нечего — писатель просто обязан быть комиссаром, каждый революционный писатель для своих читателей не кто иной, как комиссар.

---

[1] После второй мировой войны Г. Реглер, претерпев эволюцию политических взглядов, перешел в ряды правых.

Достаточно вспомнить о Фурманове. Реглер сознался, что примерно то же говорил ему и Ганс Баймлер в Мадриде, где им удалось повидаться третьего дня, после триумфального марша Одиннадцатой по улицам города. Лукач обещал, что сегодня же подаст официальное заявление, чтобы Реглера назначили в Двенадцатую помощником комиссара.

На том и порешили.

Выходя из особнячка кадров, Лукач продолжал прикидывать, как действовать в предстоящие две недели, чтобы успеть все наладить, но мысль все чаще соскальзывала все к той же заманчивой частности: до чего было бы здорово четвертый, славянский, батальон соорудить. Не сегодня и не завтра, понятно, а так деньков через пятнадцать...

Катастрофа разразилась при пробуждении. Иначе, чем катастрофой, это никак нельзя было назвать. Как всегда, спал он сверхъестественно чутко и проснулся, едва кто-то подошел к его номеру. Когда же тот постучался, Лукач уже натянул брюки, сунул ноги в ночные туфли, заправил рубашку, а по дороге к двери включил свет. За нею стоял Фриц. Выглядел озабоченно.

— Входи, входи, что случилось?

— Сейчас всего пять утра, но тебе, как командиру бригады, первому знать надо...

— Да в чем дело-то?

— Неприятные новости...

Он не успел договорить: в номер опять постучали, и очень громко. Незнакомый молоденький теньенте брякнул каблуком о каблук, поднял кулак к плечу, опустил и левой рукой протянул засургученный пакет.

— Не вскрывай пока,— запирая дверь на ключ, попросил Фриц,— там же по-испански. Я тебе все расскажу. С час назад меня вызвали к Цюрупе. Я еще вчера знал, что положение Мадрида неважнецкое. Одиннадцатая с рассвета начала контратаку и с ходу отбила Французский

мост. Бригада пошла в бой с подъемом, но успехи у нее, что называется, переменные: возьмет, а после авиационного и артиллерийского нажима опять потеряет, еще раз отобьет и еще раз потеряет. А все потому, что дерется она сразу и в Университетском городке и в Каса-де-Кампо. На план Мадрида смотреть даже не надо, и слепому видно, что трех батальонов для такого фронта — меньше чем мало...

— А как же держались до Одиннадцатой?

— Плохо держались. Итог двух суток боев таков: потери огромные, и тех полноценных батальонов, какие выезжали отсюда, больше нет. Особенно много выбито у Домбровского, там и командир батальона и все до одного командиры рот — кто ранен, кто убит. Короче, завтра Двенадцатой выезжать.

— Ты что? С ума сошел?

— Приказ уже отдан. Ты его в руке держишь. По нему — сегодня закончить формирование, а завтра — на колеса.

— Это немыслимо!

— Приказ есть приказ.

— А если это невозможно?

— Через невозможно. Имей в виду, я не как посторонний рассуждаю. Уж не знаю, чем ты его прогневил, но товарищ Андре Марти считает тебя очень легкомысленным и объявил Цюрупе, что отправит бригаду под твоим командованием, если начальником штаба у тебя будет хорошо подготовленный советский офицер. Меня и назначили.

— Первая хорошая весть. Фрицынька ты мой! Но представляешь ли ты, какие у нас с тобой вдохновляющие обстоятельства? Ведь последний поезд пришел позавчера утром, и эти люди даже еще не распределены. Фактически у нас один батальон Гарибальди обучен. Немецкого же, строго говоря, попросту не существует — всего три роты.

Отправить на фронт сейчас — это приговорить к смерти сотни идейных бойцов, причем они еще и волонтеры. Я на это согласиться не могу. Даже через десять дней отъезд был бы легкомыслием, в котором меня обвинил Марти, но не прирожденным и простительным, а сознательным и недопустимым. Ведь никакой бригады, кроме как на словах, пока нет, а есть всего лишь плохо вооруженная толпа. И ты хочешь с ней выступать?

— Вот что, товарищ дорогой. Все это я не хуже тебя знаю. Приказ, однако, отдан. И не потому, что подписавшие его глупее нас с тобой, но потому, что Мадрид вот уже несколько дней на волоске, и его нужно спасать любой ценой. Верно: бригады пока нет. Но дела такие, что приходится все, что есть, на весы бросать: толпу так толпу. Только наша с тобой толпа идейная, а это кое-чего стоит. Ты, однако, обувайся, одевайся, а за то время давай обмозгуем, кому чем заниматься.

— Обещали же месяц на подготовку,— продолжал свое Лукач, начиная, однако, зашнуровывать ботинки.

— У войны, брат, своя логика.

— Нет у нее никакой логики. Война всегда — сумасшедший дом... Но скажи, оружие, по крайней мере, на всех есть?

— Пятнадцать «максимов», из них шесть немецких, дают и «льюисов» двадцать... Да ты не морщись. Знаю, на что «льюис» годен, а все лучше палки... Есть еще, сверх уже выданных, тысяча мексиканских винтовок, они, собственно, германские, типа «маузер», и по пятьдесят патронов на каждую. А вот обмундирования, даже этого, полуштатского, из вельвета, на всех не хватит...

— Тогда вот что. Я сейчас адъютанта своего подниму и дуну с ним в кадры — считать, что у нас на сегодня реально имеется, а оттуда — к тельмановцам, разбираться, кем их дополнять. Ты же уточни все насчет вооружения, где какие калибры...

В шестнадцать часов Лукач, Фриц, Галло и Реглер сидели у Марти, позади которого небрежно расположился Видаль, своим холодным видом выражавший весьма недоброжелательный нейтралитет к происходящему. Обсуждалось сложившееся положение. Сегал, склонившись между Лукачем и Фрицем, вполголоса переводил им с французского и громко — на французский — Лукача, поскольку Фриц молчал столь же упорно, как на другом полюсе Видаль.

Картина к этому времени несколько прояснилась. Совсем благополучно выглядели дела в итальянском батальоне: численность — около восьмисот бойцов, достаточно опытные командные кадры, не только в каждой роте, но и в каждом взводе комиссар. И с гарибальдийцами был такой масштабный политработник, как Луиджи Галло. Разнокалиберность винтовок мало тревожила командование батальона. Их было четыре типа и стрелковых рот тоже было четыре, так что справиться с этим неудобством удалось относительно легко.

Хуже обстояло дело с немецким батальоном, состоявшим всего из трех рот. Решили влить в него уже сформированную балканскую роту и лишь утром созданную польскую. Обе они тоже в эти минуты вскрывали длинные деревянные ящики и по списку благоговейно принимали в руки покрытые солидолом и укутанные в сальную бумагу винтовки. Балканская рота не беспокоила ни Лукача, ни Фрица. Чуть ли не половина входивших в нее болгар и сербов были коммунистами и некогда эмигрировали в Советский Союз, где получили хотя бы начальное военное образование, командиром же ее был македонец, носивший звание помкомвзвода.

Зато поляки тревожили. Многие из них были из Франции. Работали в шахтах, и почти никто из них никогда и ни в какой армии не служил. Заметную прослойку в роте составляли парижские ремесленники разных профи-

лей и толков. По мнению Галло, возможно, что именно они и затеяли весь этот цирк с выборами командира и комиссара. Однако сегодня Лукача такие вещи беспокоили меньше, потому что, пусть и к шапочному разбору, в Альбасете появился долгожданный Людвиг Ренн. Узнав новость об уже завтрашнем выступлении бригады, он отнесся к ней со стойкой дисциплинированностью прусского гвардейского капитана и сейчас же начал принимать от Шиндлера то, чему предстояло превратиться в батальон. Шиндлер же по состоянию здоровья оставлялся на базе для обучения поступающих немецких добровольцев.

Что же касается франко-бельгийского батальона, принявшего ко многому обязывающее имя Андре Марти, то он должен был почитаться самым надежным. Почти восемь десятых его состава отбыли воинскую повинность. Но, как ни странно, по разболтанному внешнему виду и по мгновенно вспыхивающему недовольству именно батальон Андре Марти ближе всего подходил к тому, что Лукач назвал вооруженной толпой.

Но как бы там ни было, а Двенадцатой интербригаде предстояло завтра пополудни выстроиться на плацу казармы, чтобы после краткого митинга отправиться в Мадрид. И перед тем, как закрыть последнее совещание с ее руководством, Марти объявил, что автомобильный транспорт сможет поднять лишь половину отъезжающих, поэтому предлагается наиболее многочисленному батальону Гарибальди и всем вспомогательным службам отправиться на машинах, остальным же следовать железной дорогой. Так как из-за налетов вражеской авиации поезда до столицы давно уже не доходят, то вторая половина бригады будет высажена на небольшой станции, название которой составляет военную тайну и будет сообщено лишь трем ответственным товарищам. И Марти поименно перечислил их: «Женераль Лукас, колонель Фритс и комиссар Галло!» К той же станции подойдут и машины с гари-

бальдийцами, а оттуда мадридским автотранспортом вся бригада организованно будет переброшена в предназначенном направлении...

Затем слова попросил Лукач. Не ограничивая себя никакими дипломатическими соображениями, он объявил, что Двенадцатой интербригаде теперь придется завершить формирование на передовой, а бойцам и даже многим командирам предстоит осваивать солдатское ремесло в неравных сражениях с регулярной армией. Испытывая ответственность за отборных, удивительных по своим внутренним качествам людей, он, как командир бригады, одновременно обязан благодарить судьбу за то, что ответственность эту делят с ним такие испытанные товарищи, как Галло, Фриц, Белов и некоторые другие.

Сегал достаточно точно переводил русскую речь Лукача фразу за фразой, а ее искренняя горячность служила убедительным фоном этому переводу, поэтому, когда Сегал стал повторять названные Лукачем фамилии, их нельзя было расслышать, настолько громкими были аплодисменты.

На другой день задолго до напутственного митинга сто сорок волонтеров, весь списочный состав будущего эскадрона под командованием недавнего капитана спаги Массара, даже в широчайших штатских брюках сохранявшего походку, подчеркивающую незабвенную его принадлежность к французской колониальной кавалерии, были самим Лукачем усажены в два пассажирских вагона третьего класса и отправлены в испанскую столицу. Документы, добытые через Цюрупу в военном министерстве, отпечатанные на атласной бумаге и написанные совершенно недоступным даже испанским простым смертным чуть ли не средневековым схоластическим языком, гласили, что этим уважаемым иностранным сеньорам надлежало проследовать до Эль-Пардо, бывшей летней резиденции испанских королей, расположиться в казармах бывшего гвардейского конного полка, получить там лошадей, а так-

же седла, сбрую и кавалерийские сапоги, после чего, затребовав с центральных складов Эль-Пардо соответственное число карабинов и сабель, приступить к обучению упомянутых выше сеньоров иностранцев вольтижировке, рубке и стрельбе...

Дело шло уже к четырем, когда все находившиеся в Альбасете и вступившие в пехоту волонтеры с только что оттертыми от технического жира винтовками, с подсумками и вещевыми мешками, неся развернутые самодельные знамена, зашагали к казарме, куда к этому времени подъехали из Мадригераса и гарибальдийцы. А в четыре вся бригада побатальонно, правильными, по разных размеров прямоугольниками, стояла на плацу. И не одни итальянцы производили впечатление боевой единицы. Как ни удивительно, но и батальон Тельмана, в котором вызывающе отличалась явно летней светло-песочной формой польская рота, и даже батальон Андре Марти выглядели ничем не хуже.

Духового оркестра почему-то сегодня не было, но зато на галерее, приняв необыкновенно эффектную позу, возник испанский трубач, столь же эффектно исполнивший неизвестного содержания сигнал. Средняя из выходящих на галерею дверей открылась, и в ней появился громоздкий Андре Марти. За ним шли Видаль и Галло, потом генерал Лукач, сопровождаемый Фрицем, и наконец группа респонсаблей. Все, кроме Лукача и Фрица, были в расстегнутых по погоде канадских полушубках, белизной своей напоминающих незапятнанные снега Юкона. Тем временем на нагретом солнцем плацу послышалась отданная на пяти языках команда, соответствующая русской «смирно».

Наслаждаясь богатством и силой своего голоса, Андре Марти стал отрывисто выкрикивать, что выстроенные здесь, в испанской казарме, почти две тысячи мужественных товарищей, как ему известно, без малейшего возра-



Мате Залка с дочкой

жения согласились с требованием мадридских женщин и детей, не мешкая ни часа, двинуться им на помощь, а также с пожеланием героической Одиннадцатой присоединиться к ней, даже не освоив необходимейшей азбуки военного дела...

— Сейчас я торжественно объявляю о рождении!.. славной Двенадцатой бригады испанской Народной армии!.. Составленная из убежденных интернационалистов!.. она вступает в строй!.. и будет неколебимо защищать Республику!.. Командиром бригады назначен венгерский революционер генерал Пал Лукас!.. Комиссаром — талантливый руководитель коммунистической молодежи Италии!.. член Центрального Комитета Коммунистической партии Италии Луиджи Галло!.. Начальником штаба — немецкий рабочий Фритс!..

Марти, отсалютовав кулаком, отступил. Его место занял высокий, исхудалый так, что полушубок висел на нем словно на палке, Луиджи Галло. При такой аскетической внешности горящие глаза и внутренняя напряженность делали его странно похожим на переодетого католического монаха. Певучая прелесть итальянской речи пленяла не одних впивающих ее гарибальдийцев, но и не понимающих половины французов, и даже не единого слова не понимающих немцев, поляков и балканцев: они воспринимали глубочайшую, почти трагическую, серьезность обратившегося к ним комиссара бригады.

Он говорил о самом важном для всех — об угрожающем положении столицы и о необходимости каждому совершить все возможное и даже невозможное для ее обороны, потому что взятие мятежниками главного города Республики послужит доказательством не только военного, но и политического их превосходства. И Галло заключил свою речь недавно родившимся среди защитников Мадрида и начавшим распространяться по всей республиканской Испании предельно кратким лозунгом: «¡по

pasaran!» Услышав его, плац будто взорвался, неорганизованно, вразнобой, но со страстью прокричав несколько раз: «¡no pasaran!..»

Едва все стихло, Марти объявил, что сейчас к бригаде обратится генерал Лукач. Тот обеими руками взялся за чугунные перила и наклонился вперед, большими серыми глазами всматриваясь в поднятые к нему лица. Он предвидел, что через четыре, в лучшем случае через пять дней ему, хочет он этого или не хочет, придется послать стоящих внизу под пули и гранаты, хотя они к этому пока не подготовлены. Послушаются ли они, поймут ли его? Будут ли выполнять его приказы? Марти считал, что говорить обязаны комиссары, а командиры должны лишь приказывать. Но Лукач чувствовал, что одного, да еще вымышленного, его имени готовящимся к бою людям недостаточно. Необходимо было сделать или хотя бы сказать что-то такое, чтобы между ним и его бойцами возникло взаимопонимание. Но что? Вдруг его словно толкнуло изнутри. И генерал Лукач громко произнес:

— Товарищи!..

Это знакомое всем русское слово, звучавшее тогда в Европе так возвышенно и романтично, произвело ошеломляющее действие. Легкий трепет пробежал по рядам, и лица, обращенные к галерее, будто даже посветлели. Прекрасно зная, что он обязан избегать даже намека на какие бы то ни было связи с Советским Союзом, Лукач одновременно понимал — сейчас важнее любых конспиративных соображений была необходимость добиться доверия тех, чьими жизнями ему предстоит распоряжаться, и он продолжал:

— Я буду говорить с вами на языке Октябрьской революции. Этот язык сближает и объединяет всех, кто хочет добра и счастья людям. Объединит он и меня, командира Двенадцатой интербригады, с вами, ее бойцами и офицерами. А единство это необходимо нам, чтобы вы-

полнить выпавшую нам нелегкую задачу: прекратить генеральскую войну против собственного народа. И мы любой ценой добьемся этого...

В разных местах плаца несколько человек, как будто не обращая внимания на его речь, довольно громко что-то говорили. Лукач смутился, нашел глазами одного из них и догадался: все в порядке — его переводили. И едва произнес он последние слова и поднес кулак к козырьку спортивной шапочки, как в ответ его бригада еще более горячо загремела: «¡no pasaran!»

Отходя от перил, Лукач разобрал, что Марти, представляя начальника штаба, опять назвал его Фритсем и немецким рабочим, и тут же увидел его самого, бодро шагающего навстречу. И спокойное лицо Фрица подтвердило, что как командир бригады Лукач поступил правильно.

Фриц, в своем видавшем виды, великоватом лыжнем костюме, тоже приблизился к балюстраде, отчетливо отдал честь по-ротфронтовски, так же отчетливо сделал «кругом» и через несколько мгновений уже как ни в чем не бывало поместился чуть позади Лукача. Вероятно, многие из стоявших на плацу должны были подумать, что немецкий товарищ, видно, неразговорчив. Однако до того, кто и что мог подумать, никому уже не было дела.

Повелительно прозвучали итальянские команды, и батальон Гарибальди повернулся направо. Знаменосец положил на плечо древко развернутого знамени с вышитой золотом надписью по-испански: «Batalion Garibaldi», бойцы закинули винтовки на брезентовых ремнях за спину. Послышалась новая команда, и первая рота, огибая тельмановцев, затопала к воротам. За первой, с небольшим интервалом, потянулись и остальные. После итальянцев, реже и громче отбивая шаг, тронулись и немцы с двумя своими славянскими придатками, а там, постоянно сбиваясь с ноги, зачастили и французы.

Все три батальона шли по улицам Альбасете, которые были еще с утра украшены красными флагами революции, трехцветными республиканскими и портретами благообразного пожилого интеллигента — президента Асаньи. Принарядившийся народ, стоявший вдоль домов по обеим сторонам уходящей бригады, приветственно подняв кулаки, отчаянно вопил «вива!» и все неистовее размахивал беретами, вышитыми платками и шалями. Многие молодые женщины и девушки бросали под ботинки волонтеров цветы, а некоторые матери с грудными младенцами на руках, подбегая к проходящим, требовали, чтобы кто-нибудь из них поцеловал ребенка. Чем ближе к центру, тем гуще становилась толпа и тем звонче и радостнее неслись крики. На трибуне главной площади ждал — потому и не явившийся в казарму — духовой оркестр. Он не останавливаясь играл «Интернационал», с той особенной фиоритурой в конце припева, которой отличается испанское исполнение пролетарского гимна от всех других. Приближающиеся к трибуне роты, издали заслышав его, подхватывали, каждая на своем языке, но пение звучало с такой силой, что нельзя было расслышать ни итальянского, ни немецкого, ни сербского, ни польского, ни французского, ни фламандского, ни даже испанского языка — все они слились в какое-то огромное музыкальное эсперанто. Лица большинства бойцов выражали одновременно и восторг и смятение, а на глазах у некоторых можно было заметить и слезы.

Шоссе на Мадрид поначалу тянулось вдоль железной дороги, потом ушло на восток. Часа через два Лукач по карте показал шоферу, что от узловой станции Кинтанар-де-ла-Орден, где оно соприкоснулось с боковой железнодорожной веткой, надо повернуть на запад к той самой, дальше которой поезда не ходят и само название которой

Марти счел невозможным произнести. А в Кинтанаре все знали, что Вильяканьяс — конечная станция и что от нее до Мадрида можно доехать лишь автотранспортом.

Попав в Вильяканьяс еще засветло, Лукач и Фриц с переводческой помощью Сегала нашли под навесом кузницы устроившееся здесь интендантство батальона Гарибальди. Чтобы встретить прибывающих бойцов манеркой горячего кофе со сгущенным молоком и хлебом, оно отправилось сюда спозаранку. Интендант батальона Скарселли, грузный человек лет сорока пяти, в измызганном полушубке и грязных брюках, зримо доказывавших, что черной работы он не чурается, сиплым, еле слышным голосом, каким говорят больные запущенным туберкулезом горла, доложил по-французски о полученном от майора Паччарди распоряжении обеспечить горячим кофе не только гарибальдийцев, но и оба других батальона. Выполнить это он сможет, потому что у него не три котла, как положено, а целых пять. Два лишних он выцарапал с альбасетского склада, встретив приятеля — однорукого испанца. И Скарселли, подмигнув генералу и взмахнув пол-литровым черпаком, привел какую-то итальянскую поговорку, которую Сегал попробовал перевести:

— Дабы иметь пять котлов, не надобно иметь пять голов, довольно старого друга и пяти слов...

Согнувшись в три погибели, чтобы забраться вслед за Фрицем в свой «опелек», Лукач заговорил не о Скарселли, но о Паччарди:

— Конечно, Галло ему подсказывал. Суть ведь не в том, что не одни гарибальдийцы кофе напьются, но такие вещи скрепляют людей. И немцы, и французы не сразу забудут, что итальянцы о них позаботились... А три столика под навесом перед кафе ты заметил? Нет? Знаешь, зачем они? Каждому волонтеру по пяти песет на мелкие расходы выдадут. Чтоб на курево было... Так что со всех

сторон кое-что начинает делаться. Вот только самого главного нам сделать не дали.

— Ничего не попишешь.

— А сознайся, что Скарселли, похожий на разбойничьего кашевара, тебе не очень-то?.. Но, как говорится, по лицу встречают, а по поведению провожают. Он хоть и с черпаком, а вовсе не кухонный раздатчик. Больше месяца уже провоевал, очень опасно был ранен в горло. А до того у дуче в тюрьме четыре года отсидел.

В пустынном с наступлением вечера, затемненном Мадриде они проехали прямо во двор министерства финансов и остановились в невзрачном углу возле двери в подвалы. Фриц раньше уже бывал тут. Оставив машины и Сегала на земной поверхности, они по крутым ступеням спустились в бетонную преисподнюю. Нижний часовой взглянул на их документы, нажал кнопку звонка, и заспанный сархенто гуардиа де асальто повел их по узкому коридору к переводчице, которая, переспросив их имена, заявила, что Владимир Ефимович давно ждет.

— Ишь, как здесь дело поставлено,— заметил Лукач,— не успели в Мадрид въехать, а нас, оказывается, давно ждут. Сюда? — спросил он у переводчицы.— Спасибо. Как вас зовут? Хулиа? По-русски это, должно быть, Юлия, а? Видите, какой я догадливый...

Посередине подземного горевского кабинета тянулся длинный дубовый стол, обставленный не идущими к нему канцелярскими стульями, а на таком же, как у переводчицы, маленьком столике стояли два телефона: обычный городской на высокой вилке, а в деревянном ящике — полевой. Сидя за этим столиком в светлом кожаном кресле, Горев беседовал о чем-то с Ратнером. Он легко встал навстречу вошедшим и немедля, словно какое-то радостное известие, объявил, что двенадцатого на рассвете к югу от Мадрида будет предпринято республиканское контрна-

ступление, в котором примут участие все наличные свободные силы.

— Поддерживают его: имеющая хотя бы по нескольку снарядов на ствол артиллерия, шесть броневиков и до восьми танков. Ваша молодая бригада должна сыграть в этой операции ключевую роль.

Лукач хотел было возразить, что это совершенно невозможно, но, взглянув на изможденное лицо и воспаленные глаза Горева, удержался. Разве могло быть, чтобы этот молодой образованный советский военачальник не знал и не понимал всего, что он, Лукач, собирался ему выложить?

Вместо невысказанных его возражений под низким потолком послышался сдержанный басок Фрица, деловито осведомившегося о месте и времени сосредоточения бригады на рассвете перед началом операции. В ответ Горев трубкой сделал знак Ратнеру, и тот быстро и отчетливо проговорил, что завтра, 11 ноября, вторая интербригада в течение дня переместится на грузовиках из Вильяканьяса в Чинчон, а оттуда в ночь на двенадцатое тем же транспортом будет доставлена к холмам на северо-запад от Ла-Мараньоса, чтобы далее пешим порядком продвигаться до сближения с противником. Оба названных им пункта Ратнер школьной указкой обвел на стенной карте (Фриц тотчас же отметил их на своей, вынутой из планшета) и предупредил, что с подробным планом контрнаступления командование бригады будет ознакомлено за шесть часов до начала.

Переночевав в грандиозном отеле «Палас» — на верхнем этаже его (остальные были переоборудованы в отдельные палаты главного военного госпиталя, холл же, ресторан и все подобные помещения нижнего этажа превратились в операционную и общие палаты), Лукач и Фриц, каждый на своей машине, чуть свет выехали в распоряжение бригады.

По приезде в Вильяканьяс Лукач сразу распорядился о незамедлительной высылке в Чинчон батальонных квартирьеров, а затем попросил Фрица, придав ему в лице Сегала французский язык, сообщить батальонным командирам и комиссарам о предстоящем передвижении, сам же отправился посмотреть, как люди провели ночь.

Наиболее расторопными оказались три немецкие роты, хотя их поезд пришел позднее всех, а может быть даже именно поэтому. Они устроились прямо на станции, где заняли все пустующие помещения: пассажирские залы всех трех классов, багажное отделение и даже часть паровозного депо. Те же, кто в них не поместился, а также балканцы и поляки где-то раздобыли несколько полос брезента, используемых железнодорожниками для укрытия грузов на платформах, постелили их на перроне, превратив их в матрацы и одеяла одновременно. Таким же брезентом было укутано драгоценное имущество пулеметной роты, для охраны которого и мирного сна волонтеров выставили часового.

Бесхитростные и лишенные бдительности французы легли вповалку прямо на землю. Хорошо, что ночь была сравнительно теплая. Какой-то средних лет представительный боец, заметив неодобрение во взоре генерала, отдал честь и обратился к нему на несколько старомодном, но чистейшем русском языке:

— Батальон лег там, где пришлось, товарищ генерал, не по неорганизованности и никак не по лени, а ради нравственной закалки, понимая, что во фронтовой обстановке вряд ли будут лучшие условия.

Фантастическое сочетание таких слов, как «товарищ» и «генерал», поразило слух Лукача своим внутренним несоответствием, до сих пор он слышал его только по-французски.

Никто из итальянцев не остался под открытым небом. Используя кровное родство своего языка с испанским,

они легко объяснялись с местными стариками, и те радушно предоставили этим камарадос эстранхерос, приехавшим сражаться рядом с их сыновьями, внуками и зятьями, все свои, отнюдь, впрочем, не беспредельные, возможности. Гарибальдийцы разбрелись по домам, клетям, амбарам и овчарням.

Убедившись, что бригада вполне сносно провела ночь, Лукач стал думать о том, как она проведет день. В случае налета вражеской авиации, особенно если бомбардировщики прилетят во время посадки на грузовики, бригада может оказаться в очень трудной ситуации. При такой скученности — без малого две тысячи человек в небольшом поселке — налет может иметь весьма плачевные последствия. И, возвратившись на станционную площадь, генерал приказал шоферам обоих «опелей» объехать штабы батальонов и передать всем командирам и комиссарам его распоряжение срочно явиться в зал первого класса. Когда все собрались, он, из-за непонятного исчезновения Сегала, по-немецки напомнил о массовом участии муссолиниевской, а с недавних пор и гитлеровской трехмоторной бомбардировочной авиации на стороне фашистского испанского генералитета, и потребовал, чтобы через полчаса было бы невозможно рассмотреть сверху ни одного бойца бригады...

— ...ни за какие коврижки, понятно? — энергично завершил он вдруг по-русски.

И хотя сама по себе заключительная фраза была совершенно непонятна для большинства и Людвиг Ренн, до того старательно переводивший на французский, при слове «коврижки» только вздохнул, но кто-то из немцев, поживших в СССР, пробормотал себе под нос, что «коврижки» — это московские Kuchen, однако общий смысл предупреждения был прекрасно понят и принят к немедленному исполнению. Командиры батальонов сами предложили поскорее рассредоточиться по окрестностям,

используя для прикрытия оливковые рощи, облетевшие уже, к сожалению, виноградники и даже кюветы вдоль боковых дорог. Польскую же роту, обмундирование которой никак нельзя было считать маскировочным, поскольку батальону Тельмана не предстояло действовать в пустынных степях аравийской земли, было решено сейчас же убрать под крышу, в только что выстроенный, но никем не заселенный большой двухэтажный дом, в полутора километрах от Вильяканьяса.

Перед тем как сесть в машину, Лукач услышал от явившегося к нему возбужденного Реглера рассказ о том, как вчера среди бойцов возник угрожавший выйти из берегов протест, когда они узнали, что им собираются платить. Первому объявили об этом франко-бельгийскому батальону, и он сразу забушевал и загалдел, а уже через четверть часа его комиссар Жаке прибежал к руководившему всем этим финансовым предприятием Реглеру и завопил, что ребята да и он сам в бешенстве. Кто это посмел рассматривать их как наемников и предлагать им сребреники за добровольное участие в антифашистской войне? Пусть все знают, что никаких денег и ни от кого на свете их батальон ни за что не примет.

Реглер довольно сурово осадил Жаке, но тут явились и тельмановский Рихард, и гарибальдийские комиссары — коммунист Роазио и социалист Аццн — и высказали примерно то же самое. Реглеру пришлось сначала отчитать всех четверых за то, что они пошли на поводу у, может быть, и благородных, но политически ошибочных настроений. Он потребовал, чтобы они напомнили всем, что Двенадцатая интернациональная бригада зачислена в испанскую республиканскую армию. Это означает, что она не только подчинена установленному командованию, но и во всех отношениях приравнена к испанским бригадам, а ее бойцы — к милисьяносам. А последним, оставившим на произвол судьбы свои семьи, чтобы грудью защищать

Республику, правительство Народного фронта назначило ежемесячное денежное содержание в триста песет. Эта довольно значительная сумма дает, в частности, возможность помочь близким. Ровно столько же будут получать и волонтеры интернациональных бригад, большинство из которых тоже ведь оставили своих родных. А вот если кто отказывается от положенного жалованья, значит, такой человек пытается поставить себя выше испанских товарищей, а они все, между прочим, пока не будет введена всеобщая воинская повинность, тоже ведь добровольцы.

Смеясь, Реглер прибавил, что его доводы подействовали, и уже через полчаса бойцы каждого батальона балагурили в очередях перед столами, за которыми сидели представители мадридского казначейства: один вынимал из полуметрового, продавливающего землю, сшитого из сурового полотна и укрепленного кожаными ребрами мешка старинную серебряную монету пятипесетового достоинства и вручал ее предстоящему Voluntario, а другой — показывал пальцем, где расписаться.

Лукач простился с Реглером до вечера и вышел к машине. Фриц уже терпеливо сидел в своей рядом с заросшим, как парижский бродяга, шофером, но охотно согласился пересесть к нему.

— Ты слышал о вчерашнем бунте наших бессребреников? — спросил Лукач, когда машины выехали на узкое шоссе, которое должно было вывести их на магистральное, ведущее через Аранхуэс к Чинчону.— Не хотели деньги получать, чтоб их не считали наемниками. Фриц, послушай меня. Великую ответственность берем мы с тобой на себя, собираясь повести в бой таких людей. Величайшую! Мы серьезно не задумались, не отдали себе отчета, что у нас за бригада. А она состоит из отборных, готовых к самопожертвованию, искреннейших революционеров, душевной чистотой и преданностью делу ни на кого на свете

не похожих. И за смерть любого из них мы несем особую ответственность. Вот увидишь, с нас за это когда-нибудь спросится, и по головке не погладят...

— Чего ж ты хочешь? Отказаться мы никак не могли. В военное время отказ принять командование можно к дезертирству приравнять.

— Отказываться, может, нельзя. Но и посылать на смерть лучшее, что каждый народ из себя выделил, тоже. Куда, говорят, ни кинь, все клин.

Фриц ничего не ответил. Замолк и Лукач. Каждый задумался о своем.

В разбросанный и невзрачный Чинчон «опели» пришли во второй половине дня и остановились перед домом, несомненно построенном в начале века в том эклектическом и унылом стиле, который тогда роскошно именовался «модерн». Именно этот шикарный дом избрал себе чинчонский комитет Народного фронта. Хорошо выспавшийся за продолжительную дорогу Сегал райской птичкой впорхнул в замысловатого вида двери и через несколько минут выпорхнул с адресом бригадного интендантства в пальцах.

Носящий имя царя Никиты из озорной пушкинской сказочки серб, третьего дня получивший от щедрого Лукача испанское звание comandante, соответствующее русскому (а по существу, латинскому) майору, недавно восстановленному в Красной Армии, деятельно похрапывал под полушубком на огромной деревянной кровати в спальне, по местному обычаю, без окон и с занавеской вместо двери. Он вскочил как встрепанный, но, так как Лукач удовольствовался всего лишь укоризненным взглядом, быстро успокоился и доложил, что помещения на всю бригаду давно найдены, что сейчас квартирьеры с помощью местных доброхоток заканчивают уборку их, а с семи вечера отправятся встречать всякий своих, чтобы проводить на ночевку.

Успокоенные этой частью информации, Лукач и Фриц узнали еще, что Галло явился в Чинчон еще до обеда. Никите он ничего не сказал, кроме «здраво», но шофер его был откровеннее и по секрету осведомил Никиту, что этой же ночью и на этом же транспорте, который доставил ее в Чинчон, бригада отбудет на исходные позиции.

Про себя Лукач не преминул отметить, что комиссар бригады строго блюдет военную тайну от интенданта бригады — и правильно делает,— но не сумел утаить ее от своего шофера.

Подъезжая к Чинчону поротно, Двенадцатая неномерно растянулась в пространстве и во времени: если автобусы с первыми гарибальдийцами выгрузились до восьми, то последние две роты батальона Тельмана — балканская и польская — только за полночь. По приезде все отказались от ужина, так как не было на пути селения, в котором остававшиеся в нем жители не выносили бы проезжающим на фронт иностранцам все, что у них имелось: хлеб, сыр, крутые яйца, красный перец и в глиняных кувшинах или в козьих мехах домашнее вино. Угощение это сопровождалось ласковыми улыбками, нежной признательностью и непрерывной громовой симфонией из кликов «no pasaran». Волонтеры многообещающе вздымали винтовки, стоя в грузовиках.

Можно ли было удивляться, что после такого отношения, от которого влажнели глаза у самых несентиментальных бойцов, все они, изнеможенно падая в душистое сено или по трое, а то и вчетвером валясь на одну койку, безропотно приняли от своих ближайших командиров и комиссаров распоряжение генерала Лукача спать не раздеваясь на случай возможной ночной тревоги. Лишь особо утомленным разрешалось снять солдатские ботинки, действительно чрезвычайно тяжелые и грубые, особенно с непривычки.

Тревога была дана ровно в два. Так что все доставленные в Чинчон к ночи почти не спали. Учитывая время, необходимое на сборы и на дорогу, следовало бы поднять людей еще раньше, но Лукач знал, в котором часу они легли, а еще хорошо помнил анекдот про то, как в Петербурге будили войска, включая гвардию, к крещенскому параду.

Смешную и грустную историю эту Лукач слышал от одного кадрового офицера, вместе с ним он обучал в Сибири новобранцев только что основанного полка Красной Армии. Рассказчик был немногим старше юного венгра, но виски его уже серебрились, да и вообще он многим отличался от остальных инструкторов: высоким ростом, насмешливым видом, а еще тем, что не расставался со стеком.

— В проклятом прошлом молебен с водосвятием и парад шестого января начинался в Санкт-Петербурге ровно в десять часов. Минута в минуту звучала команда: «Сми-и-ирно! Слушай! Под знамя на кра-ул!», сводный оркестр гарнизона играл «встречу», и уже к правому флангу скакал царь со свитой. А накануне фельдъегери развозили ордер командующего парадом, великого князя, в котором объявлялось, что без четверти десять он будет объезжать выстроенные части, проверяя их готовность. Получив приказ, командир того или иного полка, или гвардейского экипажа, или там артиллерийского дивизиона давал старшему офицеру распоряжение так рассчитать время, чтобы его, скажем, измайловцы стояли на отведенном им квадрате не позже половины десятого. Старший офицер передавал распоряжение командирам батальонов и от себя указывал, что они обязаны быть на площади перед Зимним к девяти. Когда же этот час сообщался ротными командирами своим фельдфебелям, те

еще раз подвергали его корректировке и назначали побудку на пять. Не следует забывать, что стоять лишних полтора-два часа приходилось в трескучий мороз...

Хотя иронический его собеседник вскоре перебежал к белым и у недавнего венгерского военнопленного, позже попавшего в их руки, произошла не слишком-то радостная встреча с ним, к тому времени уже колчаковским генералом, сама система прогрессивной — по мере снижения в войсковой табели о рангах — перестраховки навсегда закрепилась в памяти, и потому Лукач приказал будить бригаду лишь тогда, когда по расписанию должны были подойти грузовики.

— Пусть народ перед боем хоть полчасика лишних поспит...

Так как все легли в верхней одежде, на то, чтоб сунуть ступни в ботинки, завязать шнурки, схватить винтовку, рюкзак и выскочить наружу, много времени не требовалось. Через четверть часа после тревоги роты уже выстраивались, каждая перед своим домом, пустым складом или бывшей конюшней. Тем временем оружейники подвезли, сгрузили тяжелейшие деревянные ящики с патронами, взломали их и принялись раздавать стоящим в строю по двадцать обойм на бойца, а кто хотел, мог получить и больше, ведь в Альбасете дали всего по одной.

Ночь стояла мрачная, улицы погруженного в сон Чинчона продувал сильный и холодный ветер. Невыспавшиеся люди поеживались.

Лукач и Фриц многое предусмотрели. Машины с бойцами должны были одна за другой по определенному маршруту выбраться из Чинчона и на шоссе слиться в общий поток, рота за ротой, батальон за батальоном.

Да, очень многое сумел Лукач предусмотреть, даже то, что в первую машину каждой роты садился рядом с шофером ее комиссар, у которого было подробное описание пути и выполненный Фрицем чертежик, а в по-

следнюю — командир, следивший за порядком и скоростью движения. Непредвиденным оказалось лишь одно, зато поистине роковое, обстоятельство: обещанный Ратнером транспорт к двум часам не явился.

Роты уже давно стояли где следовало, спинами к злому ветру, но шума работающих моторов все не слышалось. В итальянском батальоне первым забеспокоился Галло. Вместе с другими гарибальдийскими комиссарами он с помощью ручных электрофонариков кинулся искать не сами грузовики даже (некоторые, запертые на ключ, можно было обнаружить кое-где на погруженных в кромешный мрак улицах), а тех, кто ими управляет. Стуча в закрытые двери и вваливаясь в незнакомые дома, они обнаружили и растормошили несколько взахлеб храпящих шоферов, от которых зависело участие бригады в сегодняшнем сражении. И тогда выяснилось, что, перевезя бригаду из Вильяканьяса в Чинчон, они сочли свой долг выполненным, поставили свои усталые ЗИСы-5 вдоль тротуаров, заглушили двигатели и разошлись кто куда. Все они принадлежали к мадридскому отделению профсоюза водителей грузовых автомобилей. Профсоюз этот обслуживает сражающихся, но им не подчинен и слушаться их не обязан. Главное же, вытащенные из постелей клялись, что никаких указаний насчет необходимости этой же ночью везти куда-то дальше иностранных волонтаристов их респонсабле не давал. Некоторые обиженно добавляли, что «чофер» тоже человек и целыми сутками сидеть за рулем не может. Стало ясным и другое: даже если бы и удалось найти и уговорить двадцать или даже двадцать пять и в самом деле насмерть заездившихся водителей, их хватило бы на переброску к фронту только одного батальона. Большинство же шоферов, доставивших бригаду в Чинчон, отправились на своих машинах ночевать к семьям в Мадрид.

Галло бросился искать командира бригады, что, впро-

чем, не потребовало большого труда. Лукач прогуливался взад и вперед по центральной площади затемненного Чинчона, и еще издали можно было услышать характерное постукивание его палки по мостовой. Узнав этот звук и не без внутреннего сопротивления преодолев свое возмущение пристрастием того, кому доверена бригада, к ненужной, чисто буржуазной игрушке, Галло подошел к нему. Лукач уже все знал, но, к удивлению своего комиссара, оставался, судя по голосу, совершенно спокойным.

— Первое, что нам необходимо,— заявил он,— это как можно скорее перестать зависеть от милостей посторонних да к тому же еще не армейских организаций. И я не успокоюсь, пока мы не обзаведемся собственным транспортом...

Но не успел он договорить, как вдали послышался все возрастающий рев мотоцикла, и через несколько мгновений из глубины черной улицы ударила ослепляющая фара, высветившая зажмурившихся от нее приземистого Лукача и высокого рядом с ним Галло. Мотоциклист притормозил, выключил газ и свет, отставил ногу и что-то спросил по-испански. Галло коротко ответил и осветил фонариком генерала с тросточкой. «Моториста» стянул с подбородка ремешок кожаной фуражки, снял ее, достал лежавший в ней конверт, сунул его Лукачу, буркнул: «Салуд, камарадос», развернул мотоцикл и, включив фару, с прерывистым грохотом рванул обратно. Галло повесил фонарик на шею и пробежал бумагу глазами.

— «Из Мадрид. Хунта оборона. Операций перенесется на завтра. Диспозисьон и время одинаковый. Подписан: «Хенерал Миаха».

Лукач глубоко вдохнул и с шумом выпустил воздух, что, несомненно, доказывало одно: и он был не слишком-то спокоен. Однако голос его звучал насмешливо:

— Странная все же манера вручать секретные оперативные документы первому попавшемуся... Но, ладно.

Сейчас так порешим: об отсутствии транспорта — молчок. И о несколько запоздалой отмене операции тоже ни слова. Бойцам очень вредно знать про такой кавардак. Мы же с тобой сейчас обойдем батальоны, а правильнее — каждую роту и поблагодарим за быстроту, с какой они построились по ложной тревоге. Скажем, что она была дана для проверки нашей боеготовности. К немцам буду обращаться я, и еще к балканцам и полякам, к итальянцам и французам — ты. Согласен? Хорошо меня понял? Тогда пошли...

Солнечное утро 12 ноября бригада проспала чуть ли не до полудня. Умывшись, почистившись и оставив оружие под охраной часовых, все вышли посмотреть на город да и себя показать. Принимали их повсюду почти так же, как по пути сюда: улыбались, хлопали по спине, не позволяли платить у стоек здешних бистро, вынув из пачки, совали сигарету прямо в руки и говорили что-то дружелюбно, но быстро и совершенно непонятно. Выяснилось, что полученные в Вильяканьясе и с тех пор оттягивавшие брючные карманы пятипесетовые монеты в пересчете на съестное, курево, вино и кофе с коньяком во много раз превосходили свою стоимость в переводе на франки. Боец, угостивший двух приятелей выпивкой с закуской и не без некоторого беспокойства протягивавший свою, правда почти с блюдечко для варенья, увесистую деньгу — хватит ли? — получал сдачу, большей частью тоже серебром, столько, что ее хватило бы еще на два таких угощения. Скоро, неизвестно откуда, всем стало известно, что в Чинчоне производится лучшая во всей стране анисовая, однако она обладала такой адской крепостью, что даже закаленные любители свирепого французского марра удовлетворялись одной рюмочкой, да и то немногим вместительнее наперстка.

Едва стемнело, все улеглись спать снова одетыми. Комиссары предупредили: тревога может повториться.

И в самом деле, опять ровно в два командиры рот разными голосами закричали и запели свои: «Alerte! Achtung! Allarme!» — а в одном из славянских взводов какой-то украинец гаркнул даже: «До зброю!» Еще скорее, чем вчера, люди вскочили, выбежали наружу, построились, и так же, как вчера, их стали разводить по темным улицам пустынного, будто оставленного жителями Чинчона. Однако дальше все пошло по-иному. В трех местах, прямо на булыжной мостовой, трещали и полыхали костры, над которыми в громадных чанах закипал кофе, и ветер доносил его дразнящий запах даже до левофланговых. Отдаленно, но непрестанно рокотало множество моторов. Через несколько минут ротам было приказано приблизиться к кострам. Бойцы гуськом потянулись к раздатчикам своего батальона, подставляя манерку под кофе и принимая по килограммовой, высокой и узкой буханке белого хлеба — на двоих. Новоорганизованное тельмановское интендантство превзошло другие, добавляя в кофе по мерочке коньяку и кладя на хлеб еще и кусок колбасы.

Не все успели доесть и допить свою порцию, как начали подходить не зажигавшие фар грузовики. Забрав роту, шоферы по знаку комиссара выруливали на центральную площадь, где тоже взметался в черную ночь огонь, при отблесках которого можно было рассмотреть группу из нескольких респонсаблей. Каждый ЗИС останавливался против них, кто-то подбегал, спрашивал, сколько в нем бойцов, какой роты и какого батальона, помечал ответ у себя в блокноте и рукой показывал, что можно двигаться. Почти ощупью грузовик за грузовиком выбирались на ведущее к Мадриду шоссе. Скоро небо с левой стороны начало сереть, и, ободренные этим, водители постепенно прибавляли ходу. На каком-то километре передние ЗИСы, везущие тельмановцев, вдруг круто взяли влево и спустились на узкий, но тоже асфальтированный путь, завилявший среди округлых холмов, как лента китайского

фокусника. Через какое-то время следовавшие за ними машины батальона Андре Марти повернули направо и, пыля, покатили отдельно по проселочной дороге. Гарибальдийцы же скатились с главного шоссе значительно позже, но тоже ехали теперь по проселку. По указанию Лукача, для большей скрытности, да и для скорости, батальоны должны были следовать к месту разгрузки раздельно.

Понемногу рассветало, и почти черные тучи, как и накануне, еще до восхода солнца скрылись за горизонтом. Солнце уже показало сверкающий краешек над горизонтом, когда ядовито-зеленые ЗИСы, оставляя в стороне большой и нарядный, весь в садах дачный поселок, съехались на одном в пух и прах разбитом тракте и, разделенные интервалами в пятьсот метров, затряслись вдоль высокой, крутой справа, гряды, возле которой и начали останавливаться. Бойцы поспешно выскакивали из грузовиков и прижимались к обрывистым холмам, а порожние ЗИСы так же поспешно отъезжали.

Сразу после выгрузки волонтерам приказали подниматься на отвесную со стороны шоссе высоту. С нее открылся вид на заросшее высохшей травой обширное плоскогорье. Приблизительно в километре трава кончалась, и дальше простирались поросшие редким кустарником пески, а еще дальше уходили вверх густые оливковые плантации. Над тем местом, где они были выше всего, видны были готические башни.

Все три батальона спустились и одновременно полукругом двинулись в том направлении.

Около десяти утра 13 ноября генерал Лукач и коронель Фриц взошли на вершину холма, расположенного почти по центру слишком широкого для трех батальонов фронта. Пока их было хорошо видно, но меньше чем через полчаса довольно скученно продвигавшиеся итальянцы и рассредоточенно наступавшие посередине франко-бель-

гийцы скрылись в рощах олив. Зато тельмановцев можно было видеть как на ладони. Оба долго разглядывали в бинокли (Фрицу подарил свой запасной Ратнер, а Лукач еще в Чинчоне извинился и снял с тонкой шеи Сегала французский, морской) монастырь, стоявший на сравнительно пологой горе и окруженный каменной стеной на глаз метров до пяти высотою, проглядывавшейся кое-где сквозь темную зелень. По странной случайности эта гора, с монастырем на вершине, которую бригаде предстояло атаковать, была географическим центром Испании (кто-то в беседе с Лукачем назвал ее «пупом земли гишпанской») и благочестиво именовалась: Серро-де-лос-Анхелес.

Чуть позади Лукача, где по уставу полагалось бы стоять адъютанту, находился Реглер. Еще дальше, шагах в пяти от него, зачем-то распластался на земле зеленовато-бледный Сегал.

— Знаешь,— говорил Лукач,— что объявил мне ночью никем не назначенный, а избранный на сходке командир польской роты? Наступает, видите ли, тринадцатое число, а даже в мирной жизни каждому известно, что тринадцатого никто ничего не начинает, а уж тем более на войне... Спрашиваю я этого военспеца, какое у него звание, оказывается, он служил ефрейтором в российской армии. Мне и в голову не пришло бы, что старый русский солдат может быть суеверным человеком, ну, думаю, один такой нашелся. А только что узнал, что итальянцы тоже сочли...

Фриц, впившись в бинокль и медленно ведя им по кронам самых дальних олив, не отвечал, возможно и не слышал. Впереди на открытом правом фланге четкие под начинавшим пригревать солнцем фигурки тельмановцев, похожие на оживших оловянных солдатиков, разреженными цепочками продвигались по направлению к монастырю. В центре шла пулеметная рота, и даже на таком расстоянии было видно, как, наклоняясь вперед,

словно лошади, везущие тяжелую кладь, рослые первый и второй номера волокут свои Maschinengewehren[1], широкие колесики которых глубоко вязнут в песке. Издали и сверху три немецкие роты, особенно пулеметная, выглядели необыкновенно живописно, вроде как на батальных картинах начала прошлого века. В арьергарде на обоих флангах шли балканская и польская — последняя на песчаном фоне была еле различима, в балканской же бойцы держались слишком густо, так ходила пехота в мировую войну, двадцать лет назад. Лукач еще раз полюбовался в бинокль на немецкие цепи и, опустив его, несмотря на серьезность момента, усмехнулся. Ему вспомнилось, что еще девятого, когда тельмановским пулеметчикам вручали восемь германских — без щитов — «максимов», те, по словам Реглера, показались ему чем-то недовольными. А через час к генералу явилась делегация, возглавляемая Рихардом, высоким и сухощавым, с медальным профилем, заместителем Ганса Баймлера, отлично говорившим по-русски, так как он всего несколько месяцев назад окончил в Москве коминтерновскую «ленинскую школу» для молодых иностранных коммунистов. Сдержанно выразив огорчение лучшей в батальоне роты тем, что ей выдали немецкие «максимы», он передал от ее лица просьбу взять их обратно, а выделить взамен «наши», что должно было означать — советские...

— Смотри, смотри! — воскликнул Фриц, не отрываясь от бинокля.

Метрах в пятистах, перед батальоном Тельмана, на опушке в бинокль был хорошо виден окоп с двумя выступами для пулеметных гнезд. Из него через низкую заднюю стенку и ходы сообщения, как козявки, выскакивали и выбегали солдаты противника и, пригнувшись, скрывались между деревьев.

[1] Пулеметы (*нем.*).

— Вот что значит предпринимать наступление без разведки,— пробасил Фриц.— Знать бы, что там их траншея, мы бы па нее так, здорово живешь, не перли. Там, видать, целая стрелковая рота сидела и отошла перед превосходящими силами, не принимая боя. Нам бы в тыл ей зайти, а так гарнизон Серро-де-лос-Анхелеса на двести стрелков усилился, и все. Действовали бы с умом, сколько б пленных взяли...

Находясь на одном уровне с окопом, батальон, вероятно, не видел, что окоп опустел, потому что метрах в двухстах перед ним наступавшие залегли и выслали вперёд патруль. Когда же начнется артиллерийская подготовка? Лукач посмотрел на часы и с досадой подумал, что, скорее всего, никогда. Однако Серро-де-лос-Анхелес не что иное, как крепость, при осаде же таковой необходимо разрушить крепостную стену, чтобы войска могли ворваться в пролом. До появления артиллерии осаждавшие располагали таранами или хотя бы абордажными лестницами, но при наличии артиллерии... В этот момент тельмановцы поднялись и бросились к окопу. Не прошло и пяти минут, как они стали прыгать в него. Когда перед ним не осталось никого, где-то будто лопнула елочная хлопушка, и через несколько секунд там, где только что лежали немецкие цепи, взвился грязный фонтан из земли и камней, а затем долетел веселый звук разрыва.

— Вроде противотанковое орудие,— высказался Фриц. — А может, и возьмем, а? — в сомнении вопросил он самого себя.— Если у них такая артиллерия...

Он спрятал бинокль в футляр, передвинул его на левый бок, поправил перекрутившийся ремешок от планшета и повернулся к Лукачу.

— Вот что, дорогой товарищ. Телефонной связи у нас с тобой не имеется, нет и связных от батальонов. Да где их и собирать, если даже оборудованного командного пункта нет, и на кой он ляд нужен без работоспособного

штаба? В общем, я пошел! Туда! — он махнул в сторону крепости.— Ты же оставайся здесь, иначе как бы не потеряться.

— Мне тоже здесь делать нечего. Признаю, что отсюда кое-что видно, но это как в кино: смотреть можно, но вмешаться в происходящее нельзя. Я спущусь к машинам и подъеду к итальянцам. Твою тоже захвачу. Оттуда хоть удастся узнать, как слева от нас испанская бригада наступает, а главное, где же обещанные танки и броневики? Если понадоблюсь, ищи меня там.

Фриц кивнул и бочком начал спускаться со склона. С середины холма он и без бинокля увидел, что тельмановцы уже проникли в оливковую рощу за окопом, куда перед тем отступила неприятельская рота. И тотчас же из скрывшегося теперь за густой зеленью олив Серро-де-лос-Анхелеса то ли с колокольни, то ли прямо со стен ударили два пулемета. По низкому и сравнительно редкому звучанию Фриц определил, что это должны быть «гочкисы». По батальону Тельмана било сразу два, началась и ружейная стрельба.

Лукач, услышав ее, с некоторым беспокойством посмотрел вслед бодро зашагавшему по плоскогорью начальнику штаба. А повернувшись, удивился тревожно бегавшим глазам своего продолжавшего лежать адъютанта. Как быть с избалованным юношей, даже при отдаленных выстрелах начавшим вдруг разваливаться на куски?

— Что с вами?

Тот с усилием проглотил слюну.

— Очень нездоровится, товарищ генерал.

«Как-нибудь без тылового переводчика на фронте не пропадем...»

— Если очень нездоровится, возвращайтесь по шоссе пешком в Ла-Мараньосу, до нее отсюда и пяти километров не наберется. Обратитесь в санчасть. Ждите меня там.

Сегал мгновенно вскочил.

— Слушаюсь, товарищ генерал.

Маленький Сегал слишком быстро для больного скатился вниз по тропинке, не оборачиваясь на учащенное таканье винтовок, перебиваемое прерывистой октавой «гочкисов». Лукач взял за локоть молчавшего Реглера.

— Прошу тебя в машине Фрица проехать за мной до будки дорожников, это приблизительно с километр отсюда. Там должен был начинаться марш франко-бельгийцев. Разыщи, пожалуйста, их штаб и посмотри, что там у них делается. Побудь подольше, во всем разберись. Для меня их психология вроде ребуса. Ты не улыбайся. Как-то оно получилось, что батальон Андре Марти у нас вроде пасынка, наверное оттого, что ни я, ни Фриц не говорим по-французски. Но говорим не говорим, а ни командир, ни комиссар мне не нравятся. Не могу даже сказать чем. Не нравятся, и все. Интуитивно. Хотя Мулэн — офицер запаса, а у Жаке трехлетний партийный стаж. Галло говорил, что для Франции это немало. Но дело-то не в партийном билете, а в человеке... Очень, очень настаиваю: хорошенько оцени все сам. Идем.

Когда Лукач добрался до исходных позиций итальянского батальона, тот уже давно ушел вверх с глубоко прорезавшей холм узкой, но все же асфальтированной дорожки. Вероятно, она была проложена для велосипедной езды, так как двум автомашинам на ней было не разъехаться. С обеих сторон ее высились почти отвесные срезы. От места, где остановились оба «опеля», начинался крутой спуск, табличка показывала, что он ведет на Ла-Марапьосу. Лукач, оставив в своей машине головной убор, планшет и палку, не без труда взобрался наверх и попал в свежую, словно июньскую, почти в человеческий рост густую траву, в которой были проложены проходы к высоким оливам. Едва войдя в них, он обнаружил Галло и Паччарди, сидевших на перевернутой плетеной корзине, должно быть забытой сборщиками маслин. Увидев гене-

рала, оба встали. Паччарди, сделав несколько шагов ему навстречу, очень приветливо поздоровался. Переводчиком между ними был стоявший спиной к стволу самой старой оливы и похожий на борца-тяжеловеса комиссар Роазио, с добрым и располагающим к себе лицом. Галло опять опустился на корзину, уронив руки меж острых колен, но в разговор не вмешивался.

Паччарди, все такой же розовощекий, несмотря на проведенную в хлопотах ночь, начал с недоуменного вопроса. Он хотел бы знать, чего командование бригады ждет от него? Перед батальоном тянется четырехметровая стена, и толщиной она не меньше метра. Известно, что и ворота и чугунная дверь расположены с противоположной, вражеской, стороны, где должны наступать две испанские бригады с целью окружить Серро-де-лос-Анхелес. У батальона Гарибальди, как и у двух других, нет ничего, чем можно было бы проломить такую стену, тесаками же ее не проткнешь, как и не взорвешь двадцатью ручными гранатами, выданными этой ночью. Если же разрушить стену должна республиканская авиация или тяжелая артиллерия, тогда напрасно людей подвели к монастырю так близко, они могут пострадать от осколков даже при идеальной точности попаданий, а кто гарантирует это?

Лукач выслушал перевод, вздохнул, но ничего не ответил.

— Есть ли у вас связь с французами? — после паузы поинтересовался он.

Паччарди не очень охотно сказал, что вначале была, но после того, как оба батальона вошли под деревья, нарушилась. Уже с полчаса, как посланы люди восстановить ее, но пока не возвратились.

Вдали послышался слабый гул моторов. Роазио, склонив голову к плечу, стал вслушиваться повернутым к небу левым ухом — не авиация ли, но скоро все поняли, что шум идет снизу. Выйдя на опушку, они убедились, что

приближаются какие-то по-особому рокочущие машины, но что, судя по звуку, это отнюдь не заветные танки.

— Броневики,— через короткое время уверенно определил Лукач.— Пока не пойму сколько. Кажется, пять.

Повысив голос, Роазио произнес что-то по-итальянски — и над высокой травой возникли голова и плечи жизнерадостного юнца. Раскачивая винтовку взад и вперед, он рысцой побежал к дороге. Когда невидимые броневые машины, оставляя в воздухе медленно оседающий сизый дым, прошли, Лукач, Галло и Паччарди вернулись в тень олив и опять присели на скрипучую корзину, Роазио же снова прислонился спиной к старой оливе, а вернувшийся от дороги связной доложил ему, что̀ видел. Улыбнувшись мальчику, Роазио уточнил для Лукача:

— Четыре.

На участке гарибальдийцев стояла все та же тишина: за полчаса ни одна пичуга не перелетела с ветки на ветку, лишь огромные яркие бабочки бесшумно порхали рядом, над поляной, то опускаясь к цветам, то взлетая гораздо выше деревьев, да еще довольно далеко стрекотал одинокий кузнечик. Однако справа все разрасталась стрельба, постепенно сливающаяся в раздражающе громкий слитный гул, в котором невозможно стало различать отдельные выстрелы. Но прошло минут двадцать, и в отдаленном этом громыхании начали выделяться частые хлопки мелкокалиберных пушек со вступивших в сражение броневиков.

Правда, Лукачу за эти годы нередко приходилось выезжать на маневры. Но в настоящем бою он в последний раз участвовал при штурме Перекопа. Все остальное, вроде ликвидации остатков махновщины, явно было не в счет. И сейчас, через гложущее его беспокойство за бригаду, посланную в это столкновение, громогласно именуемое операцией,— даже через это беспокойство Лукач с некоторым удивлением обнаружил в себе с младых ногтей

знакомое, радостное возбуждение и неожиданный прилив сил. «Что это? — думал он.— Сигнал боевого горна для старого гусарского коня? Зов поросших шерстью предков, постоянно сражавшихся, чтобы выжить? Или это вдруг вспыхнувшие, как покрытый пеплом уголь, на который бросили сухой соломы, бурные порывы молодости? А может быть, во мне заговорила надежда, что 13 ноября как-нибудь минует, обойдется без потерь, легко слетит с отрывного календаря? Только вряд ли. Вся беда впереди. Пусть Фриц с немцами, Реглер у французов, а я здесь. Ну и что? Могу ли оказать сколько-нибудь решающее воздействие на общий ход событий? Вижу я еще меньше, чем любой гарибальдиец там, впереди, а насчет положения в целом знаю не больше его. Можно в таких условиях руководить? Нам поставлена задача вместе с другими бригадами взять Серро-де-лос-Анхелес, но без предварительного разрушения его ограды мы не можем и пытаться выполнить ее».

Он встал.

— Под лежачий камень вода не течет. Роазио, переведи ты им, пожалуйста, что я пошел взглянуть, как там за вашим правым флангом. Вернусь часа через два. К тому времени и Фриц должен подойти...

Оставляя первую и вторую роты Гарибальди слева, он прошел с полкилометра вдоль оливковых плантаций и стал подниматься на остроконечный холм такой крутизны, что приходилось помогать себе руками. Стало жарко, как на Полтавщине в июле, и он расстегнул куртку и воротник рубашки. Наверху, поднеся бинокль к глазам, Лукач внимательно разглядывал расстилавшуюся перед ним долину и поднимающиеся к монастырю однообразные оливковые рощи. Ни французского, ни немецкого батальонов нигде и в помине не было. Еще бы. В теплой одежде, да еще с набитым мешком за спиной и обоймами по всем карманам бойцы рады были укрыться от почти тропи-

ческого ноябрьского солнца, главное же, им в теории предстояло атаковать этот католический форпост, для чего необходимо было приблизиться к нему.

Ровно через тридцать семь минут быстрого хода Лукач вышел к пыльной сельской дороге, ведущей от Серро-делос-Анхелеса наOuntains Пералес-дель-Рио, где должны были базироваться немецкое интендантство и перевязочный пункт. До них оставались считанные шаги, когда в монастыре вдруг бухнуло, будто лопнула квасная бутылка, одновременно что-то засвистело, свист оборвался: маленький снаряд воткнулся в почву где-то близко, и Лукач тут же углядел, где именно,— по другую сторону дороги взметнулась сухая земля, одновременно грохнуло, и с неба, стуча, посыпались камни. Лукач осмотрелся, чтобы понять, куда это они стреляют, и усмехнулся. Ну и дурни! Стреляли явно по нему, по идущему полем одинокому человеку. Идиотизм! По перепелке из трехлинейки.

Выйдя на дорогу, он зашагал к тылу. С трех сторон Пералес был обсажен платанами, а с четвертой — мимо глинистого берега текла мутно-желтая речка. Дорога вывела Лукача прямо к ступеням новенькой церкви. По бокам ее стояли два ряда тоже новехоньких одноэтажных домиков с чистенькими занавесками в закрытых окнах, а позади алтарной части — третья, замыкающая, линия таких же аккуратных коттеджей. Ни в одном из них, как и во двориках, не было заметно ни малейшего шевеления, словно это не поселок, а театральная декорация. Только на паперти, как статист из «Спящей красавицы», упираясь спиной в закрытую половину входных врат и вытянув ноги, мирно спал пожилой тельмановец.

Лукач разбудил его и попросил вызвать батальонного интенданта. На пороге церкви тотчас же показался небольшого роста невзрачный человек в испанской пилотке, должно быть сохранившейся еще с Арагонского фронта. Увидев перед собой самого командира бригады, он, при-

ставив большой палец к острому посику, а указательный — к красной звездочке на пилотке, проверил ее положение, вытянулся, щелкнув каблуками, ударил себя кулаком по виску и лишь после всех этих манипуляций доложил, дернув подбородком в направлении видневшейся даже отсюда траншеи, что недавно отправил туда сухой паек, состоящий из очень черствого хлеба и очень свежей ветчины. Фашисты, не жалея патронов, стреляют по нашим наугад и попадают все больше в листья и ветки деревьев и в землю. Все же одному из поваров оторвало пулей мочку уха. Все остальное, по мнению тощего интенданта, было в порядке, раненых в батальоне пока нет. Вот только польская рота куда-то отбилась.

— Как отбилась? — откликнулся он на поднятые брови генерала.— Никто не знает. Шли они в арьергарде на правом фланге, правее одна эта грязная речушка была. Как-никак преграда, ее,— он усмехнулся,— они не перешли, и все же роты нет с батальоном...

Заглянув в некоторые из домиков Пералеса — ни один не был заперт,— Лукач убедился, что они покинуты жителями, но внутри все выглядело так, будто хозяева вышли на минутку к соседям. Однако и соседи отсутствовали. Про себя он удивился и порадовался тому, что никто из тельмановской обслуги не входил в пустые дома хотя бы из любопытства. А опустели они начисто: ни одной лежащей на кровати дряхлой старухи нигде не осталось, как и ни единой овцы в каком-нибудь закутке, ни отбившегося цыпленка — уж он бы пищал не останавливаясь, даже все собачьи будки были пусты, да что там собачьи будки, если ни одна голодная кошка не мяукнула под крыльцом. Только воробьиные стаи перелетали с опустелого двора на вымершую улицу и обратно. Война пока лишь приблизилась к Пералесу, а уже сколько горя принесла...

Из Пералеса генерал Лукач прямиком направился в

ту сторону, где, по его расчетам, батальон Андре Марти должен был войти в масличные рощи перед стенами Серро-де-лос-Анхелеса. По пути он недовольно поглядывал на запыленные свои башмаки.

Справа все нарастала винтовочная трескотня, непрестанно перебиваемая лаем «гочкисов» и более высокими торопливыми очередями «максимов», слева же из глубины лесной поросли настойчиво постукивали пушечки четырех бронемашин, но через монастырскую ограду и громовой ружейно-пулеметный барьер звук разрывов их миниатюрных гранат не проникал.

Прошло еще с полчаса, когда Лукач, миновав крутой поворот, обрадованно увидел оба «опеля», прижавшиеся к прикрывавшему их откосу. Шоферы, по обыкновению, спали внутри. За одной из ближних олив он сразу заметил все того же мальчика, притаившегося с винтовкой. Помахав ему, чтоб ненароком не выстрелил, Лукач, хватаясь за торчащие корни, поднялся на поляну.

Войдя под масличные деревья, Лукач заметил, что Паччарди успел улучшить свой фронтовой быт. Под деревьями было расстелено несколько одеял. На одном из них, подложив под небритую щеку сразу два кулака, спал Галло. По соседству с ним сидели Паччарди и добряк Роазио. Шагах в десяти от них, тоже на одеяле, головами к центру его, лежали четыре бойца, вероятно связные, и, поочередно вылавливая перочинным ножом из консервной банки кусочки мяса, отправляли их в рот, за перочинным ножом по кругу ходила и фляжка.

Роазио, отодвигаясь, предложил командиру бригады добрую половину подстилки и, приподняв крахмальную салфетку, показал на толстые ломти испанской вяленой ветчины на белом хлебе. Едва Лукач в позе кочевого казаха уселся и взял бутерброд, как Галло проснулся и, приподнявшись на локте, спросил, что происходит в других батальонах. Лукач вкратце рассказал то немногое,

что ему удалось установить. Дослушав, комиссар бригады опять крепко заснул, будто и не просыпался. Последняя ночь, проведенная без сна, сухая жара, первая за сегодня сытость сделали свое дело: в неудобной позе, сидя спиной к стволу и уткнув в грудь подбородок, заснул и Роазио.

Лукач лег на спину, положив ладони под затылок. Вот уже больше пяти часов его бригада выполняла явно невыполнимый приказ о взятии Серро-де-лос-Анхелеса... Странно, но почему-то мертвая тишина перед итальянским батальоном начинала казаться угрожающей. Ощущение это шло от ее несоответствия шуму перестрелки, доносившемуся из-за того высокого холма, с которого они с Фрицем вели в два бинокля первые наблюдения. И все же. А вдруг неприятель готовит какую-нибудь неожиданность, вроде внезапной вылазки?.. Глупости! Что ж, он прямо со стен начнет сигать на итальянцев?..

Но вот слева и сверху стал доноситься однообразный шорох. Похоже, что кто-то двигался сюда. Лукач повернулся на бок и увидел, что все время бодрствовавший юнец, сунув винтовку в развилку корявой оливы и опустившись на одно колено, неумело прицелился, но тут же опустил приклад к земле и выпрямился. Вскоре в тень деревьев вступил загоревший за полдня, красно-медный Фриц. Лукач вскочил, жестом предлагая ему пройти в сторонку, чтобы не разбудить измученного Галло. Схватив за руки, он с нежностью усадил его на утоптанную траву, почти бегом бросился к спящим, выхватил из-под салфетки два куска хлеба с ветчиной, подхватил одну из лежащих тут же фляжек и понес все Фрицу. Тот первым делом схватился за флягу и запрокинул голову, но сразу же оторвал сосуд от губ и с отвращением воскликнул:

— Вино!

Лукач вторично кинулся к одеялам, отвинтил крышку другой фляги, плеснул из нее под оливу и еще понюхал горлышко на ходу. Фриц жадно и долго пил и так же


Модесто
Дуррути

жадно стал есть. Лукач дал ему немного утолить голод, и, держа второй бутерброд в руке, Фриц приступил к изложению своих наблюдений.

— Что ж, во многом ты оказался прав. Я сам углядел двух бойцов, так они, не подняв прицельной рамки, вели огонь, находясь по крайней мере в километре от Серро-де-лос-Анхелеса. Можно сказать, в спины своим. Должен заметить, что командир польской роты, о котором ты говорил, набитый дурак, и его сегодня же надо снять. Фамилия его... Постой, у меня записано... Вот: Зъявинский. Верно, что он, как и я, бывший царский солдат, но совсем другой, так сказать, породы. Рота, когда я ее догнал, отдыхала неизвестно от чего, кто сидя, а кто и лежа в кустах. После долгих поисков ко мне наконец привели Зъявинского. Оказывается, он, никого не предупредив, самовольно оставил роту и отправился в Пералес-дель-Рио напиться. Хорош гусь? Я приказал ему поскорее догнать батальон, который давно в бою, а он мне таким, знаешь, поучительным тоном отвечает: дескать, на войне, если не хочешь быть убитым, никогда не нужно торопиться. Начальство, оно, мол, всегда торопит, для того, значит, и поставлено, а старый солдат понимает, что к чему, даром спешить не станет и куда попало дуром не полезет... Позже, уже в батальоне, я узнал, что от большого ума он дальше повел роту бегом, сбился с направления и попал в тыл Андре Марти. У французов, говорят, тоже порядку немного...

— А где его много, порядка? — горько спросил Лукач.— Но продолжай.

— Если хочешь знать, у Людвига Ренна полный порядок. Около полудня из тыла доставили еду и два бочонка с вином, к сожалению не с водой. И стреляют они не куда глаза глядят, а стараются прицельно. За неимением саперных лопаток окапываются тесаками, чтоб хотя голову и грудь прикрыть, да и располагают индивидуальные

окопчики грамотно, используя естественные прикрытия... Я там часа три пробыл — и всего один раненый.

Фриц остановился и быстро доел второй бутерброд.

— А что у них за правым флангом? — спросил Лукач.

— До реки Мансанарес они сначала никого не нашли, а дальше к западу залегла под огнем бригада Листера...

— И ее тоже не поддерживает артиллерия?

— Мы бы слышали. Но местность у них не столь пересеченная, и четыре танка им придали. Только против монастыря этого, какая разница — танки или броневики?

Оба замолкли. Фриц с наслаждением, смакуя каждый глоток, допил оставшуюся во фляжке воду. Лукач провел ладонью по зачесанным назад мягким волосам.

— Хотел бы я понять, зачем наши затеяли все это?

Фриц не ответил. Итальянцы продолжали спать, причем Роазио негромко похрапывал. Лицо Галло отнюдь не выражало положенного во сне спокойствия. Между позициями батальона и монастырскими стенами длилась стойкая тишина. Пробивавшиеся сквозь кроны олив солнечные блики неподвижно лежали на спящих.

— Отдохни, пока можно,— предложил Лукач.— Этот вон парень сторожит. Я пробовал, но никак не засну.

— Какой уж тут отдых... Вот что я думаю. Очень возможно, что, воспользовавшись здешним затишьем, фашистское командование перебросило все силы отсюда против французов и немцев. Надо бы и здесь побеспокоить, хотя бы чтоб по остальным меньше били.

Через полчаса, сначала вялую, но постепенно все более оживленную стрельбу можно было сравнить с той, что весь день гремела по соседству. Но оттого ли, что гарибальдийцы ближе других подобрались к монастырским стенам или сидящие за ними солдаты нервничали, только на командном пункте Паччарди все чаще слышались разрывы ручных гранат. В бою участвовала теперь вся бригада.

Солнце начинало клониться к закату. Время от времени излетные пули врага достигали деревьев, изредка одна из них, чиркнув, срезала масличную ветвь, но чаще превращала отдельный лист в медленно падающую зеленую тряпочку.

Дело шло к вечеру, но пальба не затихала, хотя броневики, должно быть израсходовав снаряды, фыркая, уже прошли вниз. Начинало смеркаться. В надвигающихся сумерках незнакомый итальянский офицер привел на командный пункт, фактически превратившийся из батальонного в бригадный, заблудившегося Реглера. Он, как и Лукач, был без фуражки, волосы его растрепались и слиплись, френч расстегнулся, одна пола оказалась надорванной. О том, что он заместитель комиссара бригады, напоминала только звездочка в красном кружке, нашитая на нагрудный карман, и расстегнутая кобура, в которой лежал маленький браунинг.

Хрипло поздоровавшись, Реглер направился прямо по одеялам к стволу с прислоненной к нему последней, не выпитой еще фляжкой. Не отрываясь, он выпил ее до дна, небрежно отшвырнул, покачал головой над Галло, круто повернулся к Лукачу с Фрицем и еще на ходу отрывисто заговорил по-немецки. При первых же словах Лукач привскочил и бросил своему начальнику штаба:

— Во франко-бельгийском беда...

Реглер, отрубая короткие предложения и разделяя их довольно продолжительными паузами, рассказывал. Лукач еще короче и отрывистее переводил самое необходимое Фрицу:

— В масличных плантациях батальон Андре Марти рассыпался... как крупа... Командир не удержал управление в руках... Первыми перемешались роты, а там и все... Организованность сохранили всего два взвода... пулеметный и один стрелковый... На тот же участок вышла и отбившаяся польская рота... Часть ее не захотела сидеть

в последних рядах... От дерева к дереву некоторые поляки начали продвигаться поближе к монастырю, увлекая и французов... Большинство же остались позади и продолжали стрелять... Они думали, что убивают фашистов, фактически же били по тем, кто ушел вперед... Человек сорок ушедших вперед в безумном порыве вдруг кинулись к стене... Тогда фашисты стали бросать сверху ручные гранаты... Чтобы отправить раненых в тыл, Реглер пошел искать комиссара Жаке. Его видели то тут, то там, наконец какой-то политический респонсабль сказал, что Жаке пошел на левый фланг... Реглер направился туда и услышал с той стороны дикие вопли и топот... Прибавив шагу, он скоро увидел бегущих... Они вопили: «Мы окружены! Нас предали!» Еще он говорит, что самих истериков этих было немного, но их обезумелый ужас подействовал на всех, мимо кого они драли... Реглер вытащил свой дамский браунинг и, размахивая им, заставил остальных подобрать винтовки, повел их вверх и передал командиру взвода... И, представь, командир взвода некадровый, до отъезда сюда работал официантом в дорогом парижском ресторане... Так-то.

Реглер в изнеможении сел рядом с Фрицем под оливу, проехавшись по ней спиной.

— Послушай-ка, что мне представляется, — сказал Фриц.— Надо, брат, пока не поздно, не только оставшихся там французов вместе с поляками, но и оба других батальона отводить. Смотри, как быстро темнеет. А ну как фашисты заметят, что у нас в центре брешь? Подбросят, неровен час, резервы и разовьют контрнаступление? У них же регулярная армия, она подготовлена и к ночному бою. Что тогда?.. Начинай распоряжаться, пока время есть. Выведем всех благополучно и поедем в Мадрид на головомойку, но заодно зададим вопрос: где же была артиллерия? Если согласен, по рукам...

Несколько кусков ветчины с хлебом взбодрили Рег-

лера. Тем временем Лукач растормошил Галло. Вчетвером они посовещались, и все легко согласились с предложением Фрица. Сам он брался передать приказание командира бригады Людвигу Ренну. Галло брал на себя Паччарди, Реглер же, хотя и вздохнув, двинулся в недавнее расположение франко-бельгийского батальона. Лукач остался на месте.

Не прошло и часа, как, истомленный дневной жарой и двумя бессонными ночами, батальон Гарибальди, не претендуя на прусскую выправку, рота за ротой — только на сей раз командир впереди, а комиссар сзади — втянулся в выемку дороги и, вздымая невидимую, но ощутимую носом и гортанью мелкую пыль, потащился к Ла-Мараньосе. Минут через сорок проследовали и остававшиеся в арьергарде.

Лукач равномерно вышагивал вдоль обоих «опелей», туда и обратно. Кроме него, нигде поблизости не было ни души, если не считать шоферов, спящих головами на баранках. Где-то около часа на подъеме дороги стали различимы уверенные шаги, которые могли принадлежать единственно Фрицу. Небо, однако, так затянуло, что, хотя четкий строевой шаг приближался, рассмотреть во тьме худощавую фигурку начальника штаба не удавалось. Лукач пошел ему навстречу, окликнул и, когда Фриц приблизился, усадил его на приступок ближайшей машины. Фриц сказал, что он без затруднения вышел на тельмановцев. Правда, излишне бдительный часовой выстрелил по нему, когда он не дал отзыва, но так «метко», что Фриц и полета пули не слышал. Людвиг Ренн и его подчиненные действовали быстро, и меньше чем через тридцать минут батальон, будто только того и ждал, в походном порядке затопал к Пералесу-дель-Рио, откуда на Ла-Мараньосу идет вполне приличное шоссе. Отчитавшись, начальник штаба в ожидании Реглера забрался на заднее сиденье своего «опелька» и мгновенно уснул.

Лукач продолжал размеренно прогуливаться по шоссе, тонувшему в густом мраке и поистине оглушающей тишине — слыхано ли, чтоб ночью листья совсем не шелестели? Шагая, он никак не мог отвлечься от размышлений о сегодняшней операции. Неужели же решение о наступлении на Серро-де-лос-Анхелес было действительно принято для того, чтобы помешать дальнейшему неприятельскому давлению на Мадрид? Предположим даже, что мы взяли бы этот достаточно изолированный пункт, что бы изменилось? Разве потеря укрепленной позиции на дальнем фланге не компенсировалась бы дальнейшим продвижением к центру Мадрида?.. Или же все было затеяно лишь ради демонстрации республиканской активности? Значит, понадобилось кого-то убеждать в ней? Но кого? Кто проявляет столь нервную нетерпеливость? Подобные вещи бывают только вследствие чьей-то политической неискренности. Сейчас такого быть не может. Так в чем же дело? Неужели же карьерные соображения? Страшно и подумать! Но ничего, в Москве разберутся... Мысль, соскользнув на Москву, тут же перепорхнула в короткий, но широкий Нащокинский переулок, у Сивцева Вражка, переименованный в улицу Фурманова по настоянию друга Фурманова, одного венгерского писателя... Конечно же в недавно построенном там писательском доме все давно уже спят. Спят и не подозревают, что на противоположной окраине Европы некий испанский генерал еще бодрствует. Ох, как хотелось бы, при волшебной помощи какой-нибудь доброй феи, на одну-единственную минутку проникнуть в знакомую квартиру, влететь, скажем, в окно и хотя бы взглянуть на Вэрочку (она столько лет, смеясь, передразнивала это «э»), на Талу, которой, бедняжке, завтра рано вставать в школу, на племянника Белу... Только какое может быть окно, если уже 14 ноября? Холод. А в форточку при его комплекции даже стараниями доброй феи не пролезть... Поскорее бы письмо от них получить.

Но почта интербригад пока еще не налажена. Обещают на декабрь. А этот генерал уже написал им. Через Париж. Счастье, что помощник консула помог договориться с хозяйкой небольшого отеля «Лютеция»; она согласилась взять десять конвертов с уже написанным московским адресом и наклеенными марками, чтобы, когда на ее имя придет письмо из Испании, переложить его, заклеить и опустить в ящик. Как он был ей благодарен...

Трудно, должно быть, теперь Вэрочке без него. Что греха таить, он избаловал ее своими заботами: все труды, которые в его детстве почитались мужскими, неукоснительно брал на себя. Материально и жена и дочь без него обеспечены, а вот вниманием — нет, тут никто его не заменит... На вокзал его провожал один Бела, ему, как военнослужащему, было позволено, а им нет, с ними надо было проститься дома. Он просил Вэрочку и Талу не огорчать его слезами, но улыбаться, ему хочется запомнить их смеющимися. И в последний момент обе, украдкой вытирая мокрые глаза, пытались изобразить веселые улыбки, однако получались они очень жалобными...

Донесшийся издали неясный шум спугнул тревожащие душу воспоминания. Вслушиваясь, Лукач догадывался, что это Густав, еле волочащий тяжелые башмаки. Еще бы. Сутки на ногах, да в рот почти ничего не брал. Наконец в неподвижной черноте возникли контуры его фигуры.

— Надо будить Фрица и выезжать,— сказал Лукач.— Садись со мной, поговорим в машине. Работы на сегодня столько, что и за неделю не справиться, значит, пораньше надо за нее приниматься. Первое — это отвести бригаду в Чинчон и сразу же браться за ее реорганизацию. Ты же готовься к самому трудному — иди к французам. Ты их хорошо понимаешь, будем надеяться, что и они тебя поймут. Прежде всего попытайся разузнать, куда подевался этот самый Мулэн, командир их батальона. Найдешь, будем его перед ними судить. А нет — начинай разговари-

вать. Всегда можно доказать людям правду, если ты сам веришь в нее. Но мадридское командование все же смотри не компрометируй. Ничего вреднее нет для бойцов, чем потеря доверия к руководству, и тем более к верховному, а восстановить его потом почти невозможно. Вот увидишь сам, как тяжко будет вам, комиссарам, вылезать из теперешнего критического отношения и ко мне: ведь и меня, наверное, считают виновником неудачи...

Фриц, едва ему легонько стукнули в стекло, как на пружинах выскочил из машины. Зато шофера его понадобилось хорошенько встряхнуть. И своего Лукач тоже долго тормошил. В конце концов оба сели за баранки, но если Лукач и Реглер тут же услышали, как позади сдержанно и ровно заработал мотор машины Фрица, то их — никак не заводился. Стартер жужжал и жужжал, но все без толку. И шофер сдался, вышел, поднял капот и стал ковыряться в закапризничавшем моторе. Лукач тоже подошел, чтобы посветить ему своим фонариком. Мотор на их вмешательство не реагировал. Так прошло еще минут десять. Наконец терпение Фрица лопнуло.

— Послушай, Лукач,— решительно начал он, подходя,— между нами и неприятелем ничего нет, кроме маслин и пожухлой травы, а шума мы производим вполне достаточно, чтобы сюда подполз марокканский патруль и какими-нибудь десятью выстрелами уложил бы нас всех. Давайте-ка в мою машину, пока не поздно.

Выключив мотор и не зажигая фар, исправный «опель» бесшумно покатил вниз. Лукач, зажатый между Реглером и Фрицем, высказывал ему свое огорчение:

— Ты пойми, ну куда я теперь годен, без машины? Выделили мне испанцы этот шустрый «опелек», а я, изволите ли видеть, в первом же бою его потерял. Что ж, другой автомобиль просить? А где им взять?

Выпив кофе, который доставило заботливое немецкое интендантство, Лукач и Фриц прилегли на часок в отве-

денном им домике, предварительно договорившись по телефону, что за бригадой немедленно будет прислан транспорт для доставки ее в Чинчон. И действительно, уже с десяти начали подходить первые грузовики.

Около одиннадцати, когда последняя машина выехавшего батальона Тельмана уже была в полукилометре от Ла-Мараньосы, пасмурное с ночи небо начало как-то вздрагивать. Дрожание это вскоре перешло во все усиливающееся гудение, и на главной площади вдруг раздался испанский возглас: «Aviation!» Из-за туч выплыли три медленно и очень низко летящих «юнкерса». Едва бомбардировщики, похожие на три допотопные гигантские рыбины, достигли окраинных крыш, пронзающий душу свист прорезался сквозь оглушающий рев девяти моторов, и тотчас же загрохотали разрывы. Не успели стихнуть их раскаты, как в уши снова вонзился острый свист, и грохнули новые бомбы. Возможно, это повторилось бы еще раз, но стальные чудовища уже пронеслись над вздыбленным местечком, грозный гул их быстро удалялся, и уже были слышны удары о землю падающих с неба камней, дребезжащий лет черепиц и воющий женский плач с причитанием.

А через несколько минут выяснилось, что среди местных жителей были раненые. Те же, из-за кого был совершен налет, почти не пострадали: среди волонтеров не было ни одного раненого и всего лишь один убитый — двадцатилетний повар батальона Андре Марти.

К двум часам вся бригада покинула Ла-Мараньосу, оставив в ней некоторые подсобные службы.

Лукач, рядом с Фрицем пересидевший бомбежку над картой, которую начальник штаба разложил на столе красного дерева в гостиной брошенного хозяевами коттеджа, пошел поклониться убитому. В большом кабинете не было ни души. Взяв шапочку под мышку и обеими руками опершись на трость, командир бригады некоторое

время молча всматривался в нездешнее лицо погибшего, вздохнул, вытянулся, щелкнул каблуками, низко склонил голову и вышел...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Через много лет министр иностранных дел НРБ Луканов (бывший начальник штаба Двенадцатой интербригады Белов) продолжал считать, что главным подвигом Лукача было то, что после неудачи под Серро-де-лос-Анхелесом он не отказался от полуразвалившейся бригады, но принялся за ее реконструкцию и восстановление. Однако внутренне он еще долго мучился пережитым унижением. И лишь много времени спустя, проезжая по Валенсийскому шоссе, с которого были отлично видны справа в отдалении готические крепостные вышки, Лукач, при всем нежелании проявлять свои чувства, сказал адъютанту: «Ишь, торчат проклятые! А ведь не одни мы, но и Листер, да еще с помощью тяжелой артиллерии, атаковал их, тоже без толку. И наблюдатели с них все глазеют сюда, считая, сколько и чего, ввозят в город и вывозят из него. Главное же, колокольни эти напоминают о невольном нашем позоре...»

Гораздо позже дивизия Модесто взяла Серро-де-лос-Анхелес. Лукач узнал об этом на очередном совещании в подвале, в изложении, можно сказать, анекдотическом и вызвавшем общий смех. Не смеялся лишь Лукач и сам рассказчик. Проделавший дорогу в Испанию вместе с Батовым, советский майор, командир полка Ленинградского военного округа, он под именем Ганса был назначен советником к Модесто. Нескладный, не похожий на военнослужащего, с простецким лицом, Ганс заметно опоздал на совещание, однако ничуть не был смущен ни этим, ни тем, что Гореву пришлось прервать свое вступительное слово. Наоборот, Ганс выглядел как-то даже победоносно, и Горев

недовольно спросил, чему товарищ Ганс, собственно, радуется? Своему опозданию? Круглолицый Ганс на это торжественно ответил, что вот с час назад Модесто овладел монастырем на горе, название которой никак не выговорить, захвачено до двухсот пленных, четыре «гочкиса», неисправное орудие мелкого калибра, еще не подсчитанное количество винтовок и другой амуниции. Горев повеселел и попросил рассказать, как это произошло? Ганс объяснил, что ведь они с Модесто каждую неделю предпринимали атаки. Чему же удивляться? Как всегда, значит и сегодня, люди вышли из траншеи и опять залегли, только он, Ганс, сегодня рассердился и сам скомандовал, и оно подействовало: все враз бросились и через полчаса, значит, взяли. «Ты что-то несусветное городишь,— перебил Горев.— Как это — скомандовал, через переводчика, что ли?» — «Зачем — через переводчика? — не согласился Ганс.— Я по-испански скомандовал: «Адиляньти!»[1] *Сперва будто никто и не слышал. Все, значит, продолжают лежать. Я громче кричу: «Адиляньти!» Опять лежат. Ну, я как заору: «Адиляньти!»— и по матушке, выходит, прибавил. Тут они и рванули. Лестницы тоже помогли. Лестниц мы штук двадцать запасли, да еще и бреши в стене...»*

Вскоре после бомбежки Фриц уехал в Мадрид обсудить с Горевым и другими советниками все происшедшее. Лукач же пока считал себя не вправе хотя бы на несколько часов оторваться от бригады. Без куртки, в белой рубашке, он, как всегда, очень старательно чистил на крыльце коричневые полуботинки на толстенной подошве, когда за калиткой возник и открыл ее длинный Никита. Как он выразился, последние остатки населения покидают

---

[1] Искаженное испанское «аделанте» — «вперед»..

Ла-Мараньосу, а вместе с ними выезжают и оставшиеся французы, хотя их и на роту не наберется. Здесь останутся кроме самого Лукача и еще коронеля склад тельмановского интендантства под охраной двух человек и ремонтная мастерская.

— Хозяйственные они все же люди, германцы эти, товарищ генерал,— разглагольствовал Никита.— А я даже часового у вашей квартиры поставить не могу, в моем распоряжении ни одного бойца... Прошу разрешения лично отбыть в Чинчон. Там у меня свой склад, раз в десять побогаче тельмановского, так как бы его там не того...

Смуглое и в то же время бледное, с резко прочерченными вдоль впалых щек морщинами, нервное лицо Никиты выражало искреннюю озабоченность, и Лукач отпустил его. Как-никак он интендант бригады, а не приставленная к командиру бригады пяпька. И все же, надевая заблестевшую, как на рекламном плакате, обувь, он вдруг тоскливо ощутил полное свое одиночество. И Сегал еще куда-то провалился. Адъютантом он, конечно, больше оставаться не может, уж слишком перетрусил тогда, при первых же выстрелах, но переводчиком его следовало бы зачислить.

Он нахлобучил своеобразный свой картуз, взял палку и вышел посмотреть, что на белом свете делается. Получалось, что онп с Фрицем остались здесь чем-то вроде передового поста республиканцев вместе с несколькими обозниками батальона Тельмана. По прямой до противника было вряд ли больше трех километров, и перед наступлением Двенадцатой все пространство от Ла-Мараньосы до Серро-де-лос-Анхелеса считалось территорией мятежников. Да и теперь неизвестно, продолжают ли они отсиживаться за неприступной стеной или уже заняли хотя бы часть простирающейся по эту ее сторону ничьей земли. Давно следовало бы послать разведку, да некого...

Дойдя до окраинных домов, он некоторое время по-

стоял, задумчиво глядя на дорогу, уходящую в гору к оливковым рощам, на сами эти оливы, сливающиеся в темно-зеленые полосы, на шпили над ними, за которые цеплялись низкие рваные облака. Ни малейшего шевеления там не обнаруживалось. Он повернулся и зашагал обратно. В этой половине поселка никаких следов бомбардировки не было, но он будто вымер: все дома были заперты, замкнуты на ключ, даже калитки наглухо закрыты, а многие еще и задраены деревянными или металлическими жалюзи.

Свернув к себе на Калье Майор, он издали увидел, как из боковой улочки вылетел пустой грузовик с дощатым ярко-зеленым кузовом. Громыхая, он помчался по направлению к Чинчону, но вдруг, заскрежетав тормозами, стал. Перескочив через ограду домика, несколько весьма расхлыстанных волонтеров побросали винтовки в грузовик, как кошки, цепляясь за борта, прыгали в кузов. ЗИС-5 рванул, словно его хлестнули, и тут же птицей перелетел палисадник еще один, видимо тоже француз. Бросившись за грузовиком, он швырнул в него винтовку, догнал, обеими руками ухватился за задний борт, поддал вверх и перевалился внутрь. Лукач остановился, грустно посмотрел вслед и, вздохнув, двинулся дальше.

Пересекая центральную площадь, в углу которой виднелась медная трубка, вделанная в гранитный постамент, с текущей из фигурного конца ее струей родниковой воды, Лукач почувствовал жажду. Вода оказалась до того холодной, что даже зубы заныли. Пока он пил, в глубине площади приоткрылась и сейчас же закрылась дверь нежилого на вид дома. Быстрым шагом Лукач направился к подозрительной двери. При его приближении она широко раскрылась. Оказалось, что именно здесь помещался склад немецкого интендантства с двумя пожилыми бойцами, владеющими на двоих одной винтовкой. По той же Калье Майор Лукач дошел до противоположного конца

Ла-Мараньосы и там, в брошенном на произвол судьбы гараже, нашел еще трех тельмановцев. Ни одного автомобиля в гараже, понятно, не было, но зато в нем обнаружился шофер оставленной врагу машины Лукача. Лежа на верстаке и положив голову на старую шину, он продолжал спать и здесь.

Лукач возвращался к себе, раздумывая о том, что эти пять тельмановцев представляют, между прочим, всю воинскую силу, имеющуюся сейчас в его распоряжении на три, если не на пять километров в окружности, и уже приоткрыл калитку своего дома, когда довольно далеко — возле источника, где недавно утолял жажду,— увидел группу лежащих вооруженных бойцов. Что бы это могло означать? На большинстве была форма цвета песков пустыни, но вместе с поляками, судя по обмундированию, возлежали и французы. Захлопнув калитку, Лукач заторопился к площади, как можно громче стуча палкой, чтобы предупредить о своем приближении. Однако ему скоро стало ясно, что бойцы эти спали мертвым сном. Почти все лежали на спине, раскинув руки и ноги. Подходя, он не без удивления узнал между ними того самого пожилого царского солдата, с которым разговаривал несколько дней назад в Альбасете. А вообще он не ошибся: кроме двоих, все были из польской роты.

Когда до них осталось несколько шагов, один, лежавший на боку, тронул рукой своего соседа. Тот вскочил, поправил сползшую на лицо пилотку и сначала нетвердо, но постепенно выравнивая шаг, пошел навстречу командиру бригады.

— Откуда вы взялись? Почему не со своей ротой? Разве вы не знаете, что вся бригада давно в Чинчоне. Где это вы до сей поры прятались? — сердито проговорил Лукач по-русски, считая, что этот польский юноша поймет его.

Тот вытянулся и четко отдал честь.

— Товарищ комбриг...— начал он.

— Вы умеете говорить по-русски? — перебил его Лукач.— Тогда еще раз спрашиваю: как вы все сюда попали? Почему не со своими?

— Мы, товарищ комбриг, только что оттуда,— качнул тот подбородком в сторону Пералеса-дель-Рио.— Думали найти бригаду здесь, но, оказывается, тут никого нет. Мы давно ничего не ели и очень устали. Кроме своих мы несли еще три винтовки и еще вон «льюис» с двумя дисками. Надеялись здесь подкрепиться, а раз это не вышло, напились только и решили, перед тем как идти дальше, хоть немного отдохнуть.

— А как вы в Пералес попали? Из интендантства вы, что ли?

— Никак нет. Мы только прошли через Пералес. А шли мы от монастыря, товарищ комбриг. На который наступали.

— Ничего не понимаю. Оттуда же все ушли еще ночью. Где же вы ночевали?

— В окопах, товарищ комбриг, которые немецкие роты утром взяли. Мы не одни там спали, а, вероятно, человек сто или полтораста. Но к рассвету все потянулись в тыл. В конце концов нас всего девять осталось, и мы вернулись под маслины ждать возвращения бригады.

— Вы рассчитывали, что она вернется?

— А как же иначе. После того как часть французов драпанула... Виноват, я хотел сказать — побежала...

— Откуда вам стало известно, что она, как вы изволили выразиться, драпанула?

— Они через наш взвод бежали. Один мне с разбегу на левую руку даже наступил. Вот: распухла. Хорошо, что не на правую...

— Но каким образом польская рота в расположение французского батальона попала?

— Зъявинский ее так повел. Мы и оказались в арьер-

гарде левого фланга батальона Андре Марти, но первые три взвода продвинулись поближе к стене, а наш остался, где было приказано. Нашим взводом командовал бывший поручик, товарищ Остапченко, член Французской коммунистической партии. К сожалению, он заболел. Вон лежит...

— Польский украинец?

— Никак нет. Он русский.

— А вы сами кто? Поляк? Где это вы так научились по-русски?

— Русский я. Из Парижа.

— Да ну? Сколько же вам лет было, когда вы сочли для себя политической необходимостью эмигрировать?

— Четырнадцать лет. Меня отчим вывез.

— И когда?

— При эвакуации Новороссийска. Весной двадцатого.

— Выходит, вам уже тридцать, а выглядите на двадцать с небольшим.

— Мне тридцать один.

— Вы на редкость моложавы. Но не огорчайтесь. Знаете поговорку: маленькая собачка до старости щенок. А теперь объясните мне другое. Вы же собирались ждать возвращения бригады, а все же ушли. Почему?

— Мы, товарищ комбриг, ничего не ели и даже не пили с Чинчона, с позавчерашней, значит, ночи, и, конечно, сигареты все выкурили. Очень, понятно, ослабели. А к полудню со стороны Пералеса подошел испанский батальон в тысячу с чем-то человек и занял эту пустую траншею, где мы спали. Среди нас один испанец есть, Фернандо, вон тот, самый маленький. Родители его давно переехали во Францию, он в ней и родился, так что по-французски не хуже, чем по-испански, говорит. Послали мы его к траншее с четырьмя фляжками воды принести. Только напрасно. Воды у них у самих почти не было, лишь дали ему напиться, и все. А офицеры сказали, что

они пришли на замену «интернасионалес» и что те совсем отсюда ушли. Мы сочли тогда, что и нас они сменили...

— Вы и сами не знаете, как важно то, что вы рассказываете. Позже мы в этом подробно разберемся. А сейчас надо поскорее всех вас накормить. Разбудите-ка кого покрепче и пошли. Вас как звать?

— Алексей, но как-то все до сих пор Алешей зовут.

Он растолкал двух рослых поляков. Лукач сделал им знак оставить винтовки возле спящих и быстро зашагал впереди. Как и в прошлый раз, вход в тельмановский склад раскрылся до того, как генерал успел постучать. Два немолодых немца, прижав кулаки к беретам, окаменели за порогом. Лукач повелительно сказал что-то по-немецки. И оба забегали. Сначала они расстелили одеяло на плитах перед входом, потом принялись носить и укладывать на него: девять белых буханок, девять банок корнбифа, пять банок джема, килограмма два ветчины, двадцать светло-желтых пачек французских сигарет и столько же плоских картонных пакетиков с картонными же спичками. Все это один из кладовщиков, похожий на маленькую ожившую мумию, отмечал в тетрадке с клеенчатой обложкой, а когда оба поляка взялись за края одеяла, чтобы тащить эту скатерть-самобранку, он протянул тетрадку вместе с карандашом Лукачу, а тот передал ее Алеше и предложил расписаться.

— Когда поедите, все приходите в дом на главной улице. Номер его... Лучше проводите меня до угла, я покажу. Вон, видите зеленую калитку? — Он показал палкой.— Будьте там, ну, скажем, часа через два... У вас есть часы?

— Никак нет. Француз этот, что на руку наступил, раздавил. Но у других есть...

— Значит, через два часа.

Лукач тем временем успел опять сходить в гараж, где о чем-то побеседовал в сторонке со старшим из немцев,

оказавшимся автомехаником, после чего решительно растормошил своего водителя, похожего на заболевшего летаргией, и приказал быть готовым к выезду за оставленной под монастырем машиной. Шофер, дважды выслушав и наконец поняв, заметно помрачнел, Лукач же возвратился к себе повеселевшим.

В занимаемом им и Фрицем уютном домике он поставил на стул свой чемодан, отпер его, раскрыл, аккуратнейшим образом переложил на стол лежавшие сверху вещи и достал парижскую коробку со светло-серой почтовой бумагой и конвертами. Сел и меньше чем за час написал письмо в Будапешт любимой своей племяннице Лауре. Но писал его отнюдь не ее дядя Бела, а только что изобретенный венгерский коммерсант средней руки, заехавший в Испанию по торговым делам в не слишком подходящее время. Несколько ранее торговец этот будто бы познакомился где-то такое с ее дядюшкой, и тот просил, при случае, передать ей самые нежные приветы, а также вручил некоторую сумму, чтобы перевести ей от его имени.

К тому времени как к калитке плавно причалил «опель» Фрица, письмо было уже запечатано, а сам Лукач разгуливал по комнате, удовлетворенно насвистывая. Прошло уже почти три месяца со дня, когда он закончил последний роман и сдал в «Новый мир», и с тех пор не писал ничего, имевшего хотя бы отдаленное отношение к литературе... «Закончил» — не очень-то, собственно, к месту в данном случае. В предвидении предстоящего путешествия на самый запад континента и полного своего преображения он вынужден был ускорить работу над книгой, и понятно, что окончание ее получилось скомканным, схематичным и откровенно декларативным. Только что вложенное в конверт письмо возбудило его: ведь, по сути дела, это был некий экзерсис, вроде тех, какие барышни без конца разыгрывают на пианино. Ему пришлось пере-

воплотиться в этого сочиненного им человека, ничем не интересного, даже банального, полностью выраженного в его приторной эпистолярной вежливости. Интересно, скоро ли удастся выслать отсюда деньги? Еще задолго до смерти отца он получил в Москве разрешение переводить ему пусть и скромную сумму, но зато регулярно. После его кончины деньги продолжали поступать на имя Лауры.

Войдя в комнату, Фриц сразу же принялся излагать свои впечатления от встречи со старшими мадридскими советниками. Неудача атаки на Серро-де-лос-Анхелес объяснена, бесспорно, объективными причинами: отсутствием в Мадриде резервов, недостачей снарядов, особенно крупных калибров, а также излишней централизацией управления артиллерией; упоминалось еще и отсутствие связи.

— Я, со своей стороны, старался не осложнять положения и не распространялся о моральном состоянии бригады, в частности о возникновении недоверия к нам с тобой и, вероятно, к командирам батальонов. Главное, в чем я сейчас убежден: раньше чем через неделю нас никуда не пошлют. Наше место на этом участке должен занять Листер...— Фриц остановился, увидев через окно с десяток входящих во дворик бойцов.— Это кто такие?

— Моя находка. Последние, кто вышел из-под Серро-де-лос-Дьяволос. Я обнаружил их на площади. Думаю, для начала зачислить их в охрану нашего будущего штаба, а там видно будет... Сейчас я приведу одного парня, он тебе обстановку расскажет.

Лукач вышел на крыльцо. Последним миновал калитку, закрыл ее за собой и, стукнув прикладом о землю, вытянулся очень худой, трое суток небритый, но даже при этом неправдоподобно юный Алеша. Предложив остальным располагаться на кухне и в сарае, Лукач пригласил его в комнаты. Алеша, увидев Фрица, вторично стукнул прикладом — теперь о паркет — и ткнул кулаком в ствол.

Лукач усмехнулся:

— Это Алеша из Парижа.

— Здравствуйте,— пробасил Фриц, вынимая карту и раскладывая ее на столе.— Вы карту читать умеете?

— Когда-то в корпусе учили.

— Тогда докладывайте, что знаете, а сможете — и покажите.

Алеша изложил все, что с ним и его товарищами произошло.

— Когда мы прошли мимо занявшего окоп испанского батальона и стали видимы из монастыря, по нас начали стрелять из мелкокалиберного орудия. Нас было всего девять, а они пять снарядов выпустили. Можно сказать, из пушки по воробьям стреляли, и очень неточно — ни один близко не разорвался.

— Вчера они в меня одного целили,— вставил Лукач.

— Чего не могу понять,— заговорил Фриц,— как это могло быть, чтобы командование регулярной армии дозора ночью не выслало? Но если б выслало, то, дойдя до траншеи, где вы отсыпались, забросали бы ручными гранатами. Вас там, говорите, до ста человек собралось, а часовых небось не выставили?

— Никак нет. Часовой был. Но перед рассветом, когда все уходили, нас девятерых в траншейном отсеке, возможно, не заметили, и уж тут мы остались без охраны. Да, чуть не забыл: после того как нас обстреляли из пушки, прилетели три бомбовоза и пробомбили оливы во всю длину между стеной и окопом.

— Три их было?

— Так точно, три.

— Они и здесь бомбили,— пояснил Лукач.— Скажите, а вы твердо убеждены, что после вашего ухода в оливах никого не осталось?

— Совершенно уверен, товарищ комбриг. Мы же еще затемно туда вернулись и весь участок обшарили. Кем-то

брошенный «льюис» пашли с парой дисков и три винтовки, так что человека прозевать никак не могли, даже убитого. Часа три подряд мы и огонь по монастырю открывали. Хоть в общем и бесполезный, но обойм там повсюду очень много валялось, все равно не унести. А чтоб фашисты думали, что нас много, мы время от времени меняли свои позиции. Почему-то сегодня они не отвечали, а, выходит, это па нас девятерых выслали авиацию, но мы уже на километр тогда отошли.

— Странное все же поведение для кадровой армии,— складывая карту, удивлялся Фриц.— Кустарщина какая-то...

Уложив ее в планшет, он и Лукач стали собираться в Мадрид и, провожаемые Алешей, скоро уехали. Перед тем как захлопнуть дверцу машины, Лукач поручил ему составить по-французски список на девять человек, последними вышедших из-под Серро-де-лос-Апхелеса, в котором кроме имени и фамилии указать год и место рождения, отбывал ли воинскую повинность и где, имеет ли звание, а также в каком батальоне и роте числится.

Найдя в комнатах писчую бумагу, ручку и фиолетовые чернила, Алеша опросил своих товарищей и составил список. За исключением двух человек из батальона Андре Марти — молодого Лягутта, с которым он познакомился еще в поезде, везущем их в Перпиньян, да еще приятеля его, Фернандо,— все остальные были из польской роты. Офицерское же звание раньше носил только Иван Иванович Остапченко, прославившийся до Испании тем, что в 1935 году стал чемпионом по шахматам в Эльзасе, где он работал на металлургическом заводе. В Альбасете, как Алеша уже докладывал Лукачу, низкорослого Остапченко поставили командовать четвертым взводом, в котором Алеша, как бывший кадет, стоял во главе четвертого же, самого мелкого, отделения. Все остальные числились рядовыми. Но если альбасетский знакомец Лукача царский

солдат Юнин обладал опытом участника мировой войны, а позже и гражданской, то Лягутт и громадный поляк Гурский служили лишь в мирное время: первый — во французской; второй — в польской армиях, другие же два поляка нигде и никогда до Испании не держали в руках оружия, так же как и Фернандо, и сам Алеша, и русский болгарин Ганев, сельский учитель из Бессарабии.

Пока Алеша возился со списком, его товарищи не теряли времени даром и навели в одном из трех обитаемых домов Ла-Мараньосы чистоту и порядок: затопили в кухне плиту, накачали воды в кувшины и умывальник, намололи гору кофе, подмели не только в комнатах, но и во дворике, даже напоили и накормили бродивших с раскрытыми клювами, жалобно квохчущих, жаждущих и алчущих кур.

Окончив список, Алеша, уже руководясь им, первым в караул назначил Юнина. Часовой, по его замыслу, должен был находиться не на улице, где его довольно просто снять, а скрытно, во дворе за курятником, но лицом к Серро-де-лос-Анхелесу, единственному месту, откуда, по убеждению Алеши, могли грозить неприятности. Лягутт, как и большинство французов, знающий толк в кулинарии, под вечер избрал спящую на насесте молодую курочку, мгновенно, так, что она и пикнуть не успела, зарезал ее, ощипал, выпотрошил, натер солью и уложил в сотейник вместе с несколькими картофелинами и какими-то травами. Пока курица шипела в духовке, Лягутт спустился в погреб и благоговейно, стараясь не взболтнуть, вынес бутылку красного вина. Затем, будто в отдельном кабинете ресторана, он сервировал в столовой ужин на две персоны и, отправляясь спать, наказал Алеше, когда «камарад женераль» и «камарад колонель» прибудут, разогреть курицу, не поднимая крышку, на самом медленном огне, а кофе сварить перед тем, как они закурят.

Лукач и Фриц возвратились в пустую и тихую Ла-

Мараньосу уже после часа ночи. Будто почувствовав их приближение, Алеша минут за двадцать перед тем подогрел курицу и поставил воду для кофе. Относя к концу ужина две благоухающие чашечки, он с удивлением увидел, что ни командир бригады, ни начальник штаба не притронулись к уникальному вину и даже не закурили.

Разбудив Ганева, заступавшего под прикрытие курятника на дежурство в третью смену, Алеша решил обследовать окрестности и через полчаса вернулся совершенно успокоенный: вокруг простиралась застроенная пустыня, нечто вроде раскопанной Помпеи. Он постоял возле Ганева, вместе с ним всматриваясь в непроглядную тьму, и пошел в кухню подремать.

Наутро Лукач и Фриц с нескрываемым наслаждением напились кофе, но и после этого не закурили. «Не пьют и не курят. Аскеты какие-то...» — подумал Алеша, но мысли его были нарушены просьбой Лукача помочь разобраться в поданном ему списке. Узнав об офицерском стаже Остапченко, Лукач вынул из планшета красный с одного конца и синий с другого обоюдоострый карандаш и вычеркнул эту фамилию.

— Нельзя у поляков командира взвода отнимать. Вообще же я собираюсь зачислить вас всех в охрану штаба. Согласитесь, что на такую службу невозможно брать того, кто двадцать лет назад имел в подчинении роту русской пехоты. Это была бы оскорбительная дисквалификация. Передайте это товарищу Остапченко. А сами, будьте добры, перепишите всех без него и составьте от имени командира бригады два письма — одно командиру батальона Тельмана, второе командиру батальона Андре Марти — с приказанием отправить в распоряжение штаба бригады таких-то и таких-то. А сейчас постройте, пожалуйста, своих друзей на улице, перед домом.

Через несколько минут, успевшие побриться и помыться, восемь человек стояли по ранжиру в одну шеренгу.

Вскоре во дворе появился командир бригады, и, пока он открывал и закрывал за собой калитку, Алеша подал французскую команду. Идеально выбритый, в начищенных ботинках, пахнущий одеколоном, Лукач приложил кулак к козырьку, опустил руку и попросил Алешу переводить для не понимающих по-русски. Поблагодарив вытянувшихся перед ним бойцов за выполненный до конца долг волонтеров интернациональных бригад и за то, что, несмотря на крайнюю усталость, они вынесли брошенное другими оружие, в нынешних условиях поистине драгоценное — три винтовки и ручной пулемет со снаряжением,— Лукач продолжал:

— Как вы сами могли убедиться, командование бригады до прошлой ночи никем не оберегалось, что противоречит полевому уставу любой армии, а в прифронтовой зоне — недопустимое легкомыслие. Сегодня я решил составить из вас, так убедительно доказавших свою надежность, первую охрану будущего штаба бригады. Начальником ее назначается тот, кто фактически руководил вами со времени отхода франко-бельгийского батальона и привел сюда. Теперь слушайте. В двенадцать тридцать к гаражу на выезде по направлению к Чинчону, вон с той стороны, подойдет грузовик забрать кое-какие инструменты. Он доставит вас в ваши батальоны. На третьи сутки я вас затребую. Пока всего доброго. Прошу товарища Остапченко подойти ко мне. А вы, Алеша,— он произносил «Алоша»,— останетесь здесь: дело есть.

В измятой форме, бледный после болезни, Остапченко вытянулся в двух шагах от генерала. Лукач очень серьезно проговорил несколько слов, от которых Остапченко порозовел и, склонив голову, крепко пожал протянутую руку генерала, отчетливо повернулся кругом и обычным шагом отошел к остальным.

Вскоре в доме остались только командир бригады и начальник штаба.

— Фриц, родной,— просительно заговорил Лукач.— Хочу тебя об одном личном одолжении попросить. Дай-ка ты мне свою машину на часок. Есть тут один немец, он автомобильный механик. Договорились мы с ним попробовать вытащить мою машину. А то на душе как-то нехорошо, ведь испанское народное добро бросили. Дашь?

— Еще спрашиваешь! Я и сам с тобой поеду. Все-таки лишние две руки. Только давай поскорее. Вечером же нас опять в подвале ждут.

За четверть часа машина Фрица обернулась. Теперь в ней рядом с Лукачем, держа на коленях холщовую сумку с инструментом, сидел тельмановский механик, а возле шофера — водитель Лукача в обнимку с остро пахнувшей бензином канистрой. Механик поспешно пересел вперед, прижав канистру и ее обладателя к рычагу скоростей, а Фриц устроился с Лукачем.

— Вы с нами поедете,— через опущенное стекло повернулся генерал к Алеше, вышедшему за ними на улицу.

Вернувшись с вырученным «опелем» в Ла-Мараньосу, где не осталось больше никого — ни живого, ни мертвого, Лукач и Фриц уложились и перенесли вещи теперь каждый в свою машину. Забрав механика, Фриц выехал, Лукач же в сопровождении Алеши обошел комнаты, кухню, сарай и двор, проверяя, не осталось ли каких-либо следов пребывания в них интеровцев, раскрыл курятник и калитку, заметив, что так куры легче прокормятся, и только тогда сел в свой «опель». На шоссе он принялся заинтересованно расспрашивать Алешу, как это случилось, что он в четырнадцать лет умудрился стать эмигрантом? В какую страну попал? Почему до революции учился в кадетском корпусе, а потом в Югославии опять оказался в нем? Алеша отвечал довольно обстоятельно, и дорога до Чинчона пролетела незаметно. Там Лукач

высадил его на площади, откуда бригада позавчерашней ночью выезжала на фронт, сообщил, что польская рота помещается по-прежнему в бывшей конюшне эскадрона гуардиа де асальто, и приказал через двое суток ровно в восемь утра стоять на этом самом углу, захватив с собой свое имущество.

Когда машина Лукача остановилась у дома, откуда Лукач вышел тогда, чтобы отправить три неуправляемых батальона в сражение, ему явственно вспомнилось все, что он в тот момент пережил, и в сердце его запоздало проник острый холодок... Однако если потери меньше, чем могли быть, то бурное негодование большинства волонтеров превосходит допустимые пределы. Во всем они винили его одного — и в том, что, выводя их в контрнаступление, он не предусмотрел участия тяжелой артиллерии, и в абсолютном отсутствии связи, и в неорганизованности медицинской службы, и даже в том, казалось бы, очевидном обстоятельстве, что четыре броневых автомобиля не могли, а потому и не пытались проломить крепостные стены. Не может же он теперь объяснить всем и каждому, что весь этот теоретически неоправданный замысел с самого начала показался ему маниловщиной и что он, как мог, возражал против него. Это было б не чем иным, как злостным подрывом основ воинской дисциплины в целях самооправдания. Ничего не поделать. Необходимо, отложив самолюбие в сторону, принять ответственность на себя и продолжать, стиснув зубы, день и ночь трудиться над завершением формирования бригады, собирать ее штаб, немедленно организовывать постоянную и в любых условиях действующую телефонную связь с батальонами, обеспечить общебригадные медицинскую и интендантскую службы. Да мало ли что необходимо!

Вечером он долго не мог заснуть, и знал почему. Самолюбие. Уязвленное самолюбие. Но ведь все уже в прошлом. Густав напомнил ему вчера библейскую легенду

о жене Лота. Нарушив запрет ангелов, она оглянулась на гибнущий грешный город, в котором жила, любила и родила своих красавиц. А оглянувшись, превратилась в соляной столп. Нельзя, нельзя, никак нельзя оглядываться. Будем же смотреть вперед, и бодро смотреть. В Чинчоне нам предстоит провести еще два дня, и где-то в двадцатых числах опять пошлют на фронт. Только к тому времени это будет уже не толпа, а бригада. Появится штаб, собственно уже появляется, и телефонная связь тоже. Понемножку все образуется. Практический опыт, который приобрели наши люди под Серро-де-лос-Анхелесом, стоил дорого, но и дал больше, чем самые продолжительные занятия на полигоне. Теперь все узнали и как обращаться с заряженной винтовкой, и как бросать ручную гранату, и как вести себя под пулями. Единственное, чему надо и дальше учить,— это борьбе со скученностью. Преодолеть тягу к скученности не так-то легко, ведь в основе лежит инстинкт. Испокон века люди старались в опасности держаться поближе друг к другу. Когда-то при нападении пещерного медведя скученность спасала, охота же на мамонта иначе, чем густой толпой, вообще была невозможна. Но и гораздо позже тактика спрессованных масс стала азбукой в науке ведения войны. Это в плоть и в кровь въелось. Так что одними предупреждениями насчет того, что делает мина или авиабомба, попав в толпу, тут не ограничишься. Завтра же с утра Фриц должен начать занятия с Паччарди и Ренном на темы: «Батальон в обороне» и «Батальон в наступлении». Им, конечно, покажется скучно. Сами, мол, знаем. Только с конца восемнадцатого, когда они отвоевались, тоже ровно восемнадцать лет протекло, а значит, оба старым багажом живут. Фриц же недавно академию кончил, кой-чего нового там узнал, вот пусть и поделится... Хватит все же... Спать давно пора... Чтоб поскорее заснуть, надо начать считать до ста... Только не спится — и все, хоть до

тысячи считай... Уж очень будоражит незаслуженный удар этот, и не по самолюбию даже, а по чувству собственного достоинства... Как все же могли они, почти все, счесть, что я один отвечаю за эти смерти?.. Прямо жжет внутри... Ну и стыдно, что жжет!.. Разве это первый в жизни удар по самолюбию?.. У генерала Лукача, может, и первый, зато у предыдущего, у комбрига, их хватало, да и раньше, у Белы, тоже... Но особенно у второго... Пусть даже десять шомполов в плену у колчаковцев пришлись не по самолюбию, а по спине... А вот когда в Театре революции, директором которого он был, освистали одну премьеру, разве не было тогда ему еще более тяжко? Тоже будто все горело внутри... Брр! Даже вспомнить тяжко... Вынести было невозможно: что-то вроде духовных шомполов... И при всех... Фадеев тогда выступал в Доме литераторов и совершенно справедливо утверждал, что писателем может стать далеко не каждый. Говорил он, что одна любовь к литературе никого инженером человеческих душ не сделает, поскольку горячая любовь эта, при ближайшем рассмотрении, часто прикрывает повышенную нежность к собственному участию в литературном процессе. Именно так и выразился: в литературном процессе. А дальше не открыл присутствующим Америки, заявив, что писателю прежде всего нужен талант. Без него, мол, как ни пыжься, ничего не выйдет. И привел в качестве примера... меня! «Вот, — говорит, — передо мной сидит товарищ...» Стоп. Даже в мыслях лучше опустить фамилию. Назвал ее Фадеев и хладнокровно продолжает: «Товарищ этот изо всех сил старается, по ночам пишет, и притом хороший товарищ, честный, мало того, боевой, на груди у него орден Красного Знамени привинчен. Все, кажется, у человека есть, а таланта нету, и стоящего писателя из него не получится, несмотря на весьма благие намерения». Не получится. Коротко и ясно. Будто топором рубанул. Чувствую: покраснел я, как помидор,

и от стыда аж слезы выступили. Опустил голову и сижу ни жив ни мертв... И все же постепенно и эта рана начала заживать. Но и когда она еще кровоточила, и теперь, когда только шрам остался, я твердо знал и знаю: не прав был Александр Александрович, что меня выбрал для иллюстрации своей неопровержимой мысли, тут ошибся. Большого таланта у меня, это правда, нет, но способности — способности есть. И не себя я в литературе люблю, а ее без меня, саму по себе, и страстно люблю, еще с детства. Ошибся же Фадеев потому, что не знал, как мне писание мое достается, что приходится самому себе переводить, оттенки и нюансы русского языка часто от меня ускользают, и от моей прозы порой отдает газетой, или же, наоборот, она слишком приподнята и экспрессивна. Что же касается согласований и вообще грамматики, так мне ее выправляет машинистка... Да и что говорить, если даже родной венгерский за двадцать лет эмиграции неизбежно потускнел и продолжает выветриваться. При таких условиях настоящая художественная проза не рождается. В этом моя трагедия, а не в отсутствии способностей. И еще в одном — в том, что не дано мне с головой погрузиться в литературное творчество. То там я нужен, то здесь. Вот и сейчас конец романа пришлось скомкать. И никуда не денешься. Опять пришла пора воевать. Вот и получается, что писатели смотрят на меня как на профессионального вояку, к тому же награжденного орденом Красного Знамени, который в свободное время балуется литературой на армейские темы, а военные товарищи принимают за писателя, участвующего то в той, то в этой войне в поисках литературного материала... Так-то, друг мой, генерал Лукач. Надо тебе с этим смириться... Давай, командуй дальше... И после первого же успеха твоя первая здесь неудача забудется... А некоторая польза от нее есть. Недаром говорится: «За одного побитого двух непобитых дают...»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В решающих ноябрьских боях на главном секторе Мадридского фронта был остановлен бешеный натиск превосходящих сил неприятеля. Фактором исключительной важности явилось прибытие на Мадридский фронт интернациональных бригад. Первой прибыла Одиннадцатая бригада, вступившая в бой 8 ноября в районе Касаде-Кампо. Командовал ею генерал Клебер (Манфред Штерн), ставший после этих событий командующим этим сектором.

Чуть ли не километровая череда автобусов и камионов[1], одновременно перебрасывавших всю Двенадцатую бригаду в Мадрид, втянулась в город сбоку и обогнула центр по восточным окраинам. Около часа машины простояли в ожидании дальнейших указаний на громадной площади перед знаменитой пехотной казармой Монтанья, ставшей главным очагом фашистского военного мятежа в столице. Это в ней перед 18 июля сосредоточилось почти все мятежное офицерство столичного гарнизона, а двадцатого начался последний штурм крепости мятежников. Вооруженные мадридцы, отряды ударной гвардии и оставшиеся верными присяге артиллеристы, открывшие из четырех пушек огонь прямой наводкой, ворвались внутрь. Уничтожив фашистских командиров, пытавшихся бежать или оказавших сопротивление, горожане водрузили над казармой республиканский флаг, что и послужило окончательным подтверждением власти законного правительства в главном городе страны.

С возвращения Двенадцатой в Чинчон прошло всего неполных трое суток, а ее было уже не узнать. Бойцы,

[1] Грузовики (*исп.*).

державшие винтовки между колен, спокойно сидели в мягких кожаных креслах еще не изношенных роскошных автобусов, реквизированных у испанских и международных туристических агентств, и хотя лица людей уже не светились тем энтузиазмом, который переполнял каждого по пути из Вильякапьяса в Чинчон, тем более что в пустынных селениях по сторонам ведущего в Мадрид шоссе никто больше не бросался к ним, не протягивал бурдючки с вином,— зато теперь лица эти выглядели гораздо увереннее. То, что их не приветствовали по-прежнему бурно, никого не смущало и не разочаровывало. Все понимали, что здесь, в прифронтовой зоне, люди почувствовали войну, оказавшуюся совсем не радостным, не митинговым, а требующим терпения и выносливости нелегким делом. За три месяца война стала буднями.

После десяти дней обороны Мадрида во главе решающего ее сектора был поставлен распорядительный и твердый генерал Клебер, его бригада оказалась первым и пока почти единственным камнем преткновения на пути непрерывного, со взятия Толедо, продвижения войск «четырех генералов». Престарелый Санхурхо недавно погиб в загадочной авиационной катастрофе, вследствие чего их осталось трое: Франко, Мола и Кабанельяс. Юный поэт и с недавних пор коммунист Рафаэль Альберти еще до смерти Санхурхо сочинил про них сатирическую песенку в стиле старинного романсеро о четырех погонщиках мулов, и, как всегда, искусство оказалось сильнее жизненных обстоятельств: пока эта песенка распевалась — а это продолжалось до февраля,— генералов, вопреки очевидности, оставалось как бы четыре.

Но сколько бы их ни было, а Одиннадцатая и генерал Клебер удерживали наступление мятежных колонн, в то время как Двенадцатая объехала миллионный город по его окраинам и через невзрачное предместье проследова-

ла в Эль-Пардо, где неподалеку от дворца высились за кирпичными стенами обширные казармы, в одной из которых, предоставленный самому себе, уже более недели стоял ее эскадрон.

Несмотря на удовлетворительное состояние батальонов, генерал Лукач был опять расстроен, на этот раз совершенно непредвиденным обстоятельством: Горев забирал Фрица. В разговоре с Горевым по этому поводу Лукач, не щадя собственной репутации, изобразил себя этаким теоретически совершенно неподкованным практиком давно устаревшей партизанской школы и чувствующим свою неподготовленность к управлению войсками в условиях современного пехотного боя. Фриц тоже просил по возможности оставить его «со своими», правдиво признавая при этом, что Двенадцатая прекрасно обойдется без него, поскольку у Лукача вовсе не один партизанский опыт, но и командование сначала интернациональным эскадроном, а потом и полком в Первой Конной, а также служба в штабе дивизии при взятии Перекопа, но что, с другой стороны, конечно, ум — хорошо, а два — лучше. Окончательное решение было Горевым отложено. А пока Фрица поселили в мадридском отеле с другими советниками, и оттуда он должен будет ежедневно ездить в Эль-Пардо на теоретические и строевые занятия Двенадцатой.

Лукач же поселился в Фуэнкаррале, том самом бедном предместье, которое лежало примерно на полпути между Эль-Пардо и Мадридом. Местный комитет Народного фронта отвел ему весь верхний этаж (всего две комнатки) в узком домике, да еще обширную кухню — на первом, в которой поместилась охрана во главе с караульным начальником Алешей.

Дом принадлежал двум унылым и до предела исхудалым старухам в черных до полу платьях, в черных шерстяных шалях на костлявых плечах и в черных же кружевных накидках, сквозь которые просвечивали белые,


Ненни
Паччарди
Петров, Белов, Баллер
Галло

как снежные вершины, прически. Домовладелицы — надо думать, сестры — существовали где-то в потаенных глубинах дома, за внутренним двориком, с фонтанчиком посреди него, продолжавшим и при наступивших холодах непрерывно извергать морозящую взгляд ледяную струю. Обе старухи были еще раньше чем-то напуганы, вздрагивали, когда к ним обращались, и непрерывно то поодиночке, то вместе глубоко и, несмотря на свою тщедушность, очень шумно вздыхали.

Через полчаса после вселения охраны в кухню, с грандиозной чугунной плитой, но без малейших признаков угля или какого-либо иного горючего, деловитый Никита самолично привез продовольствия на два дня, а вместе с ним и десятилитровую оплетеную бутыль красного вина, а также сорок пачек сигарет. Всего этого было на два дня явно многовато: одного мяса было килограммов пять. Вот только жарить его было не на чем, и, подумав, начальник охраны послал Фернандо к хозяйкам, чтобы вежливейшим образом допытаться, как быть.

Вернулся Фернандо довольно скоро и объявил, что хозяйки берутся раз в день готовить на жаровне мясо и два раза — кофе, варить же гарбансосы (крупные, безвкусные и часами неразвариваемые турецкие бобы) никак не могут, для этого надо топить плиту, а уголь, не говоря о дровах, давно уже кончился.

Лягутт тут же нарезал десять аппетитнейших бифштексов, стукнул по каждому окованным прикладом, уложил на блюдо, и Фернандо на вытянутых руках понес его в патио. Минут через двадцать в коридор начал проникать сизый дым и горький запах горелого мяса, несмотря на то что ведущие в патио двери были закрыты, а над ним самим простиралось пусть и не очень приветливое, серое, но все же небо, а не крыша. Дым скоро сгустился под потолком и начал подниматься вверх вдоль лестницы, пока вход на второй этаж не открылся и на пороге не

появились домашние туфли Лукача, а над ними брюки, заправленные в светлые шерстяные носки, и не послышался его баритон, спрашивающий, что это горит. Алеша не слишком уверенно доложил снизу, что это хозяйки готовят обед. Уже вышедший на площадку комбриг с сомнением покачал головой, но ничего не сказал и ушел к себе что-то дописывать: между пальцами его правой руки виднелось вечное перо.

Прошло порядочно времени, прежде чем Фернандо ударом ноги распахнул кухонную дверь и внес, держа за обмотанную тряпкой рукоять, большую сковороду. На ней, распространяя едкий дух еще кипящего оливкового масла, лежали десять сморщенных и обуглившихся комков, еще совсем недавно бывших сочной говядиной. Увидев, во что она превратилась, Лягутт разразился страстной тирадой из площадных французских ругательств, после чего с облегченной душой достал из прикрепленного к побеленной стене шкафчика мелкую тарелку, вилку и нож, выловил из кипящей жидкости бифштекс, менее других похожий на обломок антрацита, соскреб с него черный верхний слой, обложил пикулями из прихваченной в Ла-Мараньосе банки и понес наверх вместе с салфеткой того же происхождения, тонко нарезанными ломтиками хлеба и вином в алюминиевой кружке.

После его возвращения все стоя, поскольку в кухне не на чем было сидеть, долго жевали подвергшееся аутодафе мясо, усердно сдабривая его вином и свежим хлебом.

Едва этот пир был завершен и подошел блаженный момент первой послеобеденной сигареты, как сквозь общий гомон послышалось, будто за разбитым и заколоченным досками окном (из-за чего в кухне и днем и ночью горела тусклая лампа) притормозила легковая машина. Через мгновенье раздался стук у входа. Отбросив недокуренную сигарету, Алеша схватил свою винтовку и кинулся в переднюю, где Ганев уже отодвигал засов.

Порог переступил человек с живыми черными глазами и большим горбатым носом. Он был в круглом черном беретике, в темной драповой куртке и спускающихся на ботинки широких брюках, грудь его перехватывал светло-желтый ремешок, на поясе висела непомерная расстегнутая кобура с утонувшим в ней средним браунингом. Вошедший дотронулся кулаком до пятиугольной красной звездочки надо лбом и заговорил по-немецки.

— Их ферштейе нихт,— смущенно объявил начальник охраны.

— Может быть, ты по-русски хоть немножко понимаешь? — без тени акцента переспросил тот.

— По-русски понимаю,— с улыбкой признался Алеша.

— В таком случае моя фамилия Белов. Я привез батарею Двенадцатой, интернациональной. Мне в Мадриде дали этот адрес и сказали, что по нему я найду генерала Лукача...

Алеша быстро и незаметно оглядел Белова. И по фамилии, и по повадке, и по тому, как он был одет, да и по произношению, несомненно, это был советский командир.

— Попрошу минутку подождать здесь. Я доложу товарищу комбригу,— уже поворачиваясь, проговорил Алеша, подумав, что на подобные случаи следует поставить под лестницей хотя бы два стула.

Как только он произнес фамилию посетителя, Лукач, бросив перо на письменный стол, выскочил на площадку и впереди Алеши пустился вниз.

— Белов! Дорогой мой! Давай скорее сюда! Ну до чего же ты вовремя!..

На нижних ступеньках они неловко обнялись и так, в обнимку, хотя это было очень неудобно, стали подниматься.

Ганев уже давно сменился, и на посту стоял мелкорослый, рыжий, ершистый характером польский еврей и

парижский ремесленник Ожел, когда Лукач и Белов спустились и направились к выходу.

— Вот что, Алеша,— торопливо заговорил комбриг уже на тротуаре,— майор Белов назначен к нам начальником штаба. Охрана, как и все остальные службы штаба, отныне подчинена непосредственно ему, так что впредь со всеми вопросами к нему и обращайтесь. Вернусь я поздно, надеюсь — на новой машине и с новым шофером, оставьте для него, если это осуществимо, чего-нибудь поесть и устройте на ночлег с собой. А тебя,— он повернулся к Белову,— я сейчас познакомлю с Никитой, интендантом. Впрочем, ты его должен знать по своей работе в Большой деревне. Побудешь у него, пока все определится...

Согнувшись в три погибели, Лукач влез в свой «опелек». Белов сел рядом с толстощеким шофером в свою, даже при сумеречном свете сияющую лаком, просторную вороную машину. «Опель» отъехал первым, за ним тронулась беловская «карета». Вернувшись в кухню, Алеша попросил Гурского и Казимира раздобыть соломы для ночлега. Пол в кухне был каменный: и твердо, и — что еще хуже — холодно. Ожел задвинул за ними засов. Фернандо снова отправился к хозяйкам, теперь насчет ужина. Возвратился он не скоро. Двое посланных за соломой, нагруженные как мулы, уже натаскали ее столько — чуть не выше плиты. Только тогда появился Фернандо.

Развалившись на соломе, все, кроме караульного Казимира и не понимавшего по-французски Юпина, слушали маленького испанца.

То ли его юность, то ли детский рост, то ли заячья губа, но, скорее всего, то, что он был их соотечественником и не забыл во Франции родной язык, вызвало у престарелых сеньор прилив доверчивости. Из их причитаний Фернандо усвоил, что фуэнкарральский комитет Народного фронта, состоявший из левых республиканцев и кипящих яростной классовой ненавистью анархистов, отвел

для генерала Лукача домишко одного из трех здешних священников, которого Фернандо называл не кюре, а на испанский лад — куро. Всем было уже известно, что в Мадриде и предместьях его в решающие дни сражения за казарму Монтанья происходило множество схваток с изолированными группами полицейских и всех других, примкнувших к мятежу. Но в тихом Фуэнкаррале никаких воинских частей не стояло, а потому и очагов сопротивления республиканскому правительству не было. Однако местные политические страсти должны были найти какой-то выход, и, вероятно, поэтому главной угрозой республиканскому правопорядку здесь сочли трех приходских священников и всех троих последовательно убили: двое подвернулись анархистам прямо на улице, а третьего — здесь в патио, возле фонтана. Вздыхающие старухи приходились ему сестрами: одна — родной, вторая — двоюродной. Они же при содействии старых друзей и похоронили его ночью на фуэнкарральском кладбище.

— Сейчас обе сеньоры в последний раз варят нам кофе,— заключил Фернандо,— и просили предупредить, что даже его больше готовить не смогут. Мало, что дров нет, но и древесные угли для жаровни кончаются...

Рассказ малыша Фернандо поверг слушателей в настроение далеко не радужное. После некоторого молчания Ганев объявил, что приехал сюда воевать не со старыми женщинами и дряхлыми попами и не собирается скрывать: ему этих старушенций, даже если они против Республики, жалко, и он, Ганев, предлагает отдать им половину благоприобретенного в Ла-Мараньосе кофе, сколько можно хлеба, сахару и хотя бы банку джема. Все остальные, за исключением Юнина, сосредоточенно латавшего свои носки, и без того состоявшие из одних разноцветных заплат, без возражений присоединились к ганевскому предложению. Когда же Юнин узнал от Алеши, о чем

шла речь, он нетороплиmo полез в рюкзак, вытащил оттуда банку еще с августа присылаемого Москвой для испанских детей сгущенного молока и протянул Ганеву. Светлоголовый же Казимир, сменившись, вдруг напомнил Гурскому, что в поисках соломы они видели во дворе одной заколоченной виллы пропасть досок, и, если их перетащить да напилить, эти пани будут на месяц обеспечены топливом. И, успокоив принятыми благотворительными решениями некоторое внутреннее смятение, вызванное рассказом Фернандо, бойцы охраны стали устраиваться на ночлег.

Лукач приехал глубокой ночью и, насколько можно было рассмотреть в темноте, на новой, приземистой длинной машине и с новым водителем — круглолицым, с круглыми же темно-карими глазами и тоненькими усиками, как у знаменитого киноактера Адольфа Манжу. Тоже круглая шерстяная шапочка с завернутыми кверху бортами, вроде как на полотняных головных уборах американских матросов, ладно сидела на его шарообразной голове. По-французски он изъяснялся свободно, хотя и с сильным итальянским акцентом: его звали Луиджи. Алеша накормил его и указал место на соломе рядом с собой, предупредив, что курить в кухне нельзя: сухая солома вспыхнет как порох.

Около семи утра, едва Алеша успел почистить зубы, побриться и вытереть лицо после умывания у холодного фонтанчика, возле которого был убит старый «куро», как Лукач позвал его из коридора.

— Машину видели?

— Никак нет, товарищ комбриг, еще на улицу не выходил, да и Луиджи ваш еще спит.

— Будите его. К восьми мне надо быть в Эль-Пардо.

Луиджи готов был ехать, не умываясь и не позавтракав. Он надел на жесткие волосы свою шапочку и выскочил из кухни, застегиваясь на ходу.

— Идем с нами,— предложил Лукач начальнику охраны.— Есть чем полюбоваться.

Шагая сзади, Алеша заметил, что на поясе командира бригады с правой стороны появилась кобура. «Кажется, парабеллум,— подумал начальник охраны.— Наконец-то. Как это он рисковал до сих пор и даже под Лос-Анхелесом оставался безоружным?..»

— Вот,— горделиво произнес Лукач.

К высокому и предельно узкому тротуару прижалась жемчужно-серая машина полугоночного типа.

— Последняя модель фирмы «Пежо»,— голосом осчастливленного человека провозгласил Лукач.— Прямо из гаража, в нее никто еще не садился. Обкатки даже не прошла. Первое время больше шестидесяти километров делать нельзя. Зато после и сто двадцать не предел.

В казармах Эль-Пардо рабочий день начинался в восемь утра и продолжался до восьми вечера, с часовым перерывом на обед. По такому расписанию уже неделю эскадрон занимался ездой, рубкой лозы и стрельбой из карабина. В пехоте же только сегодня командиры отделений, взводов и рот должны были приступить к тому, что по-русски некогда называлось «словесностью» (и что не имело к словесности ни малейшего отношения), то есть к слушанию лекций о роли отдельной боевой единицы в обороне и наступлении, о значении и месте пулеметного расчета и о взаимодействии стрелков с танками. Все это должен был читать Фриц, а в это время рядовые бойцы под руководством командиров батальонов и под наблюдением привлеченных к этому делу комиссаров осваивали приемы стрельбы лежа, с колена и стоя, приемы рукопашного боя, учились метать учебные гранаты и бросать бутылки с зажигательной смесью. Каждый взвод должен был провести не меньше трех часов на стрельбище. А в сторонке, расстелив брезент, разбирали и собирали свои «максимы» пулеметчики.

Наслаждаясь бесшумной работой мотора и легким ходом новой машины, Лукач, ласково прикоснувшись к плечу Луиджи, попросил остановить ее у высоких ажурных ворот, за которыми простирался большой утрамбованный двор с широкой песчаной дорожкой вокруг него. Комбриг давно понял, что командир эскадрона Массар — настоящий конник, разбиравшийся в мельчайших тонкостях кавалерийской посадки и ценивший хорошую лошадь едва ли не больше, чем сидящего на ней всадника, он приобрел в мировую войну практический опыт в качестве младшего офицера спаги,— и однако, при всем этом, никуда не годился. Он был безнадежным алкоголиком. Лукач предвидел, что, как ни жаль, а Массара придется снимать: болезненная склонность его может привести на фронте к трагическим последствиям. По счастью, генерал знал и другое: комиссар эскадрона, молодой и энергичный Пьер Гримм, коммунист из Бельгии, немного еще подучится и станет полноценной заменой Массару. Только б удалось осуществить ее. Как ни странно, но и Марти, и Галло, и даже испанское руководство убеждены, что никак нельзя назначать комиссара на место несправившегося командира.

За оградой из металлических пик с позолоченными остриями один из взводов эскадрона без седел рысил по песчаному эллипсу, в центре которого стоял Массар с бичом, время от времени угрожающе хлопая им; звук был подобен пистолетному выстрелу. Справа другой взвод, сидя на составленных садовых скамейках, слушал молодого человека с приятным худым лицом. Он первым увидел вышедшего из машины генерала и поспешил к Массару предупредить его. Тот пропел протяжную кавалерийскую команду, и кони остановились, как в цирке, а всадники спрыгнули и взяли их под уздцы. Массар бросил бич правофланговому, взял со стоящей рядом табуретки палаш в никелированных ножнах и, пристегивая его

на ходу, направился к воротам. Гримм шел сзади. Оба вышли за ограду. Приближаясь к генералу, Массар величественно провел пальцами по пышным усам и, звякнув большими зубчатыми, прямо-таки средневековыми, шпорами, вытянулся, левой рукой придерживая палаш, а кулак правой приложив к матерчатому головному убору вроде ушанки. Его комиссар остановился позади своего начальника. Лукач протянул руку одному и другому, по-русски спросил, как дела, и прибавил, что, самое большее, через пять дней бригаду введут в дело, и эскадрон должен быть к этому готов. Гримм перевел. Улыбаясь и шевеля усами, Массар ответил, что лошади у него все подготовлены, а в кавалерии кони — главное: в бой они понесут людей, а не наоборот. Стоя близко от майора Массара, генерал Лукач чувствовал исходивший от него смешанный и скорее приятный запах недавно выпитого вина и душистых американских сигарет и еще раз пожалел, что с таким истым конником придется распрощаться. «К обеду, бедняга, наберется,— думал Лукач.— В наше время некоторые комэски отчаянно пили, и бед от этого бывало немало, но это происходило в гражданскую, в большинстве они вахмистрами или унтер-офицерами участвовали в империалистической и вынесли из нее всякие скверные привычки, замену же им некогда и негде было искать, но сейчас совсем другое дело...»

От расположения эскадрона Лукач пешком прошел к пехотным казармам, предварительно показав Луиджи на небо, потом на машину, а затем демонстративно сунув руку в карман, что означало: надо спрятать автомобиль от авиации.

Кирпичная стена скрывала плац от посторонних глаз. Рядом с чугунными воротами была чугунная же высокая дверь, за которой пребывал часовой. Узнав генерала, он отступил и взял «на караул». Весь плац был покрыт лежавшими, по отделениям и взводам, бойцами. Комиссары

взводов бродили между стрелка́ми, проверяя позу каждого и дистанцию между ним и соседом. Выглядели политработники чрезвычайно празднично: на шеях у всех были повязаны по-пионерски ярко-красные шарфы. Лукач издали увидел идущего к нему Паччарди, за ним в ногу шагали: напоминающий боксера тяжелого веса Роазио и Аццu — в весе пера. На всех трех тоже красовались алые галстуки.

Поздоровавшись, Лукач направился к ближайшему отделению и остановился возле него, выслушивая вопрос Паччарди, заданный через Роазио, на сколько еще дней в тылу можно рассчитывать.

— Если б я сам знал,— откровенно отвечал Лукач.— Скажи ему, что надеяться можно дней на пять, но могут и завтра потребовать. Обстановка и в Каса-де-Кампо и в Университетском городке хуже чем паршивая...

Взводный, ничем не похожий на потомка древних римлян, коротенький, курносый, с маленькими серыми глазками, тем не менее скомандовал по-итальянски, и четыре отделения правофлангового взвода, перезаряжая винтовки и считая про себя uno, duo, tre, звякнули затворами, выбрасываемые нестреляные патроны дробно застучали по асфальту. Все опять приложились и стали целиться в воображаемого врага, но при этом крайний в ближнем отделении волонтер судорожно сжал каблуки. Паччарди сделал шаг к нему и, ничего не говоря, носком ботинка раздвинул их.

— Роазио, дорогой. Скажи ты ему, что я поражен,— умоляюще глядя на Паччарди, заговорил Лукач.— Мы же не в какой-нибудь старой армии. Как это можно ногой поправлять подчиненного. Такое барское, можно сказать, неуважение к человеку просто недопустимо. Мне известно, что майор Паччарди был в мировую войну храбрым капитаном. Я хочу сказать ему, что здесь мы все — и самые мужественные капитаны, и майоры, и генералы — то-

варищи нашим бойцам. Еще скажи, что я очень прошу не обижаться на меня за это замечание, но я делаю его не как командир бригады, а как старший годами...

Паччарди выслушал и заметно покраснел.

— Попроси генерала извинить меня,— переводил Роазио опустившему голову в знак внимания Лукачу.— Я сам почувствовал неловкость от того, что сделал. Отвратительные кастовые привычки бывшего королевского офицера. Однако не барские. Мой отец был железнодорожным мастером. Обещаю, что подобное не повторится, и я сейчас же извинюсь...

Паччарди наклонился над волонтером, каблуки которого минуту назад развел, и что-то проговорил. Боец вскочил. Это был морщинистый человек с орлиным носом, он растерянно смотрел на командира батальона и вдруг сконфуженно и одновременно радостно улыбнулся, опять бросился ничком, оперся на локоть и, положив цевьё на левую ладонь, прицелился, широко раскинув башмаки и упираясь носками.

Лукач, взяв Паччарди за пояс, весело смотрел снизу вверх ему в лицо.

— Все. Точка. А теперь, Роазио, объясни мне, вы — что ж, и в окопы так пойдете? Зачем вам понадобилось демаскироваться?

С детской улыбкой на заросшем лице Роазио объяснил, что красные повязки на шее носили солдаты в отрядах Гарибальди. Мысль о том, чтобы и в вооруженной борьбе против фашизма возродить обычай прадедов, возникла у кого-то из новых гарибальдийцев еще в Альбасете.

Выйдя к машине, Лукач посмотрел на часы и решил, что ехать к Людвигу Ренну не стоит. Уж где-где, а там все должно быть в порядке. Ну а насчет франко-бельгийского, так Жоффруа только вчера принял этот растрепанный батальон. Единственное, что следовало бы сделать,— заехать к артиллеристам. Уж очень хочется бросить

взгляд на пушки и повидаться с Баллером, он его с Альмансы не видел. И, выехав из Эль-Пардо, Лукач не повернул налево, на знакомую дорогу к Фуэнкарралю, а показал Луиджи ехать прямо, то есть к фронту, удивляясь про себя, что путь туда так пустынен.

Километра через три он по карте нашел нужный поворот налево (справа от шоссе текли мутные воды Мансанареса), и машина свернула на столь узкую дорогу, что двум легковым не разъехаться. Скоро впереди показалось нечто вроде фермы: жилой дом, хлев, склады. За оградой боец в темном вельветовом костюме вручную накачивал воду в эмалированные ведра. Расспросив его, Лукач уже через минуту обменивался рукопожатиями с Баллером на пороге большого дома. Находившиеся здесь же во дворе три орудия оказались так замаскированными, что командир бригады не сразу обнаружил их, вражеским же воздушным разведчикам они должны были представляться кучами соломы. Подойдя к ближайшему, Лукач сдвинул золотистое покрытие и нежно погладил ладонью холодный серо-зеленый ствол.

— Вот о чем я собираюсь вас просить,— обращаясь к Алеше, начал Лукач по возвращении в домик «куро».— Нам необходимо подыскать другое помещение. Тут будущему штабу бригады тесно. Нас без охраны, как минимум, человек десять. Никита этим вопросом занимается. Но просто большого и пустого дома нам мало. Нужно подыскать трех или четырех молодых женщин, чтоб они и обед сумели приготовить, и постирать, и погладить, и пуговицы, скажем, пришить, и подмести, и все прочее. Завтра сходите в здешний комитет комсомола — он тут, после слияния с соцмолом, как-то иначе именуется — и уговорите найти нам хотя бы трех, но, думаю, лучше четырех подходящих девушек, по возможности таких, чтоб молоко

при них не скисало. Мы зачислим их на довольствие наравне с нашими волонтерами, они будут получать по триста песет в месяц, на всем готовом. Главное, чтоб после напряженной работы офицеры штаба могли бы отдохнуть, поесть, белье сменить и так далее. Штаб, он вроде головы бригады, а голове надлежит быть всегда свежей...

Но назавтра заняться этими делами Алеше не пришлось. Как бодро заявил задолго до рассвета вызванный Лукачем начальник штаба Белов, человек предполагает, а генерал Миаха располагает. Еще вчера командир бригады вернулся из ежевечерней поездки в Мадрид значительно раньше обычного и чрезвычайно серьезный. Мотоциклист же с приказом пригрохотал и разбудил весь дом — не было еще пяти. И к рассвету все пришло в движение. У входа каждые двадцать минут трещал то один, то другой мотоцикл, Белов сбегал по лестнице и вручал прибывшему конверт с письменным распоряжением командиру первого, потом второго, а затем и третьего батальонов, а там и командиру батареи.

Часам к шести в штабе появился маленький, худенький, очень сутулый, а когда снял шапку, оказалось, крепко поседевший, вихрастый старикан, в очках со стальной оправой на громоздком, как у Сирано де Бержерака, носу. Он нахально пытался миновать дежурившего в коридоре Ожела, но был им задержан. Тогда старик отчаянно накричал на Ожела по-немецки, но тот стоял стеной. Однако стоило крикуну, вероятно считавшему немецкую ругань недостаточно действенной, прослоить ее польской, Ожел сразу растаял, и не успел Алеша вмешаться, как сварливый гость уже взбегал наверх, к начальству. Минут через пять командир бригады, ласково обнимая часто-часто моргавшего старика за плечи, на которых как на вешалке висела замызганная канадка, поманил Алешу и приказал, хотя и предельно вежливо:

— Будьте так добры, смените, прошу вас, этого то-

варища, что стоит на часах, и передайте со всеми потрохами нашему начальнику связи геноссе Морицу. Ему он нужен, а у вас еще шестеро остается. На первое время хватит.

— Есть, товарищ комбриг.

Было уже около десяти, когда, не успев в поднявшейся суматохе позавтракать, он с четырьмя бойцами из шести оставшихся уже катил в полуторке к фронту. Одного за другим она обгоняла неказистые, но зато дешевые ЗИСы-5, тянувшиеся в том же направлении и до отказа набитые тельмановцами в их отличительном обмундировании. Сидя в шоферской кабине, Алеша левой рукой прижимал к себе винтовку, в правой держал набросанный комбригом чертеж, где красными стрелками были указаны предварительные ориентиры перед поворотом в гору, к лужайке позади длинного дворца, на которой нужно было остановиться. Дворец этот после свержения монархии принадлежал клубу игроков в поло, по дня три как был занят анархистской «Колумной Дуррути», прославившейся в Каталонии и явившейся теперь для участия в обороне Мадрида. Комбриг упомянул и о том, что это анархисты неожиданно отступили в Университетском городке, после чего положение пришлось восстанавливать Одиннадцатой.

— Сам их командир, Дуррути, очень расстроен неудачей и заводит в своей колонне некоторое подобие воинской дисциплины. Но все же держитесь на виду у анархистов поскромнее...

По асфальтированному серпантину полуторка птицей взлетела на лужайку. Ехавшие с Алешей поспешно повыпрыгивали из-под брезентового верха и отпустили машину: ей предстояло следующим рейсом доставить сюда же Морица с людьми, аппаратами полевого телефона и проводом. То, что в бывшем аристократическом клубе сейчас разместилась анархистская часть, не вызывало сомнений. Хотя с лужайки ничего, кроме тыльной стороны

дворца, видно не было, но из него доносился истошный вопль, исходящий из тысяч орущих, спорящих и хохочущих глоток. Одновременно и устрашающий и веселящий, он странным образом напоминал рев хищников перед раздачей пищи в зоологическом саду.

Осмотревшись, Алеша нашел и отмеченную на чертежике Лукача тропинку в помятой траве, ведущую в основательно заросший молодняком лес. Там, шагах в двухстах от лужайки, должен был находиться дом, избранный Лукачем для устройства командного пункта бригады. Алеша впереди, за ним гуськом остальные двинулись по тропинке.

Пустой кирпичный дом высился среди запущенного парка. Парадная дверь и все окна, несмотря на холодные ночи, были распахнуты настежь. Войдя, они увидели, что и внутри все двери раскрыты на обе половинки, выдвинуты или совсем вытащены ящики столов, комодов и даже буфета. Было ясно, что здесь производился обыск. Сорванная с вешалок одежда была свалена в беспорядочные кучи, а выброшенные из ящиков бумаги, белье, вязаные кофточки, шляпы, обувь разбросаны по паркету. Обыскивающие, однако, ничего не сломали и не разбили, кроме стекла на портрете бывшего короля Альфонса XIII, с его смешными усиками. Больше всего Алешу и других поразило, что среди разбросанного по комнатам домашнего барахла валялись и очень дорогие вещи, вроде золотых дамских часиков, нескольких перстней с драгоценными камнями, брошь, по-видимому платиновая, усыпанная мелкими бриллиантами, и — самое удивительное — набитый деньгами бумажник. Ни один из побывавших здесь и не подумал взять себе хотя бы что-нибудь: испанская честность.

Командир бригады предупредил, что вместе с Беловым приедет на командный пункт к трем часам, так что следовало поторапливаться. Все впятером они принялись за

уборку, к двум она была закончена. Оставалось лишь внести выбитые матрасы и вытряхнутые одеяла, приготовить постели и подместы, когда где-то неподалеку бухнула небольшая, скорее всего противотанковая, пушка, воздух пронзил режущий уши свист, одновременно с ним раздался страшный треск, и, пробив не только крышу, но и потолок ближайшей к столовой большой спальни, в голую сетку двуспальной кровати ударил длинный, с заостренным концом мелкокалиберный снаряд, пружины ее взвизгнули как живые и застонали. Алеша, как раз вносивший туда две необъятные подушки, на мгновение замер на пороге, но тут же метнулся в сторону, за стену. Прошло несколько бесконечных секунд, однако разрыва не последовало. Бросив подушки на ковер, Алеша осторожно заглянул в комнату: прогнув металлическую сетку, снаряд все еще чуть покачивался на ней среди кусков штукатурки.

Вдруг послышался второй выстрел, погромче, словно орудие приблизилось. За домом грохнуло, осколки часто застучали в стенку слева, и где-то, жалобно звеня, посыпались стекла.

— Вон! Все наружу! — по-русски заорал, кидаясь к выходу, Алеша, хотя и знал, что в комнатах никого не должно быть, кроме разбиравшего на кухне посуду Юнина.— Оружие и рюкзаки взять!..

Из кухни выскочил Юнин, и Алеше понадобилось сделать над собой некоторое усилие, чтобы пропустить его вперед. Пушка бухнула снова; расхватав винтовки и заплечные мешки, бойцы охраны ждали дальнейших указаний от своего начальства, а тем временем третий снаряд с оглушительным треском врезался в крышу, во все стороны расшвыривая громко поющую черепицу, и внутри дома загрохотало, судя по дребезгу — в кухне.

Впечатление было такое, будто стреляют со стороны Каса-де-Поло. Алеша помнил, что по чертежу комбрига

дом, только что оставленный ими, стоял над обрывом, метрах в ста от проходившего внизу шоссе. Пока они бежали к обрыву, пушка опять ударила, и перелетевшая граната мягко вошла в почву позади Юнина и шагах в пяти от Алеши. Падая, он ощутил толчок в лицо вздыбленной снарядом земли, похожий на удар боксерской перчатки, и острую боль в глазах. Опираясь на винтовку, он попробовал подняться, но тут его подхватил под руку вернувшийся к нему, ослепшему, Юнин и куда-то повлек, кто-то стал помогать и с другого бока. Вскоре они были, как понял Алеша, на краю обрыва. Общими усилиями, продираясь сквозь чащу покрывавших крутой склон кустов и хватаясь за стволы деревьев, четверо бойцов охраны штаба с грехом пополам вытащили Алешу к дороге и устроили в кювете, и, смешав остатки вина с водой, они тонкой струей лили из фляжки этот бальзам на его залепленные грязью глаза до тех пор, пока Алеша смог разлепить веки, и оказалось, что он хотя и туманно, но видит.

Передохнув, все пятеро вылезли на шоссе и зашагали в сторону Эль-Пардо, намереваясь свернуть к Фуэнкарралю.

Лукач, озабоченно взяв щеки Алеши в свои ладони, всмотрелся в его багровые, как у белого кролика, глаза, после чего успокоился и, не перебивая, выслушал доклад обо всем. Сидевший тут же Белов произнес недоверчиво:

— Ты, товарищ, фантазируешь. До фашистов оттуда по карте километров не меньше двух или трех. Как при этом могут почти одновременно слышаться и выстрел и разрыв? Не анархисты же огонь открыли...

— Кто бы ни стрелял, а все к лучшему,— перебил его командир бригады.— Ведь если бы по этому дому не долбанула какая-то мистическая пушка, телефонисты сейчас вели б оттуда проводку. После стольких трудов тем обиднее было бы переселяться. А пришлось бы. Без вас, Алеша, мы тут получили несколько иную диспозицию. Наши

батальоны займут по-прежнему вторую линию, но гораздо ближе к Одиннадцатой, чем предполагалось. И командный пункт, из которого вас эта пушка выбила, оказался бы и далеко, и высоко. Так что жалеть нам с вами не о чем, кроме напрасной двухчасовой работы да потери вашей внешней респектабельности. И все равно вас следует не жалеть, а поздравить с редким везением. А теперь к делу. Мы с товарищем Беловым ездили посмотреть, как идет выгрузка батальонов в прифронтовой зоне, и совершенно случайно наткнулись на помещение, вполне пригодное для командного пункта, у самого моста Сан-Фернандо. Это последний мост под Мадридом, оставшийся в распоряжении республиканцев. Мост, но не дорога за ним, эстремадурская или как она там, Белов, называется? Налево по ней поедешь — метрах в пятистах их и наши позиции в нескольких местах чуть ли не на десять метров, говорят, сходятся, а направо — вдоль нее фронт, и сама она под обстрелом. Так вот, чуть пониже моста, над самым берегом, имеется пустой дом, почти без мебели, но с крышей, окнами и дверью. Что нам еще нужно? Сейчас все вместе и покатим: мы с Беловым, Мориц с телефонистами и вы со своими...

Но вскоре после того, как новый командный пункт начал обживаться и на террасе Лягутт уже ждал смены, а телефонисты потянули провод к батальону Людвига Ренна, произошло мелкое событие, заставившее, однако, Лукача принять решение еще об одном переселении.

Уже смеркалось. В большой комнате за украшенным резьбой обеденным столом, персон этак на двадцать, под массивной бронзовой люстрой с тремя еле тлевшими лампочками сидели рядом, лицом к стеклянной входной двери и террасе за ней, Лукач и Белов, а на председательском месте — Алеша, смотревший через окно на бетонные перила переезда через реку. На столе не было ничего, кроме планшетов Лукача и Белова и толстых цветных каран-

дашей. Неожиданно оконное стекло звякнуло, что-то громко щелкнуло, и в стол вонзилась согнутая почти пополам винтовочная пуля.

— В люстру бахнулась и согнулась,— беря ее в руки, пояснил Белов.— Смотри: еще теплая. Не виси здесь это сооружение, она б Алеше прямо в лоб треснула. Везет тебе, брат, уже который раз. На, спрячь на память.

Но Лукач отнесся к этому иначе.

— Мы с тобой, похоже, забыли свой предыдущий опыт, устроившись как раз против вражеских позиций, и совершенно напрасно подставляем под пули и свои очень умные головы и чужие. Немедленно надо отсюда перебираться. Куда? Куда-нибудь поблизости, потому как и связь отсюда уже потянули, да и комбаты наши знают, что мы тут. Так вот, как раз напротив, через шоссе, есть будка дорожного сторожа. В ней и засядем.

— Тесновато будет,— попробовал воспротивиться Белов.

— В братской могиле еще теснее,— отрезал Лукач.

К восьми часам переселение было завершено. Сторожка под оголившимися деревьями состояла всего из одной комнаты в два окна: одно выходило на мост, другое — в сторону неприятеля, но было снаружи предусмотрительно забито толстыми досками.

Измученные телефонисты притащились лишь к одиннадцати. Первым в помещение вошел Мориц. Деревянно откозыряв Лукачу и Белову, бывший прусский служака, едва успев оглядеться на новом месте, предложил генералу установить коммутатор полевого телефона в подвале, для чего оттуда следовало выбрать большую часть запасенного кем-то сена. Он же посоветовал свалить его на полу, чтоб на нем могли отдыхать свободные бойцы охраны и шоферы.

Лукач и Белов сидели рядом за столом и тихонько, чтобы не мешать засыпающим, переговаривались над кар-

той. Перед ними оплывала в медном подсвечнике уже вторая свеча. Телефонисты возились в подвале с коммутатором, почему-то не желавшим обнаруживать никаких признаков активности, снизу доносилась немецкая воркотня Морица, изредка подкрепляемая крепкими польскими выражениями Ожела, из которых «курва мачь» было самым мягким. Ругани аккомпанировал чей-то храп. Наверху, на сене, покрывавшем весь пол сторожки, лежали бойцы охраны. Луиджи и толстый француз, шофер Белова, которого звали Феликс, предпочли спать в машинах. Алеша же то дремал, положив локти на стол, то выходил наружу под начавшийся с вечера сильный дождь и дышал влажным холодным воздухом. За пять минут до полуночи он разбудил Фернандо. Торопясь, тот набросил портупею, затянул пояс с подсумками и, волоча приклад по полу, вышел. Сменный Казимир, как вылезший из озера сеттер, разбрасывая брызги, отряхнулся в сенях, войдя, вытянулся перед начальством, щелкнув каблуками, поставил винтовку к другим в угол, сбросил туда же плащ, повалился на освобожденное Фернандо место и, едва успев закрыть глаза, уснул. Когда ночью на часах стоял Фернандо, его детский вид и рост невольно заставляли Алешу почаще наведываться к нему. И сейчас, выйдя к маленькому испанцу вторично, он дал ему кусок бинта из индивидуального пакета и посоветовал заткнуть ствол винтовки, а постояв с ним, прошел к мосту.

За шумом дождя уже не было слышно, как журчит мелкая речка. Вдоль противоположного ее берега магистральное шоссе уходило направо через захваченную мятежниками Сарагссу на Францию, но и неподалеку отсюда оно было перерезано, и по нему никто не ездил. Налево же, где совсем близко начинался парк Каса-де-Кампо, уже почти две недели с переменным успехом велись бои.

Еще вчера Фернандо объяснил Алеше, что Каса-де-Кампо по-испански означает загородный дом. С давней

поры теперешний природный парк, бывший тогда лесом, принадлежал испанским королям. Именно там и была их летняя резиденция, а вокруг нее простирались угодья королевской охоты. Так что название было шире. Теперь же это место жесточайших сражений, и Алеша знал, что именно там с 9 ноября целую неделю билась Одиннадцатая.

Перед рассветом под проливным дождем, поднимая разбегающиеся по асфальту волны, из тыла примчался в мокрой коже, как в латах, мотоциклист.

Привезенный приказ исходил от командующего тем сектором, который в настоящий момент представлял реальную угрозу Мадриду. Расписавшись в конторской книге, предъявленной мотоциклистом («Заводится понемногу порядок, заводится»,— одобрительно отозвался на это нововведение Лукач), Белов сорвал с пакета сургучную печать, вскрыл его и, развернув бумагу, протянул ее командиру бригады.

— Пойдите-ка сюда, Алеша. Здесь по-французски.

Алеша начал переводить с заголовка, напечатанного в верхнем углу:

— «Командир интернациональных бригад и командующий Западным сектором обороны Мадрида генерал Эмиль Клебер...»

— Постойте, постойте. Вы что-то, друг мой, путаете. Он командир одной Одиннадцатой...

— Никак нет. Тут все именно так написано.

Приказ генерала Клебера гласил, что сим же утром, не позже десяти по местному времени, Двенадцатая бригада сменяет Одиннадцатую на ее ретроспективных позициях и удерживает их любой ценой. Батальон Андре Марти занимает на левом фланге все этажи Медицинского факультета в Университетском городке, где до сего дня героически держался батальон «Парижская коммуна». Батальон Тельмана принимает от батальона Эдгара Андре прочно удерживаемые им линии в Паласете, представ-

ляющие центр боевых порядков, а батальон Гарибальди сменяет батальон Домбровского на правом фланге вдоль берега реки Мансанарес и вплоть до границы Западного парка.

В течение всего перевода Белов виртуозно отточенным синим карандашом отмечал на своей карте произносимые Алешей на французский лад испанские названия. Однако едва он закончил, Лукач взорвался:

— Да он что, в самом-то деле? Кто и когда производил смену на открытых позициях днем? Ну разве фашисты позволят его бригаде безнаказанно отойти, а нам спокойно занять ее место? Это еще можно себе представить на левом фланге, где за широким и высоким зданием, в котором засел Дюмон, неприятелю не видны подходы из нашего тыла, но тельмановцам в небольших домиках и садиках Паласете придется в сто раз труднее, а уж Гарибальди — там все как на ладони! Неприятель воспользуется этим и атакует отходящих. Короче, вот что: я сейчас же напишу Клеберу. Попрошу дать нам отсрочку всего на полсуток, и мы организованно, без потерь проведем все это дело ночью.— Он посмотрел на часы.— В шесть сюда должен явиться наш «моториста». Алеша смотает на нем к Клеберу, вручит ему мои соображения и дождется ответа.

В половине восьмого до белья промокший и забрызганный грязью Алеша, изо всех сил обхватив талию немолодого и почему-то похожего на татарина из книжки о Дмитрии Донском мотоциклиста, примчался обратно, взлетая как ковбой на диком мустанге. Генерал Клебер предложил Алеше напомнить командиру Двенадцатой, что приказы издаются не для обсуждения, а для безоговорочного исполнения.

Лукач, выслушав это, заскрипел зубами. Белов, не задавая лишних вопросов, принялся названивать в батальоны через оживший морицевский коммутатор.

Пока начальник штаба очень корректно, но одновременно и авторитетно, разговаривал по-немецки с кем-то из тельмановских офицеров (поскольку оказалось, что Людвиг Ренн осип под все более холодным дождем и может только шептать), командир бригады рассеянно барабанил пальцами по усеянному мелкими каплями окну. Ливень с рассветом ослабел, но вместо него из сизых туч моросил еще более безнадежный дождик, такой мог зарядить и на неделю.

Белов быстро закончил свое устное предупреждение: что по приказу командующего сектором каждый батальон должен уже через два часа завершить смену находящегося перед ним подразделения Одиннадцатой, для чего командиру и комиссару надлежит немедленно пройти на соответствующий командный пункт и на месте договориться о последовательности и максимальной скрытности операции, а затем то же обязаны сделать, взяв с собой связных, командиры и комиссары рот.

— Послушай меня, Белов,— решительно заговорил Лукач, едва тот положил трубку.— Сам видишь, что снаружи делается, и это не только на сегодня. Если мы с тобой сейчас же не примем экстренных мер, завтра же половина бригады сляжет и без вражеских пуль. Записывай. Первое: каждая рота должна уже к полудню выделить из тех, кто постарше или послабей, по пять человек, которых ты пошлешь на машинах к поселкам, где у них по дороге сюда был постой, чтобы они там поискали в пустых домах и притащили все, чем можно укрыться или подстелить под себя,— одеяла, покрывала, толстые скатерти, занавески... Второе: приказать главному врачу бригады майору Хейльбрунну, чтобы он обеспечил всех врачей и фельдшеров в батальонах, вплоть до последнего санитара, максимальным количеством аспирина и других противопростудных лекарств. И, наконец, третье: прикажи Никите, чтоб, не жалея никаких средств и сил, раз-

добыл коньяка из расчета одна бутылка в день на пять человек и чтоб так выдавать не меньше чем четыре дня.

— Будет сделано, товарищ генерал,— с оттенком почтительной иронии, произнося обращение, подтвердил принятое им распоряжение Белов.

Безболезненно сменились одни французы. Полностью прикрытая высоким и широким Медицинским факультетом, измученная, но гордая, и в отличие от других, еще и сухая «Парижская коммуна» прямо-таки триумфально отходила на отдых.

Но на просматриваемых противником позициях все пошло иначе. Едва позади батальона Эдгара Андре вачалось еле заметное движение, как с противоположных чердаков и деревьев захлопали выстрелы марокканских снайперов, а вскоре сверхосторожное передвижение тельмановских цепочек вызвало к действию фашистскую артиллерию. И не успели бойцы, промокшие за ночь и утро, укрыться под крышами, которые до сих пор укрывали их товарищей из Одиннадцатой, как неприятельская пехота бросилась в атаку и заняла крайние дома над обрывом, сбросив вниз, в затопленную траву и рябые от дождя лужи, арьергард сменявших и авангард сменяющих. Передовые же патрули поляков были сбиты еще раньше, чем началась смена, и батальон, потерявший в предыдущих боях двух своих командиров, почти треть остальных офицеров и больше трети бойцов, не выдержал и посунулся от стен Университетского городка и опушки Западного парка. Поэтому гарибальдийцы, начавшие разреженными цепями продвигаться, чтобы сменить домбровцев, неожиданно увидели их в отступлении вместе с испанской бригадой карабинеров. Итальянцы сумели повернуть и тех и других, но вскоре встретили неприятельских солдат, во весь рост шагающих по завоеванной территории. Неожиданно узрев наступающих республиканцев, они беспорядочно кинулись назад, так что батальон

Гарибальди запросто вышел на положенные ему рубежи. Но, так как левый фланг батальона из-за нового положения тельмановцев был открыт, Паччарди пришлось отойти.

Белов, узнав, что произошло, дал Морицу указание поскорее перенести телефон на теперешний командный пункт Людвига Ренна, затем обязательно дотянуться до Медицинского факультета, а уж в последнюю очередь связаться с гарибальдийцами, штаб которых находился в трехстах метрах от немецкого. Старик тут же вывел свою команду, нагруженную объемистыми катушками, под непрекращающийся мелкий дождь, сам, сгорбившись, зашагал впереди, и скоро безропотные телефонисты исчезли за пеленой воды.

— Алеша,— позвал Лукач,— вы помните, что мы с вами вчера обнаружили в кладовой нашей сторожки? Да? Так вот, вынесите весь этот копательный инструмент на свет и пошлите человека четыре, чтоб отнесли Людвигу Ренну в подарок.

С помощью Ганева, Казимира и Гурского Алеша выволок из сторожки лопаты, которых оказалось девять, и еще три кирки. Разделив их поровну, бойцы охраны двинулись на передовую, слушая, как дождевые капли тоненько позвякивают по лежащему на плечах металлу. Мелодичный звон этот заглушали частые выстрелы впереди, гулкие неприятельские и трескучие наши.

Людвиг Ренн, укрывшийся от холодного «душа» в шалаше, сложенном из веток и прикрытом разбухшим канадским полушубком, трагическим французским шепотом просил благодарить генерала за совершенно необходимые саперные инструменты, самих же носильщиков вознаградил, пустив между ними по кругу бутылку коньяка, припахивающего едва ли не скипидаром, что, возможно, увеличивало его противопростудные свойства.

К ночи бригадный командный пункт был соединен телефонной проводкой со всеми тремя батальонами. Часов

в одиннадцать Лукач самолично опробовал связь, поочередно побеседовав с отчетливо, как суфлер, шепчущим в трубку Ренном, через Роазио — с Паччарди и через Белова — с Жоффруа, причем оказалось, что начальник штаба знает французский не хуже, чем немецкий. После этого командир бригады встал из-за стола, наклонился над люком и попросил геноссе Морица подняться к нему. Над окружающими люк ворохами сена показалась седая, со встрепанными вихрами голова Морица. Насколько можно было рассмотреть за очками, глаза его выражали некоторую тревогу. Лукач жестом пригласил его выйти совсем, и старик легко, как кошка, выпрыгнул из подполья. И тогда, положив обе ладони на его плечи, Лукач произнес целый немецкий спич на тему о том, что геноссе Мориц первым в республиканской армии осуществил прямую телефонную связь штабного командного пункта с находящимися в бою частями, и что этого ни он, Лукач, ни его ближайшие сотрудники, ни вся Двенадцатая никогда не забудут, а в свое время об этом блестящем достижении организованности и умения будет упомянуто в истории первой антифашистской войны. Ведь главное, что мы, иностранные добровольцы, должны внести в стихийное сопротивление испанского народа военному перевороту — приобретенный нами ранее опыт. Это и сделал наш начальник связи. И в порядке признания его неоценимой заслуги завтрашним приказом геноссе Мориц производится в лейтенанты...

Мориц слушал генерала, держа руки по швам и вытянувшись в струнку. Лукач же, закончив речь, вдруг привлек его к себе и звучно поцеловал в обе впалые, морщинистые щеки, а оторопелый старик часто заморгал и залепетал в растерянности:

— Але то ест ниц... То ест ниц...

И, как только Лукач выпустил его плечи, новопроизведенный теньенте кубарем скатился по кустарной ле-

стнице в подвал, откуда послышалось трубное сморкание, однако уже через четверть часа его сменила привычная деловитая воркотня на крепко спавшую мелкорослую команду телефонистов.

— Нет, ты понимаешь, что у нас за люди? — обращаясь к заклевавшему было своим большим носом Белову, не унимался Лукач.— Уверяю тебя, он по скромности и не подозревает, что, учитывая условия, сотворил настоящее чудо. Я уж из деликатности и не спрашивал, где он раздобыл и провод и аппараты. Допускаю даже, что просто спер, где плохо лежало. Но сейчас это действительно неважно. Там лежало, а у него работает. И потом холод ведь и дождь, да еще и под пулями, а дотянул, подсоединил, и пожалуйте: связь действует. А ведь старик же! И еще какой: бывший германский унтер, и при этом поляк из Восточной Пруссии да еще пепеэсовец. Ну, не красота?..

Была середина ночи, когда пахнувшую керосиновой копотью сонную сторожку потревожило густое жужжание из подпола, и почти сразу же задребезжал голос Морица:

— То батальун Харибальди хце мувичь с туважишем хенералем.

Лукач оторвал тяжелую голову от стола, вернее, от подложенных под нее онемевших рук. Звонил Роазио. Как всегда медлительно, но и обстоятельно, он доложил, что командиры Тельмана и Гарибальди с участием их штабов сейчас завершили двухчасовые переговоры и пришли к выводу о настоятельной необходимости атаковать утром силами обоих батальонов противостоящего каждому из них неприятеля, чтобы отбить захваченные им накануне дома. Все до одного комиссары и политруки — немецкие, итальянские, балканские и польские — убеждают Пачарди и Репна, что неподвижно сидеть под дождем становится все невыносимее. Продрогшим до костей людям

не удается подремать. Появились и больные. Они остаются в строю, но число их растет. От имени майоров Пачарди и Ренна и от всех трех батальонных комиссаров он, Роазио, просит командование бригады разрешить эту акцию, необходимую не только чисто практически, но и для поднятия духа.

Лукач, пообещав подумать и позвонить через двадцать минут, положил трубку и некоторое время просидел молча. Потом он повернулся к Белову, тот долго протирал покрасневшие глаза, а потом закурил.

— Хотят на рассвете выбить врага из домов, которые считают своими. Важно, что это идущее снизу желание бойцов. Имеем ли мы с тобой право препятствовать им? Кроме того, из сектора не сегодня-завтра следует ждать именно такого приказа. А тут люди сами рвутся в бой...

В пять утра Алеше было приказано будить Луиджи, а в шесть Лукач поехал сначала к Клеберу за разрешением провести операцию, а затем и в Мадрид, просить дополнительную поддержку. Уже к восьми Лукач вернулся чрезвычайно довольный и рассказал Белову, что командующий сектором не только поддержал задуманное, пообещав выдать до ста ручных гранат, но и сам связался с Горевым, и тот обещал к десяти прислать взвод танков.

— Чудеса в решете! — удивлялся Лукач.— Хоть и знаю, что мы стоим на решающем направлении, а лишь сейчас начинаю это по-настоящему чувствовать. Робко клянчу хотя бы пятьдесят ручных гранат, предлагают сто, чуть не на коленках выпрашиваю: если можно, дайте два танка, а мне — три...

Ровно в девять Галло привез на своей машине Пачарди, Роазио и Ацци, а за ними на бывшем «опеле» командира бригады, с бывшим его же шофером, подъехали Людвиг Ренн и Рихард. Всего над беловской картой склонились восемь голов, но обсуждение деталей обошлось

без споров, поскольку все было согласовано и оговорено еще ночью. Пока шел обмен мнениями, Лягутт в сенях сварил на спиртовке кофе на всех, и, выпив по чашечке, гости уехали восвояси.

В начале одиннадцатого справа начало доноситься отдаленное урчание. Оно приближалось, и постепенно сквозь гудение двигателей стало прорезываться устрашающее лязганье. Скоро громыхание так усилилось, что заглушило все — слух с трудом выдерживал его,— и вдруг сменилось звенящей тишиной. Три пушечных танка стояли на шоссе как раз против сторожки. Из всех трех башен с откинутыми люками высовывались жизнерадостные парни в кожаных куртках. Двое первых были в кожаных шлемах, третий был без шлема, и льняные волосы его лохматились во все стороны. Командир головной машины вылез из башни, спрыгнул на асфальт и пошел к командному пункту, на ходу вытягивая из-за обшлага сложенную вчетверо карту. Переступив порог, он стал по стойке «смирно» и отрапортовал:

— Комвзвода танков лейтенант Погодин прибыл в ваше распоряжение. Задание — способствовать продвижению республиканской пехоты. Прошу разрешения сверить данные по карте...

Он шагнул вперед и минут пять сличал отметки на своей измочаленной карте с тем, что было на беловской. Еще через минуту головной танк взвыл и дернулся. За ним рванули второй и третий. В воздухе перед сторожкой остались запахи солярки, нагретой смазки и железа, быстро прибиваемые дождем.

Однако, несмотря на танковую поддрежку, в тот день восстановить утраченное не удалось. Танки, вынужденные двигаться гуськом по дороге, проложенной в узком пространстве между холмами, напоролись на прямую наводку. Ведущий, не задерживаясь, открыл беглый огонь по ближним домам Паласете, но через несколько мгновений, под-

пустив танк поближе, неприятельские артиллеристы ударили по нему, и он сразу завертелся на месте и стал. Из-за подбитого высунулся второй, но был тоже поврежден, раньше, чем начал стрелять. Послав несколько гранат, третий, захватив Погодина, начал отходить, вытягивая на цепи вторую машину, оставив двух человек у первой и попросив тельмановцев охранять ее до прибытия ремонтников.

Понятно, что после этого готовившиеся следовать за танками ударные тельмановские роты вынуждены были залечь. Гарибальдийцы же, услышав задорные выстрелы танковой пушки, дружно рванулись к уступу перед их позициями, взобрались на него и, швыряя в окна ручные гранаты, расстреливая засевших на чердаке снайперов, ринулись на штурм первого дома. Однако через несколько минут во фланг итальянцам начал бить «гочкис», и, сообразив, что тельмановский батальон не продвинулся, Галло, находившийся в первых рядах атакующих, приказал отходить, унося тяжелораненых и подобрав убитых.

Как ни удивительно, но после такой решительной неудачи боевое настроение в обоих батальонах нисколько не снизилось, и командиры их уже во второй половине дня попросили у Лукача разрешения повторить все завтра же, но пораньше. На этот раз батальон Тельмана смогла бы поддержать бригадная батарея. Итальянцы же сами договорились с отведенной на отдых неподалеку бригадой испанских карабинеров, и она предоставила в их распоряжение старое мелкокалиберное орудие с обслугой из трех человек.

В бою обслуга эта показала, без преувеличения, чудеса храбрости. Двое из троих испанцев были убиты, третий же с двумя подоспевшими гарибальдийцами стрелял прямой наводкой до последнего снаряда и умудрился поджечь один из атакуемых домов. К обеду батальоны вос-

становили бывшее до смены положение и даже несколько улучшили его.

— Видишь, Белов,— убеждал Лукач нисколько не возражавшего начальника штаба,— видишь, что у нас за люди. Снилось ли кому после Лос-Анхелеса, что такое может быть? Для меня в сегодняшнем успехе главное, что наши волунтариосы способны драться на равных и даже побеждать кадровых испанских солдат и обезумевших этих марокканцев. А войска у мятежников стоящие. Нам ведь противостоят ученые испанские генералы с военно-академическим образованием. Они знают не одну современную тактику и стратегию, они назубок выучили все условия и правила, по каким ведутся войны еще с Ганнибала. Вот в этом и кроется наше счастье. Они же и мысли допустить не могут, что здесь, в Университетском городке, и в Паласете, где они надеялись, как нож сквозь масло, пройти к центру Мадрида, и вот остановились,— что у нас нет эшелонированной обороны, но всего-то одна линия, а за ней ничегошеньки. И наши вчерашняя и сегодняшняя атаки их дополнительно убедили, что у нас солидные резервы, какой же сумасшедший начнет без них наступать? Но я от Клебера и от Горева знаю, что их нет, хоть шаром покати, кроме переутомленной — с девятого бессменно в боях — Одиннадцатой в Эль-Пардо, да еще измученной испанской бригады карабинеров где-то поближе. Честно говоря, такое фронтом назвать нельзя — пусть его и начали громко именовать Центральным. Разве это фронт? Одна ниточка. И держится она на убеждении фашистского ученого командования: чего не может быть, того и нет...

Уже на следующий день неприятель предпринял хорошо подготовленную и поддержанную двумя четырехпушечными батареями контратаку, однако ничего значительного не достиг. Правда, прямыми попаданиями был почти разрушен дом, в котором сидела польская рота, и

когда она отступила, марокканцы ворвались в него и перерезали человек двадцать, оставшихся на втором этаже и возглавляемых немолодым уже комиссаром Мельником. Но меньше чем через час, узнав о его гибели, вся рота бросилась, чтобы отбить его тело, и снова овладела остовом дома. И все. В дальнейшем никаких атак или контратак больше ни с той, ни с другой стороны не предпринималось. Участок от Западного парка до Паласете, включая и Университетский городок, как бы закостенел, хоть и не затих. Шума, пожалуй, он производил даже больше. Бывало это и днем, но чаще уже после наступления темноты: с чьего-то случайного выстрела начиналась быстро распространявшаяся по сторонам перестрелка. Однако постепенно все стихало, отдельные выстрелы слышались все реже и реже, пока не воцарялась мертвая тишина.

Вместе с фронтом стабилизировалась и обстановка в переполненной и насквозь прокуренной сторожке. Лукач внезапно объявил, что хватит валять дурака и что трое суток без сна — более чем достаточно. Теперь он сам снова будет уезжать в Мадрид, а на обратном пути останавливаться на ночлег в Фуэнкаррале. В его отсутствие бригадой будет командовать Белов, под рукой у которого останутся Мориц с телефонистами, Алеша со своими шестью часовыми и дежурный мотоциклист.

Следующим утром комбриг приехал еще до света и привез большой термос кофе, а Луиджи — еще два, питание на всех и сигареты. После завтрака отдыхать отправился до глаз заросший густой черной шерстью Белов. Приняв кроме своих и его бразды правления, Лукач держал их в своих сильных руках до обеда, доставленного отоспавшимся и до синевы выбритым Беловым. Из его рассказа следовало, что в Фуэнкаррале он познакомился и провел деловые беседы с новыми штабными офицерами: начальником транспорта Тимаром, черненьким острословом, великолепно изъяснявшимся и на немецком,

и на французском, и, вероятно, не хуже — на своем венгерском, о чем Белов, впрочем, судить не брался, с оружейником французом Севилем и с заведующим делопроизводством, почтой, а также казначеем бригады, тоже французом, Клоди.

Прошло уже больше двух дней и трех ночей, как прекратился дождь, но при этом еще похолодало: к рассвету в дорожной будке непроницаемо запотели оба окна, а ковер из листьев вокруг нее покрылся серебристым налетом. Между тем у двоих из шести бойцов охраны, у Фернандо и Лягутта, получивших перед отправкой из Альбасете загадочного происхождения каучуковые плащи, они давно превратились в лохмотья. У остальных пяти, включая Алешу, носивших обмундирование испанского иностранного легиона, куртки были потеплее. Но если Фернандо не долго раздумывал и на время стояния на часах набрасывал на свои резиновые лоскуты одеяло, то Лягутт стеснялся такого цыганского стиля и нещадно мерз. И вот он напомнил Алеше, что когда они готовили под командный пункт эту буржуазную виллу там, наверху, и убирали всякую всячину, разбросанную по полу, то засунули в ящики комодов пропасть новеньких носков, и шелковых и шерстяных, и еще несколько кашне. Если бы он, Лягутт, умел так изящно заворачивать ступни в чистые белые тряпки, как это делают сам Алеша, и Юпин, и Ганев, и даже два этих великана из Польши, он бы сейчас и в ус не дул, но уже с неделю как ему приходится совать в башмаки голые ноги: и холодно очень, и стерты они до крови. Так не мог бы Алеша спросить от имени двух волонтэр, Фернандо и Лягутта, не разрешит ли камарад женераль отлучиться им двоим, самое большее, на час, чтобы взять каждому по паре теплых носков и по одному кашне, если, конечно, камарад женераль не сочтет это мародерством. А то как бы не слечь с простудой, да и очень больно...

Казалось бы, Алеша и сам мог бы сообразить, как ответить на такую просьбу, однако он обратился к Лукачу с просьбой своего подчиненного. Лукач поднял глаза от стола и довольно долго смотрел на Алешу, но, убедившись, что тот не шутит, даже повеселел. Разумеется, он разрешает. Вообще-то начальнику охраны штаба следовало бы посмелее брать на себя решение такого рода вопросов: у командира бригады и без того дела хватает. По этому же конкретному поводу руководствоваться надо одним безошибочным правилом: в случае действительной нужды солдат на войне может взять все необходимое из еды и одежды, но только в себя и на себя, ничего в карманы или в сумку. Мародерство начинается с разбухания ранца.

Осчастливленный Алеша вышел передать ответ генерала Лягутту, Лукач же, оглядев спящих, не проснулся ли кто, всем туловищем повернулся к Белову:

— Ты слышал?

— Слышал, слышал,— улыбаясь, подтвердил Белов.

— Да ты не смейся. Тут скорее слеза умиления прошибет. Доброволец в грубых башмаках на босу ногу дрожит в карауле от холода и не уверен, имеет ли право сбегать в брошенный дом, где бесполезно лежит теплое барахло, и достаточно одного снаряда, чтобы все пошло прахом. Более того. Боясь, что его сочтут мародером, он испрашивает разрешения у самого командира бригады. А? И заметь, не только этот француз, а чем лучше Алеша? Ведь грамотный, кажется, парень, но вместо того, чтоб сказать: «Дуйте до горы и тащите сюда все, что может пригодиться», обращается ко мне, как к римскому папе, чтобы я выдал его Лягутту индульгенцию. Чувствуешь? И все дело в том, что просто оба боятся, как бы не бросить тень на наше знамя. Да, с такими людьми мы не то что Мадрид обязаны отстоять, а победить во всемирном масштабе...

Сутки проходили за сутками, и быт на командном

пункте бригады сам собою налаживался. У Белова (уже ко второму утреннему приезду командира бригады с ночевки) была готова рапортичка, составленная на основании ночных переговоров с комбатами и присланных ими накануне справок. В ней начальник штаба обязан был отразить даже самое малое изменение позиций, замеченное перемещение неприятельских огневых точек или живой силы, а также потери убитыми и ранеными и точно — наличный состав. Поскольку в штабе бригады говорили на пяти языках, среди которых преобладал не слишком правильный русский, то он неизбежно подвергался своеобразному обогащению. Так, никто уже не употреблял слово «грузовик», с Альбасете его заменило французское «камион», так же как и без того нерусское «мотоциклист» было вытеснено более коротким и звучным «моториста». Утренний беловский «рапорт» превратился во французское «эффектив», но с русским окончанием множественного числа. Именно эффективы эти вызвали неожиданное возражение Лукача.

— Вот что, товарищ Белов. Не сердись на меня, пожалуйста, но все же перепиши-ка мне эту штуку на другой лад. Я не сомневаюсь в абсолютном соответствии этих цифр с действительностью. Но ты какой-то чудак, честное слово, вроде Алеши или этого самого Лягутта. Предположим, я подпишу эту бумагу, наш сархенто помчит ее на «харлее» и вручит Клеберу. Начальник штаба сектора перенесет твои данные в свою цидулку и отправит в штаб Центрального фронта. Что же будет дальше? Эффективы Двенадцатой после лобовой атаки на Паласете сократились почти на четверть. Завтра эти сведения узнают в интендантстве, и послезавтра все виды довольствия бригады будут сокращены на столько же, а еще на сутки позже Никита получит соответственно меньше хлеба, мяса, бобов, сахару, вина, сигарет и всего прочего, а Севилю срежут боепитание. Ты скажешь: прекрасно, так и

должно быть, мы люди честные. Но что же получится? Мы с тобой не сегодня-завтра ждем первое подкрепление в пятьсот человек· Предположим, оно явится послезавтра. Ты сможешь включить их в эффективы лишь послезавтра утром. Тогда питание на них поступит на четвертый день. Чем же ты собираешься трое суток кормить их? И как ты в бой пошлешь и по скольку патронов прикажешь выдать на брата? Помню, когда я был военным комендантом в Балаклаве, моя хозяйка там постоянно пела: «Что нам думать о завтрашнем дне?» Так вот, думай, пожалуйста, о завтрашнем дне.

Уже в первый же вечер после отъезда Лукача на рекогносцировку к сторожке, не зажигая фар, подъехала большая черная машина, почти сливающаяся с наступившей ночью. Из нее легко выскочил кренкий человек тоже в черной кожаной куртке, различимый во мраке только благодаря седеющему чубу, выбивающемуся из-под фуражки. Он взволнованно спросил по-русски у часового, здесь ли находится товарищ Белов. Ничего не поняв, Фернандо условным стуком в стекло вызвал Алешу.

— Вы по-русски говорите? — торопливо спросил приезжий.— Да? Тогда скажите, где мне искать товарища Белова? Командующий сектором подсказал мне, что его где-то здесь, у моста, можно найти.

Бдительный Алеша вежливо попросил незнакомца предъявить документ и, повернув его к свету, падающему из окна, увидел испанский пропуск, выданный инспектору пехоты Одиннадцатой бригады коронелю Петрову. Козырнув кулаком, Алеша открыл и придержал дверь в сторожку. Петров быстро переступил высокий порог, толкнул вторую дверь направо и бросился к устало горбившемуся за столом Белову. Тот повернул голову, на секунду застыл, но тут же вскочил и кинулся к вошедшему. Обняв друг друга, они с минуту простояли неподвижно,

потом разжали руки, словно не веря глазам, посмотрели один на другого и снова обнялись.

— Алеша, я думаю будить Лягутта незачем, но, может быть, ты бы согласился сварить нам по чашечке кофе,— в сослагательном наклонении и даже несколько заискивающе произнес Белов.— Товарищ Петров — мой старый и верный друг. Мы и сюда ехали вместе, только в Альбасете нас, так сказать, развели...

— Постой, постой, молодой человек,— вмешался Петров.— Ты лучше сходи к машине и скажи шоферу, его имя Милош, чтоб он поскорее тащил сюда мою торбу. В ней кое-чего и к кофе найдется, да и сварит его Милош лучше тебя. Ты кто?

Алеша не понял. Помог Белов:

— Русский он, представь. Из Парижа.

— Видишь, русский да еще из Парижа,— подхватил Петров.— А мой Милош из Сараева. Почти турок. Его кофе лучше константинопольского.

Милош, оказавшийся великаном, с очень красивым румяным юношеским лицом и огромными ручищами, на одной из которых не хватало большого пальца, снял со спиртовки котелок огнедышащего кофе и водрузил его рядом с накромсанными тесаком ломтями хлеба и кусищами колбасы. После этого он удалился стеречь машину, причем, выходя, словно охотничье ружье, опять закинул за спину ручной пулемет неизвестной Алеше системы.

Счастливые друзья пригласили и его к столу. Выпили по чашке кофе, закусывая, как водку, колбасой. И Петров, вполне неожиданно обнаружив знакомство с русской поэзией, процитировал: «Мы не скифы, нам смешно, други, пьянствовать бесчинно». И долго еще все трое крохотными глоточками допивали свой кофе и нещадно курили.

Так с той ночи и повелось. Где-то между десятью и

двенадцатью к командному пункту неизменно подъезжал Петров, на вид нисколько не утомленный дневными трудами (отведенная в Эль-Пардо пехота Одиннадцатой усиленно занималась подготовкой к будущим сражениям, а он, как инспектор, руководил этим), но всегда веселый и бодрый, обязательно со своей торбой, и проводил с Беловым бессонные, периодически перебиваемые телефонным жужжанием ночи за сваренным Милошем кофе. Лишь перед утром он отбывал «соснуть часок-другой до начала учения».

К концу сидения у моста Сан-Фернандо Петров, вместо того чтобы удалиться к рассвету, объявил, что сегодня дождется генерала. «Моториста» и охрана еще спали, не было слышно и шевеления телефонистов внизу, когда у входа прошуршало «пежо» комбрига, и он сам, свежевыбритый, распространяющий запах одеколона, возник, опираясь на свою трость, в проеме двери и, обнаружив постороннего, на секунду остановился, но, узнав Петрова, вошел в комнату. Не высказав ни удивления, ни особой радости, он за руку поздоровался с ним и с Беловым, хмуро отметив, что накурено сегодня на командном пункте, будто в пивной. Чубатый полковник никак не реагировал на скромный прием, но сразу же приступил к делу.

— Ты, конечно, уже знаешь, какие в интербригадах должны произойти перемены,— начал он, пока сонный и небритый Лягутт убирал со стола.— Я имею в виду перегруппировку по языковому признаку.

— Все пока в стадии предварительных суждений.

— В том-то и соль, что вчера все окончательно решилось.

— Не может быть. Даже поздно ночью Горев ничего не знал.

— Вопрос этот в компетенции не военных, а коминтерновских товарищей. Его рассматривали: Луис, Марти, Баймлер, Галло и наш Степанов.

— Со дня на день должна подойти еще и Тринадцатая. Хоть бы ее подождали. По слухам, там самая путаница с языками.

— Ее хотели дождаться, но вчера, в обед, узнали, что она в Мадрид не прибудет. На правительственном уровне решили направить ее под Теруэль. Всех немцев объединяют в Одиннадцатой, другими словами, батальон Тельмана у тебя забирают...

— Что? — вскричал Лукач.— Не на того напали! Чтобы я отдал лучший батальон?!. Не бывать этому!..

— Оба же французских батальона остаются на местах, пока не будет сформировано, по крайней мере, еще два. Тогда думают все пять объединить во французской бригаде,— как бы не слыша крика, продолжал Петров.

— Без меня меня женили! — горячился Лукач.— Если честно руководствоваться языковым принципом, разве не бессмыслица получается? У меня их три: венгерский, русский и немецкий, но я совсем не владею итальянским и французским. Венгерский же не из самых распространенных в мире. Но если я, так или иначе, говорю на двух остальных, не ясно ли, что в Двенадцатой нужно объединить немцев и славян?

— Славяне у тебя и остаются: к двум имеющимся ротам прибавляется целый польский батальон. И что касается гарибальдийцев, то это самый многочисленный батальон и очень боевой. И состоит он из добровольцев, и в нем, после немцев, самая большая прослойка коммунистов. Как же ты можешь протестовать против них? Давай лучше так: ты не говорил, я не слышал. А то неловко выходит...

Лукач перевел взгляд с Петрова на улыбающегося Белова и вдруг сам заразительно рассмеялся.

— Надо же... Недаром говорится: конь о четырех ногах и то спотыкается. Ведь все, что ты сказал, я с двадцати лет, кажется, не хуже тебя усвоил. Но спасибо,

что напомнил мне начала политграмоты, мы командуем не солдатами, а людьми, да еще лучшими из лучших, они бросились на помощь испанцам по зову сердца... Но уж очень жаль с Ренном расставаться...

— Должен тебя еще об одной вещи предупредить,— переменил тон Петров.— Вместе с домбровцами к тебе переведен и я, все в том же качестве — инспектором пехоты. Как ты на это смотришь?

— Что ж. Добро пожаловать. Кем ты у нас определишься, смотри сам. Инспектор пехоты, мне кажется, слишком академично, скорее для мирного времени. У тебя за спиной академия Фрунзе как-никак.

— Куда поставишь, там и буду работать,— заявил Петров, наливая три рюмки, одна из которых предназначалась Алеше.— На этом и чокнемся.— Он поднял рюмку.— За наше нелицеприятное согласие и за успешное продолжение королевской охоты!.. Это, знаете ли, когда поляки шли в первый бой за Каса-де-Кампо и сбили плохо закрепившийся табор марокканцев, покойный ныне Антек Коханек, командир батальона, узнав, как переводится название парка, пустил по своему штабу фляжку, предварительно подняв ее и выпив за удачу в королевской охоте, не помню точно, как оно по-польски, что-то вроде «крулевске полованье»...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В новогоднюю ночь рассредоточенные батальоны Двенадцатой интербригады в начатом с темнотой марше далеко в горах за древним городом Гвадалахарой заняли каждый по селению, захватив пленных и трофеи. Однако эта первая с июля 1936 года, когда определилось территориальное преимущество правительства, республиканская победа (дивизия Модесто заняла Серро-де-лос-Анхелес

позднее) не принесла почестей ни планировавшему операцию советнику бригады Фрицу, ни проводившему ее Лукачу со штабом, как и никому из победителей. К этому времени решение не публиковать ничего об участии в сражениях иностранных волонтеров уже действовало, причем интербригадовцы поняли его смысл и согласились с такой необходимостью.

Убедившись, что дальнейшие попытки продвижения через Карабанчель или Университетский городок не приводят ни к чему, кроме лишних потерь, командование мятежников перешло к новой тактике — неожиданным атакам на давно застывшие, сравнительно удаленные от столицы, периферийные секторы. Начало было положено внезапным захватом Махадаонды, значительного населенного пункта, расположенного вблизи важных шоссе. Затем последовали другие, всегда хорошо подготовленные операции, и каждый раз франкисты имели успех и тем самым стягивали кольцо вокруг города. Республиканцы же обязательно контратаковали, стараясь восстановить прежнее положение.

Неоднократно упоминающийся в повести комиссар гарибальдийцев Роазио носил в Испании собственную фамилию. Пострадав рядом с Галло, он провел в госпиталях и восстановительных центрах месяца два и вернулся в бригаду, но уже в качестве офицера. В его отсутствие должность батальонного комиссара была занята коммунистом Илио Баронтини. В последовавшие за поражением Республики тяжкие годы Роазио пришлось перенести очень многое, но, пройдя и через тюрьмы, и через партизанскую борьбу, он в послевоенной Италии был избран сенатором от ИКП и неоднократно бывал в СССР.

Почти весь декабрь мятежники, ловко маневрируя, пытались прорваться к Мадриду то здесь, то там, и каждый

раз, в результате такого хорошо подготовленного и обычно неожиданного удара, недавно сформированные части не выдерживали налета трех, пяти, а то и семи бомбовозов и следовавшей затем убедительной артиллерийской подготовки. Они подавались назад, и командованию снова приходилось прерывать отдых Одиннадцатой, или Двенадцатой, или еще дивизии Модесто и бригады Кампесино. Подвезенные к месту событий бойцы с будничной деловитостью слезали с камионов, разбирались и шли в очередное контрнаступление. После большего или меньшего успеха его они окапывались, где удавалось (обычно несколько отступя от потерянных позиций), передавали это новое хозяйство его прежним защитникам и отходили в тыл.

— Честное слово, иногда кажется, что мы не воинская часть, а пожарная команда,— и негодуя, и гордясь, говорил Лукач.

Едва оставив на месте немецкие роты батальона Тельмана, выведенная из Паласете и Университетского городка, не успев принять и освоить домбровцев, Двенадцатая бригада в составе всего двух батальонов уже на следующий день была посажена на грузовики и через все тот же Пуэнте-де-Сан-Фернандо по простреливаемой кое-где дороге переброшена к Посуэло-де-Аларкон. Именно там и подтвердились слова Петрова о достоинствах батальона Гарибальди, который, не дожидаясь бригадной батареи, прошел через расположение смущенной своим отступлением испанской бригады и кинулся на ничего подобного не ожидавшего неприятеля, отбросив его чуть ли не на исходные позиции, возвратил милисьяносам их окопы, а сам отошел во вторую линию. Но оттуда ему пришлось в течение трех дней еще четырежды восстанавливать положение, потому что после новой артиллерийской подготовки и бурного напора уже двух франкистских батальонов республиканцы снова не выдерживали. Однако

в пятый раз они сами отбросили врага. В этих нелегких боях итальянцев надежно поддерживала бригадная батарея, а батальон Андре Марти бдительно охранял их фланги, причем, не дрогнув, выдержал налет пяти «юнкерсов», вторично при этом убедившись, что рассредоточенной пехоте даже массированная бомбежка не так-то страшна.

Клебер объявил батальону особую свою благодарность за примерное поведение в боях и троекратное овладение Посуэло-де-Аларкон.

Во время атаки на посуэльское кладбище, куда отступил неприятельский батальон, одновременно, осколками одной и той же ручной гранаты, ранило и бригадного и батальонного комиссаров. Галло при этом был ранен легко, Роазио же — довольно серьезно.

— Подумать! — несколько раз повторял Лукач и Петрову, и Белову, и даже Алеше.— Взрослый же человек, и такое мальчишество! Будто вольнопер какой-нибудь! А ведь он не только комиссар бригады, он член ЦК. И вдруг вместе с комиссаром батальона бежит впереди всех, пример, видите ли, подает. С ними еще и комиссара роты зацепило. Кому, спрашивается, от такого легкомыслия выгода? Ясно, что врагу. Еще хорошо, что сравнительно дешево отделались...

Не прошло и недели, как Галло перевели с поста комиссара Двенадцатой на вновь созданную должность комиссара-инспектора всех интербригад. Под его представительство в полуокруженной столице на Калье Веласкес был отведен особняк, и Галло переселился туда, со своим поцарапанным мелкими осколками лицом, с забинтованной и подвешенной рукой и невзрачным саквояжиком.

После удачи под Посуэло бригада наслаждалась отдыхом полных двое суток. Бригадному штабу была предоставлена стоявшая за высокой каменной оградой перед выездом из Фуэнкарраля к фронту большая вилла с фли-

гелем. Здесь Алеша взял на себя смелость и дал охране отоспаться.

Сразу после переселения в новое помещение Алеша сходил в фуэнкарральское отделение союза объединенной социалистической молодежи по порученному комбригом делу. У входа в двухэтажный домик сухощавый молодой человек с ослепительным пробором и в модных широченных брюках, из каждой штанины которых можно было при желании выкроить юбку, надраивал суконкой медную табличку. Он сносно объяснялся по-французски и оказался искомым секретарем комитета. Алеша попросил его порекомендовать четырех проверенных местных молодых женщин для работы в штабе интербригады. Секретарь просунул голову в дверь с засиявшей надписью союза и позвал:

— Пака!

На порог вышла высокая и стройная смуглянка, в прическу ее кроме гребней была воткнута у виска белая гвоздика. Если б не дешевый коричневый свитер, она могла бы оказаться на сцене среди окружающих Кармен хористок. Секретарь долго и, судя по жестикуляции, очень красноречиво излагал ей на родном языке просьбу иностранного товарища, выслушал ее короткий ответ и по-французски заверил Алешу, что эта camarade сегодня же подыщет тех, в ком они нуждаются. И действительно, часа через два у ворот виллы зазвенел колокольчик, и, когда Алеша открыл, за калиткой стояла сама Пака с чемоданчиком и еще три девушки: две тоже хорошенькие и тоже с небольшими чемоданчиками, а четвертая, очень толстая и некрасивая, с глазами вроде матовых черных пуговиц и носом картошкой,— так выглядела, верно, Дульсинея Тобосская — вместо чемодана обеими руками придерживала узел.

Не прошло и десяти минут, как все четверо азартно терли, скребли и мыли все, что подвертывалось им под

руки в двухэтажном доме. С неугасающей энергией взялись они и за служебный флигель, а надраив его до хирургической чистоты, взялись за кухню. Алеша сразу почувствовал, что отныне их заскорузлый штабной быт подвергнется очищающему женскому воздействию.

Лукач, еще утром вызванный в подвал для бывшего золотого запаса, к пяти дня вернулся в Фуэнкарраль и сразу обратил внимание на вылизанную дорожку от чугунного входа в сад до ступенек виллы.

— Кто это? Ваши?

Ответив своим старомодным «никак нет», Алеша доложил о происшедшей перемене, и комбриг пожелал познакомиться с девушками.

— А у вас, я вижу, губа не дура,— одобрил Лукач, входя во флигель, как будто начальник охраны самолично выбрал Паку, Леонору и Лауру на местной ярмарке невест.

Улыбаясь своей заразительной улыбкой, командир бригады поочередно пожал робко протянутую загорелую руку Пакиты, шершавую прямую ладонь Асунсьон, длинные пальчики Лауры и миниатюрную лапку Леоноры.

Через день команду девушек возглавил итальянец с громкой фамилией Беллини. Вопреки представлениям об итальянцах, очень некрасивый, с костлявым лицом, с носом почти как у Буратино и бровями, похожими на приклеенные куски шерсти. Он был дважды ранен и, как инвалид, попал к Никите, а тот по просьбе Лукача подыскать хозяйственного человека, владеющего испанским, чтобы легче было объясняться с четырьмя волонтерками, передал Беллини в штаб бригады на должность завхоза.

Беллини взял на себя все, что, по его мнению, не входило в женскую компетенцию. Со своей командой он с первого момента отлично поладил, держался со всеми четырьмя без предпочтений, как заботливый старший брат, и пользовался среди них непререкаемым авторитетом.

Между прочим, через некоторое время случайно выяснилось, что старательный и скромнейший этот работяга удивительно соответствует прославленной своей фамилии. Белов, бывший страстным, хотя и старомодным, ценителем оперной музыки, не пропускавший в Москве ни одной новой постановки в Большом театре, услышав как-то через открытое окно, как в свободный час распевает в кухне Беллини, позже разговорился с ним и узнал невообразимые вещи. Оказалось, что штабной завхоз не только прекрасно знаком со всеми сколько-нибудь заметными произведениями итальянского оперного искусства, но и знает наизусть и может пропеть от первого такта увертюры и до последнего аккорда целых четыре классических оперы. Белов утверждал, что однажды проверил Беллини, и тот ничуть не хвастал, хотя никогда не был солистом в «Ла Скала», а всю жизнь работал каменщиком.

Уже к следующему переезду в распоряжении Беллини завелся камион. И с тех пор при всех переброска бригады последней с очередной базы штаба, переваливаясь, выезжала полуторка, туго перепоясанная веревками и нагруженная постельными принадлежностями, котлами, кастрюлями, мешками с продуктами: всем тем, чем незаметно обрастало штабное хозяйство. Поверх всего этого скарба, держась за бечеву, сидели Пака, Леонора, Лаура и Асунсьон, сам же Беллини бдительно глядел вперед с командирского поста рядом с шофером.

Где-то к концу декабрьской чертовой карусели, как окрестил бесчисленные перемещения Петров, командир бригады объявил Алеше, что решил назначить его своим адъютантом.

— Вы и так уже взяли на себя некоторые его обязанности. Мне же адъютант позарез нужен. У меня уже был один, однако мы с ним, что называется, характерами не сошлись... Хорошему адъютанту надо запоминать все указания своего принципа и в нужное время давать им ход.

Необходимо научиться понимать начальника с полуслова, и даже мысли его угадывать. Да, да, я не шучу, но мне представляется, что вам это удастся. В здешних условиях за вас еще и знание французского. Сейчас чуть что — ищи переводчика, адъютант же всегда под рукой. Поручите своих ребят ну хотя бы тому же Ганеву...

В тот же вечер, выезжая в Мадрид, комбриг взял Алешу с собой. Пронизываемый ледяным ветром город был затемнен. Лукач рассказал, что еще в начале ноября светомаскировка соблюдалась постольку поскольку, но, когда патрулям отдали приказ стрелять по каждой светящейся щели, воцарился идеальный порядок. И понятно. В любой войне стекла так и летят. Но в гражданскую — особенно, а теперь еще и авиация. Между тем купить их негде...

По дороге из Фуэнкарраля их три раза останавливали для проверки документов: на выезде из предместья, при въезде в Мадрид и в центре его. Но, заранее опустив боковое стекло и чуть сбавив скорость перед бетонной баррикадой, из-за которой, выставив ружья, как разбойники на большой дороге, выскакивали милисьяносы, Луиджи умел так величественно произнести «бригадас интернасионалес», что те, мгновенно отсалютовав, произносили «паса». Способность Луиджи различать путь в кромешной тьме соперничала с кошачьей: не зацепив нигде за угол и ни на что не наткнувшись, он доставил комбрига и новоиспеченного адъютанта ко входу в подвал. Алеша попал сюда впервые.

Дежурил сегодня Лоти, и Лукач представил ему своего адъютанта. Пожав тому руку, Лоти спросил, говорит ли он по-испански, и, услышав отрицательный ответ, заметил, что знание кастильского адъютанту просто необходимо, а самый скоростной способ освоить язык — завести себе юную сеньориту. Тут же, повернувшись к Лукачу и сразу посерьезнев, он предупредил, что возле знаменитого

дачного поселка Лас-Росас-де-Мадрид сегодня замечена подозрительная активность противника, а так как в резерве всего лишь Двенадцатая, то как бы одному испанскому генералу не пришлось завтра с утра отправиться понюхать, чем эти розы пахнут. Лукач не стал спорить. Он только вздохнул и посмотрел на часы, зная, что где-нибудь между четырьмя и пятью утра его разбудит приказ о еще одной переброске.

Выбравшись из подземелья, он так же молча сел в машину, и Луиджи, не ожидая указаний, повел «пежо» через центр, пересек большую площадь, о чем можно было догадаться по удаленности мрачных многоэтажных громад, и остановился перед упирающимся в черное небо зданием. Лукач поднялся по обрамлявшим весь фасад белым и во мраке ступеням. Алеша, забросив винтовку за плечо, последовал за ним. Нащупав тяжелую дверь, комбриг открыл ее, пропустил адъютанта за собой и тщательно закрыл. Пройдя неосвещенный тамбур, Лукач отодвинул суконную портьеру, и оба очутились в холле первоклассной гостиницы. В нем горело так много лампочек, что, хотя накал и был слабым, в общем получалось достаточно светло. Пахло здесь, однако, совсем не так, как положено в дорогом отеле, а противоестественным здесь смешением аптечных запахов, среди которых сильнее всего выделялся йодоформ.

Лекарственные запахи объяснялись просто. Холл заполняли выздоравливающие раненые в одинаковых халатах. Слева, в бронзовой клетке, находился лифт человек на пятнадцать, однако ручка его широкой двери была прикреплена проволокой к решетке, и на ней висела строгая надпись: «Prohibido», что в переводе на русский означало «запрещено». Вероятно, на подъем лифта требовалось слишком много дефицитной электроэнергии.

Лукач легко побежал вверх по алой дорожке на мраморных ступенях. Алеша из-за тяжести винтовки несколь-

ко запыхался, комбриг же, несмотря на то что родился почти на девять лет раньше своего адъютанта да и весил чуть ли не вдвое больше, дышал так, словно прогуливался по шоссе между штабной сторожкой и мостом Сан-Фернандо. С площадки шестого этажа он повернул направо, в плохо освещенный коридор, устланный какой-то пушистой, заглушавшей шаги, тканью, постучал в первую дверь слева, не дожидаясь ответа, повернул ручку и вошел в переднюю роскошного по убранству и размерам номера. Чуть ли не на цыпочках за ним проник Алеша. Снимая винтовку, он нечаянно стукнул прикладом в пол, но толстый ковер заглушил звук.

— Кто там пожаловал? — послышался голос изнутри.

— Здравствуйте, дорогой мой Михаль Ефимович. Это опять известный вам испанский генерал Лукач вместе со своим адъютантом.

— Входите, входите, известный мне генерал Лукач, входите со своим адъютантом.

Перед вошедшими предстал человек маленького роста в плотном, спортивного вида костюме. На носу его сидели сильные стекла в широкой роговой оправе, невольно напоминавшие профессорские очки-велосипед Маяковского. Во внешности хозяина комнаты заметно выделялась большая, со взъерошенными волосами голова. Собственно, большой была не столько голова, сколько лицо, особенно нижняя его часть, впрочем, и лоб был очень высоким. Пока Лукач обменивался рукопожатием с большеголовым человеком, Алеша по портретам, часто помещавшимся в советских иллюстрированных изданиях, узнал в нем знаменитого Михаила Кольцова и почтительно пожал его ладонь. О том, что Кольцов давно в Испании, известно было по его корреспонденциям в «Правде». Белов в первый день боев за Посуэло, ездивший посмотреть, как действуют гарибальдийцы, по возвращении с восторгом рассказал Лукачу, что собственными глазами видел там

самого Кольцова, явившегося на броневике и даже собственноручно стрелявшего по неприятелю из почти игрушечной его пушечки. Однако Лукач воодушевления его не разделил. Перебив начальника штаба, он разразился негодующей тирадой, смысл которой сводился к тому, что Кольцова прислали сюда не в артиллеристы играть, а делать основное его дело — писать.

— У каждого из нас есть свое главное занятие. Наше с тобой — воевать, а он обладает таким талантом, что права не имеет рисковать, но обязан описывать все, что видит,— и тогда миллионы людей смогут воочию представить себе все происходящее здесь, будто сами в Испании побывали...

Сейчас, однако, комбриг не высказал своего мнения на этот предмет. В передней было слышно, что у Кольцова гости. Лукач проследовал в глубину номера. Положив руку на плечо Алеши, прославленный журналист подтолкнул и его туда. За непокрытым лакированным столом в непринужденных позах расположились пять человек: четверо были в сильно потертых кожаных куртках и с пистолетами на ремешке через плечо, пятый же — в дорогом синем в полоску двубортном костюме, в галстуке и, видимо, только что вышел из парикмахерской: густые волосы его были причесаны на испанский безупречный пробор, а в номере сладко пахло бриллиантином.

— Знакомьтесь, — предложил Кольцов сидящим. — Генерала, командира Двенадцатой, вы все знаете, а это его адъютант по имени Алеша. Он добровольно прибыл сюда из Франции, чтобы рядом с вами сражаться против фашизма.— Кольцов повернул длинное, очень белое лицо к представляемому: — А перед вами четыре наших танкиста. Они провожают товарища, завершившего формирование танковой бригады. А вот капитан Арман. Он известен тем, что командовал танковой ротой под Сесеньей, другими словами, испытал в сражении современные

пушечные машины. Между прочим, некогда эмигрировал из Латвии и живал в Париже. А теперь садитесь вот сюда. Генерал, надеюсь, вы не будете возражать, если, в отличие от вас, вышеупомянутый Алеша выпьет с нами рюмку неподдельного мартеля?

Он осторожно, не капнув, налил всем, кроме Лукача, который взял из вазы грандиозный, с детский мяч, апельсин и принялся сдирать с него толстую, как одеяло, кожуру. Завязался общий разговор. Алеша ловил в оба уха каждое слово.

Лукач воодушевленно заговорил о том, как его восхищает ночной Мадрид.

— С наступлением темноты он таинственно преображается и начинает напоминать революционный Петроград. Я попал туда впервые много времени спустя после гражданской войны, так что сужу по литературе, больше всего, конечно, по Блоку. Но мне кажется, что очень похоже. Эти пустые, мертвые улицы. Мрачные, отрешенные от прежней, мирной жизни громады домов. Воет холодный ветер. Где-то в отдалении послышатся выстрелы, и опять тихо как в могиле. Так и мерещится, что из-за угла выходят двенадцать красноармейцев...

Танкисты, притихнув, слушали его, должно быть зная, что перед ними писатель. Но резко возразил Кольцов:

— А впереди Иисус Христос? Бросьте, мой друг, разводить эти романтические бредни! Ничего общего. Разве что ветер и холод. Но не мороз, да и метели нет, а какие же «Двенадцать» без сугробов и «порхает снег»? Главное же — по существу абсолютно не та ситуация. Здесь идет борьба против доморощенного испанского и мирового фашизма, первая на свете антифашистская война. Здешние двенадцать намотали на шею черно-красные платки, проповедуют интегральный и немедленный коммунизм, причем нередко вставляют палки в колеса защитникам Республики. С ними хотя и очень деликатно, но необходимо

бороться. И прежде всего против их разболтанности. Нужна железная дисциплина, нужно настаивать на скорейшем создании настоящей народной армии вместо всех этих, как бы их назвать, дорических колонн. Надо также воспитывать всеобщее уважение к ее солдатам и в особенности к республиканским офицерам. Офицерское звание давно скомпрометировано массовым участием кадрового офицерства в мятеже. А у вас вон и адъютант, даром что парижанин, выдержан во вкусе чапаевского Петьки, по буржуазным отелям с винтовкой расхаживает. Звание у него небось тененте, но как в этом убедиться, если он знаков различия не носит? Да и вы сами тоже, чего скромничаете? Генеральское звание должно внушать уважение...

На обратном пути Лукач признал правоту Кольцова.

— Все, что Михаль Ефимович говорил, очень и очень правильно. Умный он человек, политически мыслит. Напомнил нам с вами, что знаки различия тоже политика. В самом деле... За вас я прямо краснел. Что за вид? Как в кино двадцатых годов, честное слово! Завтра же сдайте Севилю эту свою пушку. Револьвер я вам раздобуду...

Вызванный спозаранку прямо на командный пункт в Лас-Росас и даже растерявшийся от этого, Никита получил нагоняй за то, что до сих пор не позаботился одеть всех офицеров бригады согласно изданному месяц назад приказу. И уже на третий день началась вселенская переэкипировка. На фуэнкарральскую базу налетел добрый десяток портных, обладавших поистине придворными манерами и этим сильно напоминавших своих хитрющих коллег из андерсеновской сказки про голого короля. Они с повышенной тщательностью обмеряли всех, начиная с Лукача и Петрова, официально назначенного заместителем комбрига, затем Белова и Реглера, а там и Тимара, и Севиля, и самого Никиту и далее вплоть до Морица, Алеши и Клоди. И в какие-то телеграфные сроки новая форма республиканской армии была готова вместе со

сшитыми тоже по мерке кавалерийскими сапогами из желтой кожи. Офицеры Двенадцатой, первые на Центральном фронте, стали подобны восковым красавцам, выставленным в витрине главного военного магазина.

— Если хочешь быть красивым, поступай в гусары,— удовлетворенно произнес Белов, оглядывая себя в зеркале и удивляясь, куда это девался не вчера определившийся животик.— Так что ли, Алеша, у Козьмы Пруткова?

Конечно, все это произошло не совсем одновременно, да и форма была не очень единообразной, поскольку в ней допускался некоторый разнобой: можно было, например, носить фуражку или пилотку, вместо бриджей — сапоги и защитные брюки навыпуск, но зато на всех офицерских головных уборах появились теперь вышитые пятиугольные красные звездочки, окруженные тонким золотым галуном. У генералов же фуражка была обшита золотыми дубовыми листьями, а на обшлагах скрещивались шпаги, пики или стволы орудий, по принадлежности к тому или иному роду войск, не предусмотренных же в прошлом танкистов отличала башня старинной крепости.

Где-то к середине декабря наконец начала действовать и почта интербригад. Однако шифр, определявший общий адрес их в Альбасете, нелегко был усвоен бойцами и отвечавшими им. Поэтому первое время многие письма не доходили по назначению. В результате к концу года у Клоди скопилось до трехсот запечатанных конвертов, содержавших, однако, в себе то, что всегда содержит полевая почта: тревогу, нежность, тоску и надежду. Лукач распорядился отправить их поочередно в каждый батальон, а также в эскадрон и батарею, чтобы везде вслух прочитать имя и фамилию, проставленные впереди адреса, а потом переслать в Одиннадцатую. В результате две трети писем дошли до адресатов, после чего оставшиеся отправили назад в Альбасете, чтобы отделы кадров сверили их со своими списками.

— Переведите вашему другу Клоди, прошу вас, — попросил Лукач своего адъютанта, и в самом деле ладившего с казначеем, писарем, почтальоном и машинисткой в одном лице, — что от него зависит радость и даже счастье очень многих товарищей. Пусть он всегда помнит об этом.— И, помолчав, прибавил: — Но тяжко думать, что многие письма долго еще будут искать, где такой-то и такой, однако уже никогда его не найдут, ибо он убит...

Ни Петров, ни Белов, ни Баллер, ни даже такой тертый калач, как Никита, писем не получали. Приехавших из СССР (через Коминтерн или кадровых советских военнослужащих — все равно) из конспиративных соображений должна была обслуживать особая почта. Но до января она практически бездействовала. В разговоре между собой Петров и Белов высказывали подозрение, что их псевдонимы могли быть причиной задержки. Но не получал писем и Фриц, во второй половине декабря окончательно возвращенный в бригаду, а уж тут, казалось бы, наладить дело гораздо проще, хотя бы потому, что советников было во много раз меньше, чем коминтерновских. Зато Лукач, давно написавший жене и дочери через хозяйку отеля в Париже, уже получил через нее же ответ, но, чтобы не вызывать в ком-нибудь из друзей законной зависти, он бесстрастно сунул его в нагрудный карман и старательно застегнул пуговицу.

Распечатано письмо было лишь перед сном, в отдельной комнате комбрига. Нисколько не стесняясь присутствия адъютанта, лежащего рядом на второй кровати, Лукач некоторое время рассматривал бисерный почерк француженки и лишь затем перочинным ножиком аккуратно вскрыл конверт и медленно, медленно начал читать вложенные в него листочки, а прочтя, тут же стал перечитывать. После этого он сложил листки, положил их в бумажник, спрятал его под подушку и погасил свет.

В темноте он не ворочался, но по его дыханию Алеша долго слышал, что он не спит.

Почти одновременно с получением письма Лукач получил и личного переводчика на испанский. Им стал мадьяр лет, вероятно, под тридцать, раненный на Арагоне еще в сентябре и по выздоровлении направленный было в Одиннадцатую. Прослышав, однако, что Двенадцатой командует его земляк, он поинтересовался, а нельзя ли попасть в нее. С ним согласились, а так как он носил славянскую фамилию, послали в балканскую роту батальона Домбровского. Командир ее, македонец из Болгарии, Христов, тоже после Сентябрьского восстания бежавший в Советский Союз, зайдя как-то к Белову, оказавшемуся незаметно для самого себя в роли опекуна всех болгарских кадров на Центральном фронте, пожаловался ему на свои трудности и упомянул среди них одну, довольно неожиданную. Оказывается, ему в роту прислали пополнение из двадцати двух человек, но среди сербов, болгар и влахов есть один, шут его разберет кто. С ним, будто с глухонемым, невозможно договориться, потому как он знает гишпаньский да мадьярский, а на них в роте никто не млувит. Христов за пятнадцать лет пребывания в СССР не сумел сколько-нибудь сносно освоить русский, но при этом умудрился почти забыть и македонский, и болгарский и высказывался на некоем общеславянском арго, состоящем из фантастического смешения русских, болгарских, сербских да еще польских слов. Возможно, из стремления быть понятым Христов всегда страшно кричал. Так было и сейчас, и Лукач, из своей комнаты услышав его жалобы, вошел к Белову и попросил шумного командира роты прислать к нему этого глухонемого полиглота.

Так в машине Лукача появился переводчик с мадьярского на испанский и наоборот. По происхождению Крайкович был крестьянином, после чьего-то доноса в волостное полицейское управление коммунисту Крайковичу

пришлось эмигрировать во Францию. Там ему, однако, не удалось получить работу, и он перебрался в Испанию, а точнее, в Каталонию, где в конце концов превратился в заправского строительного рабочего. Небольшого роста, крепыш, он твердо стоял на коротких и кривых, как у кавалериста, ногах; был медлителен, но аккуратен и точно выполнял все поручения Лукача. Разговаривал он неспешно, необычайно рассудительно и независимо. Разговорный испанский он знал хорошо, знал и каталонский. Впрочем, под Мадридом о каталонском можно было не вспоминать. Вообще же Йозеф Крайкович очень быстро пришелся в штабе ко двору, комбриг был им очень доволен и как-то объяснил Алеше, что Йошка, этот типичнейший венгерский крестьянин, и полезен ему не только как переводчик, но еще и как собеседник, говорящий на отменном венгерском.

Невзирая на постоянные перемещения и бои, жизнь Лукача в декабре этого, первого, года испанской войны состояла не из одного нервного напряжения и непрерывных тревог. Многое и радовало. Радовали дружеские, доверчивые отношения между всеми офицерами штаба, лишенные каких-либо расчетов, трений, борьбы самолюбий или карьеризма. Радовали и заметные успехи задуманных комбригом предприятий, главным из которых было создание больших авторемонтных мастерских. Под них заняли полуразрушенный и пустующий древний собор в провинциальном и тоже очень старом городке Кольменар-Вьехо. Бывшие авторемонтники, автослесари, сварщики и автогенщики собирали из большой кучи металлолома одну вполне пригодную машину, а то и просто, перебрав и промыв мотор керосином, сменив колеса и наполнив бак бензином, со сказочной быстротой воскрешали какую-нибудь легковушку.

Не меньше утешала его и служба связи, руководимая неутомимым, несмотря на почтенный возраст, Морицем,

кроме всего прочего умеющим еще и самостоятельно раздобыть все необходимое, хоть птичье молоко, если бы оно понадобилось для лучшей работы полевых телефонов. «Орлы Морица», как называл их Петров, научились на каждом новом командном пункте бригады в кратчайшие сроки соединять его с батальонами и батареей, а ее, в свою очередь, с наблюдателем в пехоте.

Не могла не доставлять удовлетворения Лукачу и все более меткая стрельба орудий, управляемых Мигелем Баллером, умение которого Белов, сам бывший командир батареи, оценил сразу.

Единственным постоянным и непреходящим горем Лукача были потери — и первые, и совсем недавние, и даже неизбежно предстоящие. В каждом бою, в любом соприкосновении с противником, а тем более в серьезном многодневном сражении, были убитые и раненые. Для раненых Лукач с Хейльбрунном делали все, что могли, чтобы с перевязочного пункта их скорее направляли в прифронтовой госпиталь бригады, откуда легкораненых эвакуировали в собственный восстановительный центр, организованный меньше чем в ста километрах к югу. Тех же, кто был ранен тяжело, везли в санитарных машинах в больницы Валенсии, сопровождавший фельдшер обязан был записать, кто и куда попал. Санитарная служба Альбасете следила, чтобы выздоравливающих выписывали в дома отдыха интернациональных бригад, расположенные в Беникасиме, на валенсийском побережье. Оттуда же те, кто могли воевать, получали возможность вернуться к себе в батальон.

Однако всегда вместе с ранеными с поля боя выносили и убитых. И каждый раз, когда мысль Лукача обращалась к их общему числу или — и это было еще больнее — к тем из них, кого он знал лично,— каждый раз сердце его щемило. Рассуждения вроде «война ведь» нисколько почему-то не облегчали... Ему иногда даже снился один и тот же

сон, будто он нашел хитрый способ победить фашистов, не пожертвовав ни одним человеком.

Однажды эти тайные и, скорее, противоестественные настроения прорвались наружу. Фриц, как-то раньше обычного приехавший из Мадрида, куда по положению о советниках каждый вечер отбывал ночевать, заметив особенно мрачный вид командира бригады, обеспокоенно спросил, не вернулась ли к нему опять мигрень? Лукач ответил, что нет, но что всего десять минут, как ему сообщили о прямом попадании пехотной мины в окоп. Убито сразу шесть гарибальдийцев. Фриц с некоторой даже укоризной заметил, что надо же понимать: потери неизбежны.

— Какой же ты генерал,— с простодушным упреком заключил Фриц,— если ты каждого убитого будешь переживать, словно ты вдова его?

— Ка́ко́й я генерал? — повышая голос, переспросил Лукач.— Могу сказать. Я, если хочешь знать, антивоенный генерал!..

Была, впрочем, в декабре одна смерть, которая повергла и Фрица, и вообще всех, особенно же оба немецких батальона, в глубокое горе. Гибель Ганса Баймлера, нелепо случайная, после того, как он ушел от стольких предназначенных ему смертей и прославился своим единственно успешным побегом из Дахау. Он был сражен, когда Одиннадцатая стояла уже вторично на подступах к позициям в Каса-де-Кампо. Комиссар Баймлер направлялся с двумя сопровождающими в батальон Эдгара Андре. Они неторопливо пересекали никогда ни до того, ни после того не простреливавшуюся лужайку перед парком, когда раздались два сухих винтовочных выстрела, и шедший первым Баймлер упал не вскрикнув. Снопом свалился и второй немецкий респонсабль. Оба они были в канадских полушубках. Третий же остался невредим. Подбежав к Баймлеру и наклонившись, он увидел, что тот уже не дышит, пуля, как выяснилось потом, вошла прямо в серд-

це. Второй товарищ скончался еще до того, как подошла машина с красным крестом.

Убитого торжественно хоронили в Мадриде, и Лукач ездил на похороны, стоял в почетном карауле у лакированного черного гроба. По возвращении Лукач отказался от обеда, пожаловался на головную боль, а в своей комнате вечером заговорил с Алешей:

— И все эти белые полушубки, давно повторяю о них! Скажите Клоди, чтоб напечатал приказ о запрещении кому бы то ни было носить их на фронте. Не забудете? — Лукач вздохнул.— Хотя я заметную часть жизни провел на разных, очень разных,— подчеркнул он,— фронтах еще более разных войн, а все же не смог привыкнуть к смертям. И не потому, что живому человеку с ней вообще нельзя примириться. И не в сострадании только дело. Я — не знаю даже, как это вам объяснить,— не выношу самого вида мертвеца, особенно если это убитый. Я ощущаю в нем нечто противоестественное. Вы не кавалерист, а то бы знали, что такое прекрасное животное, как породистая лошадь испытывает перед трупами и вообще перед падалью поистине мистический ужас. Если же ваш конь привык к убитым, не храпит и не шарахается, это уже порченый конь, он вроде мула. Что хотите обо мне думайте, пусть у меня лошадиное сердце, но я честно признаюсь: всю жизнь избегаю всякого соприкосновения со смертью, по возможности не хожу на похороны и старательно уклоняюсь от мрачных этих говорилен, будь то торжественная гражданская панихида или бытовые поминки...

А вскоре после того удивленный Алеша услышал от своего комбрига нечто так же мало отвечающее стереотипу.

В этот раз они ездили в батальон Гарибальди, но хотя он снова находился в Каса-де-Кампо, однако теперь туда было безопаснее добираться окружным путем на машине. Пробыв час у итальянцев и переговорив с Паччарди через Алешу, Лукач в его сопровождении с километр шел обрат-

но лесом. После гула дальнобойных орудий послышался шорох летящих над их головами снарядов. Выйдя в поле к «пежо», они увидели, что снаряды ложатся на тыловое селение, виновное, по всей вероятности, лишь в том, что через него проходила автомобильная дорога. Лукач забеспокоился:

— Как бы не подбили машину, если поедем через это пуэбло[1]. Скажите-ка Луиджи, пусть лучше вон по тому шоссе объедет и подождет нас за перекрестком. А мы с вами обойдем это дело поближе, но заодно, может, и увидим, почему они эти хаты громят...

Обстрел, впрочем, закончился, едва они приблизились к злосчастному селению. Пыль в нем еще не вполне осела. Несколько крестьянских домов разрушены прямым попаданием. И жители — мужчины, ведя прядающих длинными ушами мулов и гоня коз, а женщины, таща младенцев и узлы, с детьми постарше,— торопясь, почти бежали к тылу. Раненых среди них как будто не было, но между домами на дороге одиноко лежал, раскинув руки и ноги, убитый в запачканной кровью рубашке.

Когда Лукач с адъютантом подходили полем к шоссе, по которому, пятясь, подкатывало от перекрестка «пежо», туда же подошла и толпа беженцев. Двое в плисовых штанах вели под руки растрепанную старуху, что-то дико вопящую и равномерно ударяющую себя сложенными щепотью пальцами в грудь. Должно быть, это была мать того, с раскинутыми руками, позади, на дороге. Поравнявшись с Лукачем и поняв, что это какое-то высокое начальство, она было стихла, но вдруг вырвалась из рук односельчан и, подбежав к нему с поднятыми вверх костлявыми кулаками, принялась еще громче кричать. Морщинистое, темное лицо ее было залито слезами, головной платок повис на одном плече, седые волосы развевались

[1] Село (*исп.*).

по ветру. Двое бросились было за ней, чтобы взять и вести дальше, но Лукач предупредил их. Он мягко взял несчастную женщину за локти, привлек к себе, прижал простоволосую голову к широкой груди и, гладя по спине, принялся приговаривать:

— Ну, успокойся, мать! Успокойся! Не убивайся так, бедняжка!.. Мы поколотим их! Как пить дать — поколотим! Все, родная моя, будет хорошо!..

Старуха, будто понимала по-русски, притихла. Два испанских крестьянина бережно приняли ее от Лукача и повлекли дальше. Лукач обтер о подножку землю с подошв, сел в машину. Глаза его повлажнели. Он повернулся к своему адъютанту:

— Видите теперь, какая гадость война? Вот почему я почти всю сознательную жизнь и воюю. Против войны!..

Уже ближе к концу месяца произошло неприятное событие. Луиджи разбил «пежо». Встав в то утро до рассвета, он часа два провозился с мотором, а потом выехал со двора опробовать тихонько клохтавшую машину. Несколько раз «пежо» пронеслось взад и вперед по шоссе, но, когда скорость дошла до ста двадцати, Луиджи увидел метрах в ста перед собой мотоциклиста, беззаботно выкатывающегося на «харлее» из раскрытых ворот загородного дворца. Луиджи, видимо, считал чужую жизнь дороже своей, потому что сделал невозможное. Он выключил газ и разом дал все тормоза. «Пежо», адски визжа и уподобляясь мустангу, сбрасывающему ковбоя, с разгона уперлось передними колесами в шоссе, взбрыкнуло задними, громко лязгнув, легло на спину, снова наддало, теперь уже вздымая вверх радиатор, вторично исполнило эту немыслимую фигуру и в изнеможении опустилось наконец на полопавшиеся шины. Обалдев от ужаса, выпустив руль и заслонив обеими перчатками лицо, мотоциклист каким-

то чудом перелетел шоссе, канаву за ним и простерся в сухом бурьяне. Со двора уже бежали: Беллини, шоферы штабных машин и бойцы охраны. Мотор лежащего на боку «харлея» продолжал греметь, мотоциклист же казался мертвым, однако, едва его стали выпрастывать из-под седла, он мгновенно ожил, встал на ноги и, поддерживаемый с двух сторон, заковылял к воротам; за ним повели еще более выносливый мотоцикл. Подбежавшие к «пежо» Беллини и Лягутт с Фернандо, издали увидев, что Луиджи сидит с открытыми глазами и обеими руками держит баранку, сначала обрадовались, но он, как оказалось, был без сознания.

Луиджи пришел в себя только вечером, но еще три дня не мог шевельнуться из-за боли во всех суставах, а на четвертый — встал, покряхтывая и чертыхаясь, побрился, медленно оделся и, хромая на обе ноги, добрался до парадного холла во дворце. Там он вызвал адъютанта и попросил его узнать у генерала, как дальше быть. Луиджи слышал от других шоферов, что, пока он был еще без сознания, лейтенант Тимар эвакуировал изуродованное «пежо» в Кольменар-Вьехо и взамен прислал командиру бригады черный восьмицилиндровый «форд», раздобытый им в главном транспортном управлении штаба фронта. Тимар при этом будто бы пообещал привести «пежо» в порядок дней через десять. Луиджи считал, что это было бы слишком хорошо, но если это исполнится, может быть, генерал его не накажет?

Лукач сам спустился к нему в холл, потрепал по щеке, протянул ключи от «форда» и поздравил с выздоровлением и возвращением к своим обязанностям.

Тимар сдержал свое слово, опоздав против назначенного срока всего лишь на сутки. За это время штаб бригады снова перебазировался на обжитую виллу в Фуэнкаррале. Когда Тимар самолично привел машину, Лукач, скрывая радость, обошел ее кругом, присев на корточки,

заглянул под кузов, открыл переднюю дверцу и осмотрел приборы. Тимар торопился, и комбриг, держа его руку в своей, долго и ласково благодарил по-венгерски, а когда тот уехал, весело сказал Алеше:

— Молодец какой, а? Даже часы идут. Переведите-ка неудачливому нашему самоубийце, что пусть не зарится на «пежо». Возить он нас будет на «форде». Эту же карету мы до поры до времени поставим на прикол. Игрушечка, а не автомобиль! Пусть отдыхает. А вот когда отвоюемся и мне скажут: «Ты честно сражался за правое дело и заслужил со своими товарищами вечную благодарность свободной Испании, проси чего хочешь», я тогда попрошу, чтоб подарили мне это «пежо». Отвезу я его домой, научусь водить не хуже Луиджи и каждый раз, садясь за руль, чтобы повезти в театр дорогих моих жену и дочку, каждый раз с нежностью и любовью буду вспоминать нашу с вами Испанию...

Увы, лирическим мечтам Лукача не пришлось осуществиться, потому что «форд» на следующий же день попал в тяжелую аварию. Еще впервые заводя его, Луиджи мрачно заявил Алеше, что это коварная машина, она слишком мощна. Скорость доходит до ста сорока, но уже при ста она начинает трястись как в лихорадке.

Переваливаясь с боку на бок, могучий «форд» ни на одном из участков разбитого, хорошо знакомого шоссе из Фуэнкарраля в сторону Эль-Пардо — куда Лукач был приглашен на совещание с Горевым, Ратнером, Фрицем и Клебером — скорости в шестьдесят километров не превышал, и едущие в нем ничем не рисковали. Лукач, как всегда, помещался на заднем сиденье слева, держась за спинку водительского кресла. Рядом расположился адъютант, в борьбе со штормовой качкой уцепившийся за висевшую справа кожаную петлю. Перед ним, не поворачивая головы, всматривался в провалы и гребни, схожие с окоченевшими волнами, Крайкович.

На половине пути впереди показались десятка два домов за кирпичными заборами. Метрах в ста перед «фордом» в том же направлении двигался камион, судя по рессорам, тяжело нагруженный: скорее всего, вез снаряды на фронт. Шоссе между домами было получше, и грузовик прибавил ходу. Дал газу и Луиджи и сразу же приблизился к нему. Но тут послышалось дрожащее гудение, заглушившее и рокот мотора, и стук тугих шин. Над домами появились три летящих навстречу бомбардировщика. Луиджи быстро сообразил, что избежать бомб можно, если успеть попасть под «юнкерсы» до того, как они сбросят груз, и так нажал на акселератор, что «форд» подпрыгнул, а всех качнуло назад. Чтобы поскорее обойти камион со снарядами, Луиджи до отказа взял влево, к самому краю шоссе. Расчет был верным. «Форд» помчался за обезумевшим грузовиком, и тут же над тем и другим в оглушающем громе девяти двигателей пронеслись широкие, тупые на концах крылья. Всякая опасность миновала. Но когда передние колеса «форда» поравнялись с задними грузовой машины, шофер ее ни с того ни с сего круто повернул налево. Луиджи в долю секунды убрал ногу с педали, выключил зажигание, тоже крутанул баранку влево и, вместо того, чтобы на всей скорости врезаться в борт, за которым лежали снаряды, только проехался по нему правым боком. «Форд» отшвырнуло, но Луиджи проскреб теперь левым боком по кирпичной стенке, сняв этим половину скорости, включил ручные тормоза и, вопя всеми ими, направил нос «форда» на чугунную опору фонаря. Пропоров радиатор, будто он картонный, «форд» уперся тяжелой массой мотора в столб и намертво остановился. Только тогда издалека донесся безопасный грохот единственной бомбы. И все стихло. Слышался лишь шум поспешно удиравшего грузовика и слабый гул бомбардировщиков.

Лукач не без затруднения выбрался из тесного про-

странства между передними и задними сиденьями, куда он, мигом оценив обстановку, успел броситься еще до первого удара о грузовик. Луиджи лежал головой на баранке и бормотал что-то по-латыни, вероятно читал молитву. Крайкович через смятую, но не заклинившую дверцу выскочил наружу. За ним, бессознательно тяготясь пребыванием в машине, едва не превратившейся в братскую могилу, поскорее вышли на свежий воздух Алеша и Лукач. Комбриг сразу заметил неестественную бледность адъютанта и то, что правая рука его повисла словно тряпка.

— Что с вами? — обеспокоенно спросил он.

— Кажется, сильно ударился плечом. Оно совсем онемело, рукой пошевелить не могу. И голова кружится...

— Садитесь сюда. Садитесь скорее на приступку. Голову не ушибли? Надо немедленно отправить вас в госпиталь. Тут рукой подать.

Он быстро произнес несколько мадьярских слов, и Крайкович припустил вниз к дороге на Эль-Пардо, на которую выходило шоссе. Ему довольно скоро удалось поймать идущую к фронту пустую санитарную машину, и она подъехала к месту аварии. Комбриг поручил Крайковичу доставить Алешу в полевой госпиталь Двенадцатой. Проводив санитарную машину глазами и оставив Луиджи охранять восьмицилиндровые руины, Лукач отправился вниз пешком, бодро постукивая палкой. У слияния фуэнкарральского шоссе с прифронтовым он надеялся дождаться попутного транспорта к Клеберу.

На обратном пути с совещания он навестил Алешу. Красивый, как оперный тенор, хирург Хулиан объяснил, что молодого человека подвела одна из этих идиотских кожаных петель, будто специально навешанных по всем машинам, чтобы выламывать верхние конечности. Результат скверный: полный вывих плечевого сустава с разрывом сумки и сухожилий, сверх того рентген обнаружил

трещину в лопатке и несмещенный перелом ключицы. Хулиан добавил, что боли у теньенте «Алоча», когда прошло действие хлороформа, нестерпимые и ему сделали уже две инъекции морфия, но — редчайшее исключение — на этого офицера он не действует.

Позеленевший и осунувшийся, с лихорадочно блестевшими глазами, Алеша лежал в палате на двоих. Остро пахло лекарствами, но почему-то еще и винным перегаром. Заметив, что комбриг повел носом, Алеша слабым голосом пояснил, что на второй кровати спит белорус из Польши, кавалерист, тоже попал в аварию. Он сел на лошадь пьяный, почувствовав это, она встала на дыбы, сбросив седока и затем опустив обе передние подковы ему на руку. А напился он, возвращаясь с эскадроном с кладбища интербригад, где хоронили их комиссара Пьера Гримма.

— Я с Пьером еще в поезде познакомился, а потом в Фигерасе и по пути в Альбасете подружился,— чуть не плача, говорил Алеша.— Очень его жалко...

Лукач узнал о смерти Гримма, еще когда ехал к Клеберу, и был огорчен не меньше Алеши. Приказ о снятии Массара и о назначении командиром Гримма уже два дня как был напечатан Клоди, его оставалось только подписать. А что делать сейчас, кого поставить командиром? О комиссаре вопроса не было, комиссаром назначался теперешний комиссар французского взвода, но где искать второго Гримма?.. Лукач положил на тумбочку у Алешиной кровати едва помещавшийся в руке апельсин, аромат которого сразу заполнил маленькую палату, извинился, что забежал на минутку.

— Хлопот полон рот. Между прочим, опять гоняю на «пежо». Оказалось, что мой Луиджи — бывший профессиональный гонщик фирмы «Фиат» и как-то на трассе при скорости в двести тридцать переехал корову. В общем, товарищи решили меня поберечь. Луиджи перевели на мотоцикл, а мне из Мадрида прислали прелестного испан-

ского юношу, ему только-только двадцать исполнилось, а до мятежа он возил на «паккарде» по церквам какую-то богомольную старушку и не то что коров, но и собак в жизни не давил...— Лукач осторожно погладил слипшиеся волосы Алеши.— Ну, мне надо идти. Постараюсь завтра заглянуть. Терпите, поправляйтесь и ни о чем не беспокойтесь. Другого адъютанта я себе не возьму...

Забот и дел у Лукача в самом деле хватало.

Уже с неделю тонкая нитка Центрального фронта нигде не рвалась, и Горев со своим окружением в согласовании с Военным комитетом испанского ЦК и генералом Миахой решили, что наступил момент для проявления инициативы. Пора было доказать защитникам Мадрида, что они научились не только обороняться, но могут и наступать. Для подтверждения этого была избрана Двенадцатая. Ее вывели в резерв фронта и опять разместили в казармах Эль-Пардо, объявив о предстоящем десятидневном отдыхе. Ни в одном из батальонов не проводилось ни занятий, ни стрельб. Бойцов каждого батальона группами возили в город, чтобы они могли ознакомиться с ним, ведь уже полтора месяца бригада сражалась за Мадрид, и под его стенами полегла почти четвертая часть ее.

Задумана была намечавшаяся операция очень хитро. Успех ее должен был иметь больше психологическое, чем стратегическое значение, и потому для наступления подыскали чрезвычайно отдаленный и неактивный участок фронта, в глухих горах за старинным — впрочем, в Испании иных и не встречалось — тыловым городком Гвадалахарой. Собственно, даже называть эти места фронтом не следовало: там не было не только окопов, но и сколько-нибудь определенных позиций. Противостоящие силы сводились к небольшим гарнизонам, размещенным в населенных пунктах, да еще к патрулям, высылаемым обеими сторонами на безлюдные дороги.

Разработать план наступления поручили советнику

бригады коронелю Фрицу, который, пожав всем руки, удалился в Мадрид и с головой погрузился в работу. Главным условием успеха операции должна быть внезапность, другими словами, абсолютная секретность места и времени ее проведения. Горев категорически настаивал на этом и даже указал, кому персонально кроме Лукача и Фрица могут быть доверены сведения о ней. Он назвал всего трех: заместителя командира бригады полковника Петрова, начальника штаба майора Белова, а также Реглера, продолжавшего исполнять обязанности комиссара бригады.

Однако Лукач нарушил горевскую заповедь ради Тимара. Транспорт должен быть подан за сутки до нового года, чтобы бригада смогла одним рывком переместиться километров на восемьдесят от Эль-Пардо, как же было не предупредить об этом Тимара? И тот, вытянувшись, уверенно подтвердил своему «эльфташу» и «таборноку», что все будет сделано. Имел ли, однако, право Лукач ограничиться лишь Тимаром?

Нужно было предупредить и Баллера, чтобы накопить возможно больше снарядов. Нельзя было не предупредить и Хейльбрунна, великолепно обеспеченного и санитарными машинами, и медикаментами, и перевязочными средствами, не говоря уж об инструментах, но ведь ему надо было успеть заранее перенести полевой госпиталь, а для этого предварительно подыскать подходящее помещение в достаточно укромной местности и определить еще, какими не самыми тряскими путями эвакуировать раненых.

Одним из непредусмотренных последствий такого нарушения Лукачем строгой конспирации было неожиданное возвращение недолеченного адъютанта на фуэнкарральскую базу. При ближайшем же обходе Хейльбрунн объявил Алеше, что из-за увеличения полетов фашистской авиации решено переместить бригадный госпиталь в более безопасный район: тяжелораненых сегодня же начинают

вывозить в тыл, в главный госпиталь Двенадцатой. Выздоравливающим предоставляется право отправиться дальше к югу или вернуться в свою часть. Алеша без долгих разговоров избрал последнее.

Лечащий врач, бывший до событий детским доктором, сухорукий каталонец Пуччоль взялся отвезти своего пациента в Фуэнкарраль. В машине Пуччоль назидательно рассказал Алеше, как сам потерял левую руку. После участия во взятии казармы Монтана он рядовым милисьяно попал на Гвадарраму, где вскоре пулеметная пуля пробила ему левое плечо. Кое-как залечив рану, он вернулся в строй, но прозевал последний срок, в который надлежало заняться восстановлением двигательных способностей, когда же спохватился, было уже поздно: рука высохла. Высаживая очень бледного адъютанта у ступенек виллы, Пуччоль настойчиво советовал учесть его горький опыт. Кое-как доковыляв до второго этажа, Алеша вошел в свою, общую с Лукачем, комнату, левой рукой взял подушку и, не желая беспокоить комбрига своей безнадежной бессонницей, пристроился в коридоре на узком клеенчатом диване. Пока тянулся бесконечный этот день, он, стиснув зубы, лишь изредка постанывал, заранее решив, что ночью, когда все лягут спать, не издаст ни звука. От обеда и ужина он отказался и в состоянии оцепенелого полузабытья, центром которого была дергающая острая боль, не шевелясь, лежал в темном проходе.

Перед ужином внизу зажегся свет, там, стрекоча, накрывали на стол девушки, затем стали сходиться офицеры, задребезжали тарелки, завязались разговоры, послышались шутки и смех. После еды задымили, и запах табачного дыма поднялся к Алеше, но даже курить ему не хотелось. За бесконечные дневные часы к нему поднимались Петров и Белов, приходил и Беллини, и сердобольная Пакита. Все жалели его и спрашивали, не нужно ли чего.

И лишь после того, как все легли и везде погас свет, рывки в плече, казалось пронзающие сердце при каждом его ударе, начали понемножку слабеть. Постепенно Алеша погрузился в полудрему-полубред и вынырнул на поверхность далеко после полуночи, услышав, что часовой раскрывает ворота и что «пежо» почти бесшумно огибает центральную клумбу. Затем скрипнула входная дверь, и комбриг, светя фонариком, взошел по лестнице. Дойдя до дивана и обнаружив на нем Алешу, он остановился.

— Здравствуйте. Но почему вы здесь, а не в нашей комнате?

Чувствуя, как вновь рот сводит от боли, Алеша сдержанно объяснил.

— Чепуха какая! — зашептал Лукач.— Если я хочу спать, мне ничто не помешает. Встать вы можете?.. Тогда осторожненько поднимайтесь и пошли. И без разговоров. Там же мягче, чем на этой трактирной лавке, а значит, и плечу будет легче...

Он взял с дивана подушку и понес за перекосившимся вправо адъютантом. В комнате Лукач зажег лампу на своем столе, отвернул на Алешиной постели одеяло, взбил и положил в головах подушку, почти не прикасаясь, расстегнул френч с отпоротым рукавом, стащил с больного, стараясь не дернуть, узкие сапоги и снял брюки. Через несколько минут Алеша лежал в своей кровати и медленно отходил от только что перенесенных испытаний, тягчайшим из которых было стягивание его сапог самим комбригом, собственноручно.

Лукач еще ворочался и вздыхал, но в конце концов заснул. Алеша же забылся лишь к рассвету. Но едва наступило утро, сразу почувствовалась особая во всем возбужденность. Немедленно после завтрака во дворе началось движение машин и беготня, решительно отодвинувшие в прошлое все вчерашние переживания и размышле-

ния. На базе штаба должны были остаться только «однорукий» Алеша, оба повара, Беллини и четыре девушки. Все остальные уезжали. Несмотря на то что шоссе проходило метрах в ста от виллы, Алеша слышал, как по нему одна за другой проносились машины, и это были собранные чуть ли не из обломков собственные автобусы и грузовики бригады.

Дотошно разработанное Фрицем наступление, начавшееся на рассвете под новый, 1937 год, принесло первую долю территории, отвоеванную у мятежников, и первую же на Центральном фронте бесспорную победу республиканцев. Всем трем батальонам удалось выполнить задачу, поставленную Фрицем, и не только выбить кадровые пехотные роты из занятых ими поселков, но и благодаря внезапности нападения обратить их в беспорядочное бегство, захватить двадцать шесть пленных и овладеть документами штаба батальона, командир которого спасся в последнюю минуту, выпрыгнув в окно, но оставив на милость гарибальдийцев свою лошадь, седло, чемодан и даже молодую жену. Паччарди с рыцарской галантностью отправил даму в Мадрид на собственной машине, приказав шоферу высадить ее, где ей будет угодно.

На следующий день, когда победоносные герои сдавали захваченные позиции анархистской колонне, а сами готовились насладиться газетными статьями в свою честь, когда Фриц сконфуженно принимал в подземелье министерства финансов поздравления Горева и его друзей, примчавшийся за сто километров взглянуть на пленных Михаил Кольцов вылил на сияющего Лукача ушат холодной воды:

— Конечно, я напишу в «Правду» об этой победе республиканцев, но нельзя быть слишком самонадеянными. Славная ваша бригада захватила три населенных пункта, но тем временем фашисты начали весьма продуманную атаку в непосредственной близости от осажденного города,

сбили какую-то почти не обстреляннную часть, захватили Махадаонду и вышли на оперативный простор. Трещину эту мы замазываем чем можем. Сегодня подъехала из Альбасете еще одна интербригада, Четырнадцатая. Ее бросают туда. Но, по-моему, вся беда в том, что где тонко, там и рвется.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Франкисты, пронюхав о подготавливаемом Мадридом широкомасштабном наступлении на их слабом правом фланге к югу от города, решили упредить республиканцев, получив германские скорострельные сорокапятимиллиметровые пушки и во всем остальном — в бомбардировочной авиации, артиллерии и в организованности — превосходя защитников Мадрида.

К началу февраля скрытно сосредоточив в тылах свежие части и восемь четырехорудийных батарей, Франко за неделю до операции правительственных войск начал свою. Главной ее задачей был захват значительного отрезка валенсийского шоссе вдоль текущей между холмами мутной и мелкой речки Харамы, потому что оно было главной артерией, связывавшей осажденную столицу и ее миллионное население, а также ее защитников с индустриальной Каталонией и плодородными областями страны, питающими город продовольствием и оружием.

Правительственные войска, применив против рвущегося к Арганде неприятеля пулеметы своих легкокрылых истребителей и около сорока танков и сравнительно быстро подтянув лучшие свои части под толковым, хотя и не явным, водительством генерала Петровича (будущего маршала Мерецкова), сумели остановить врага, уступив ему, однако, узкую полосу земли на восточном берегу Харамы, но не отдав ни пяди валенсийского шоссе. Между тем потери в Харамском сражении были очень велики.

Только к концу января адъютанту генерала Лукача стало известно, кто он такой, его комбриг. Постоянно общаясь с ним, Алеша нередко удивлялся осведомленности своего комбрига в литературной области. Когда же Лукач узнал, что его адъютант — бывший поэт, печатавшийся в толстых эмигрантских журналах, между ними в свободное время чаще стали возникать разговоры о литературе. Заводил их всегда Лукач. Однако полное объяснение его интереса к художественной литературе появилось лишь после того, как комбриг доверил ему свою московскую фамилию.

Произошло это в Альбасете, куда Лукач примчался, чтобы получить для Двенадцатой к назначенному на первые числа февраля обширному республиканскому наступлению две тысячи трехлинеек, доставленных в Испанию на советских кораблях вместе с необходимым запасом патронов. Но неожиданно он ничего не добился ни у сухо встретившего его Андре Марти, уязвленно заявившего, что распределение оружия в его компетенцию не входит, ни у Цюрупы, в свою очередь обиженно отвечавшего, что он всего лишь завскладом, распределяются же эти винтовки единственно председателем совета министров и военным министром Ларго Кабальеро, практически же все зависит от его заместителя генерала Асенсио.

Горько разочарованный, Лукач, проведя всю альбасетскую ночь в тревоге, решил возвратиться восвояси. Но до отъезда он написал большое письмо в Валенсию старшему советскому командиру и главному советнику при Ларго Кабальеро. Доставить письмо Лукач поручил Алеше, но беда была в том, что адрес столь важного лица никому в Альбасете не был известен, и узнать его надлежало в Центральном Комитете испанской компартии. Хотя на конверте и было написано: «Товарищу Гришину[1] от

[1] Я. К. Берзин

П. Лукача», но Алеша давно уже заметил, что никто из советских этот, очевидно недавний, псевдоним главного советника не употреблял. Его называли или с почтительной фамильярностью Стариком, или Яном Карловичем. Перед тем как запечатать письмо, комбриг прочел его вслух Алеше.

— По моему мнению, человек всегда должен знать, что везет. Почему я так думаю? Потому что был когда-то дипкурьером. Не зная содержания, вы могли бы не суметь поддержать меня, если вдруг Старик с вами заговорит. Имейте в виду, что это оч-чень большой человек. Держитесь с ним соответственно: прямо и, что называется, без задней мысли. Надеюсь, он сделает все, о чем я прошу, и дня через два Севиль сможет отправить отсюда винтовки и патроны. Только у меня будет еще одно поручение. Я доверяю вам список на пять старших наших товарищей, прибывших сюда из Москвы и за три почти месяца не получивших от своих близких ни строчки. В списке проставлены и здешние и настоящие их имена. Понятно, вы должны держать их в секрете. Обратитесь сначала к начальнику штаба Яна Карловича полковнику Петрову, в отличие от нашего Петрова, это его подлинная фамилия, а если он самолично не сможет заняться этим, надеюсь на вас. Разыщите любой ценой в нашем консульстве заведующего полевой почтой, скажите ему, что все мы считаем эту неувязку чистейшей пробы безобразием, и отдайте список...

Первым в нем стоял Пауль Лукач, против этого имени каллиграфическим почерком Белова было написано нередко попадавшееся Алеше в советских журналах имя венгерского писателя Матэ Залки. Вторым шел коронель Фриц, которого на самом деле звали Павлом Ивановичем Батовым. Коронель же Петров и дома именовался Петровым, но обладал именем и отчеством: Георгий Васильевич, а кроме того, в скобках, будто на всякий случай, было

еще указано: Фердинанд Козовский. Подлинная фамилия Белова выглядела просто — Луканов, он ни с того ни с сего носил итальянское имя Карло. Самым же труднозапоминающимся оказался пятый и последний — Мигель Баллер, фамилия и труднопроизносимое имя его были Санто Рёже.

Порученные дела заняли у Алеши и Севиля не двое суток, как оптимистически предполагалось, а почти неделю, но к Мадриду тем не менее оба подъезжали, чувствуя себя победителями: далеко позади них, во дворе альбасетских оружейных складов, на камионы Двенадцатой поспешно грузились две тысячи винтовок со своими столько раз воспетыми русскими трехгранными штыками и двести тысяч патронов, а сверх того и выделенные по распоряжению Асенсио три — по одному на батальон — скорострельных зенитных орудия знаменитой швейцарской фирмы «Эрликон».

Однако Алеша в отсутствие Лукача и Фрица был весьма холодно встречен в штабе. При молчаливом согласии Петрова начальник штаба отчитал его за недопустимо затянувшееся пребывание в глубоком тылу, и лишь когда Алеша вынул два письма для того, кто и здесь именовался Петровым, но одновременно, хотя и в скобках, был еще Фердинандом Козовским, а Белову даже целых три, да еще сообщил, что привез по одному Лукачу и Баллеру, гнев сменился на милость, и Белов согласился взять в руки оправдательный документ: записку от валенсийского Петрова генералу Лукачу, сообщавшую, что старший советник не мог попасть на прием к премьер-министру и министру обороны в течение пяти дней и в конце концов направил «Вашего посланца к генералу Асенсио с написанным Вами тов. Гришину письмом, но переведенным на испанский таким образом, будто оно адресовано министру обороны».

Задуманное грандиозное наступление на дальнем

левом фланге Центрального фронта,— в котором кроме мадридских старожилов дивизии бывшего каменщика Листера, бригады бывшего преподавателя Маркеса, бригады карабинеров, Одиннадцатой и Двенадцатой интербригад должны были участвовать и Четырнадцатая и Пятнадцатая, еще не прибывшая из Альбасете,— сначала планировалось на конец января, однако занятие франкистами Махадаонды заметно повлияло на эти сроки. Хладнокровный полковник Малино[1], руководивший попытками выбить неприятеля из нее, вынужден был вовлечь в это дело Четырнадцатую, а там и Двенадцатую. Начать стягивание частей в район предполагаемых действий вдоль шоссе Мадрид — Валенсия республиканское командование смогло без риска лишь на стыке января и февраля.

Бригаду Лукача первоначально отвели из окрестностей Махадаонды на Эскориал, где, подражая горным вершинам, высил гранитные стены построенный еще при Филиппе II мрачный собор, превратившийся после его смерти в усыпальницу своего строителя, а позже и всех последующих испанских королей.

Лукач, проявивший полнейшее равнодушие и к уникальному архитектурному памятнику, и к лежащим в нем высокородным покойникам, очень воодушевился, узнав, что в отведенной ему квартире есть ванна. Он попросил Алешу помочь ему нагреть воды и принялся мыться, поливая себе из кувшина. Закончив, он крикнул, что забыл взять полотенце, и, просовывая в дверь сразу два, адъютант впервые увидел голую спину комбрига и чуть не уронил оба: от широких плеч и почти до пояса она была покрыта непонятного происхождения рубцами и шрамами.

— Что это у вас, товарищ комбриг? — с состраданием воскликнул он.

— Как «что»? Неужели никогда не видели? Шомпола...

[1] Р. Я. Малиновский.

Конечно, Алеша в отрочестве слыхал, что в гражданской войне шомпола применялись вместо устаревших розог и шпицрутенов, а позже и читал о свирепом этом наказании. Однако сейчас, увидев страшные следы на теле комбрига и услышав, с какой бытовой простотой он выговорил ужасающее это слово «шомпола», Алеша был совершенно потрясен. У него даже возникло впечатление, что командир бригады как бы стесняется неизгладимых следов перенесенной им пытки, по крайней мере, он до сих пор явно скрывал от посторонних глаз изуродованную свою спину. Понятно, кроме испуганного восклицания, адъютант никакой дальнейшей нескромности себе не позволил, лишь привязанность его к Лукачу возросла и приобрела еще более почтительный оттенок. Лукач же продолжал держаться с ним по-прежнему приветливо и ласково, но о шомполах больше не вспоминал. При совместных же поездках продолжал заводить литературные беседы, однако на вопрос, не возникает ли у него замысел новой книги на испанском материале, заявил, что сейчас ему не до художественных обобщений. Он даже ничего не заносит в записную книжку, как делал дома, и не строит никаких писательских планов: они неизбежно отвлекали бы его внимание и душевные силы, а у него на руках полторы тысячи жизней, за которые он отвечает перед собственной совестью...

Передавая ему по возвращении из Валенсии письмо, Алеша прибавил, что раз он теперь знает настоящее имя генерала Лукача, то ему известно и другое: принадлежит оно венгеро-советскому писателю, однако, по счастью, его адъютант ни одной строчки Матэ Залки никогда не прочел. Лукач удивленно взглянул на него.

— Отчего это «по счастью»?

— Если б я читал, не высказать свое мнение было бы невежливо, но, похвали я какой-нибудь рассказ, вы могли бы заподозрить вашего адъютанта в лести, выскажись я

неодобрительно, ваше отношение ко мне так или иначе, но изменилось бы.

— Неужели вы это серьезно? Ничего не прочтя из моих писаний, вы тем не менее не слишком-то польстили их автору. Вы что, и вправду думаете, что я так мелочно самолюбив?.. Впрочем, ладно. Отставить. Но знаете что? У нас еще почти час езды. Я попробую по возможности связно изложить одну главу из давно задуманного романа...

И на богатом, но очень неправильном языке с неподражаемым акцентом, причем и тот и другой чрезвычайно подходили к повествованию о военнопленном мадьяре, очутившемся в разгар гражданской войны далеко за Уралом, Лукач, не сбиваясь, без малейших примесей речевого шлака, вроде всяческих «так сказать» или «одним словом», будто читая рукопись перевода с венгерского, принялся излагать приключения сочувствующего революции молодого венгерского лейтенанта, которого читинское красноармейское командование назначило военным инструктором при обучении новобранцев. На этой работе он познакомился с бывшим полковником при Временном правительстве и царским капитаном, согласившимся служить у большевиков. Он был на десять лет старше мадьяра, ему было около тридцати пяти, а в этом возрасте подобная разница лишь помогает сближению, тем более что обучали они два соседних батальона, вместе ели жидкие щи и ячневую кашу с постным маслом в столовке казармы. По окончании учений, уже в сумерки, беседуя по пути обо всем на свете, дружно шагали в ногу на противоположную окраину города, где почти рядом для них были реквизированы комнаты. Через некоторое время близость их дошла до того, что бывший русский полковник сообщил бывшему австро-венгерскому лейтенанту о своем желании побеседовать с ним доверительно «как офицер с офицером» и, понизив голос, признался, что служит у большевиков вынужденно. У него просто не было другого выхода. Еще

осенью он с трудом пробрался с развалившегося Западного фронта навестить мать, живущую в небольшом имении под Читой, но почти сразу после большевистского переворота его, как он ни скрывался, обнаружили. Сейчас он подготовил все, чтобы уйти к своим, и предлагает лейтенанту, несомненно тоже не по доброй воле попавшему в такое же положение, присоединиться к нему. Молоденький венгерский офицерик, бежавший в тайгу, к партизанам, воевал против белых по убеждению. Он не только отказался от измены, но наивно принялся убеждать своего сослуживца отрешиться от опасной и нечестной затеи и окончательно поставить свои воинский опыт и знания на службу народу. Выслушав его, полковник от всей души рассмеялся. Ни на что иное он и не рассчитывал. Но недаром же существует русская поговорка, что чужая душа — потемки. Весь этот разговор он завел, желая убедиться, что новый и дорогой друг его, с этого момента сделавшийся еще более близким, искренне стоит за трудящихся и против эксплуататоров. Единственное, о чем бы он просил,— дать ему честное слово офицера, что разговор этот останется между ними. Обрадованный таким поворотом дела, лейтенант от души дал требуемое «честное слово офицера». Друзья обменялись крепким рукопожатием. Каково же было удивление, а потом и негодование чистосердечного мадьяра, когда на следующее утро инструктор соседнего батальона на занятия не явился, и посланный за ним дневальный, вернувшись, отрапортовал, что ночью, не простившись с хозяевами, тот бесследно исчез. Лейтенант хотел было сообщить комиссару полка, как бежавший изменник соблазнял его, но, вспомнив, что дал честное офицерское слово, удержался.

Миновало месяца два, и бывший венгерский офицер, будучи уже командиром интернационального батальона, составленного из венгерских, словенских и хорватских добровольцев и включенного в сформированный и обучен-

ный в Чите полк Красной Армии, во второй раз в жизни попал в плен. Произошло это, когда шел марш на сближение и первая рота его батальона, находясь в сторожевом охранении, оторвалась от него. Обеспокоенный комбат поскакал за нею верхом как раз в тот момент, когда рота наткнулась на засаду. Часть бойцов была перебита, а десятка два, вместе с командиром, оказались в плену. К вечеру их доставили в тыл и заперли в сарае, приставив часового. С рассветом бравый казачий урядник корявыми каракулями переписал их, и в тот же день комбата повели на допрос. Велико же было удивление его, когда в сидящем за письменным столом моложавом генерал-майоре он узнал полковника, с которым подружился в Чите. Тот долго, иронически рассматривал недавнего знакомца, небритого, в помятой и грязной одежде, и неожиданно опять предложил ему перейти к белым. Ведь тогда неопытный венгерский офицер мог принять приглашение к совместному бегству за простую проверку. Венгр опустил глаза и ничего не отвечал. Так в театральной паузе прошла минута. Генерал повернул голову к стоявшему у окна сотнику Оренбургского войска:

— Всыпать этому краснозадому дюжину шомполов, а когда оправится — расстрелять всю банду...

Лукач продолжал говорить тем же ровным тоном, соблюдая художественный такт, не уклоняясь в натуралистические подробности и не впадая в мелодраму. Он описал находящиеся на пределе переносимого физические муки выпоротого шомполами: пятидневное лежание ничком в сарае, нестерпимую боль и жар в спине и неутолимую жажду. Когда же наказанный смог ходить, всех пленных сковали попарно ржавыми цепями и погнали по улицам заштатного городишка на расстрел. Выведя их на окраину, начальник конвоя, зная, что стрелять в убегающих легче, чем в стоящих лицом к целящимся, крикнул: «Беги!» Двое соединенных цепью далеко уйти не

могут. Загремели выстрелы, и бегущие люди стали падать. Однако венгерский лейтенант и прикованный к нему пожилой хорват рванулись в разные стороны, изношенная цепь лопнула, и командир интернационального батальона, забыв о незажившей спине, зигзагами понесся к замеченному издали обрыву. Пули свистели по бокам, но ни одна не задела его, и он с разбегу прыгнул с кручи. Ноги попали на глинистый выступ, он упал лицом вперед и, обдирая руки, съехал вниз. Вскочив на ноги, беглец увидел справа старую, полусухую иву и кинулся к ней. Сейчас же опять зачастили выстрелы, но он успел добежать до неохватного дуплистого ствола, за которым была вырыта глубокая яма для городских отбросов. На куче их, распространяя отвратительную вонь, лежал вздувшийся труп лошади. Задыхающийся венгр обогнул яму и, оглянувшись, не догоняют ли его солдаты, увидел черневшее за конской падалью углубление под корнями ивы. Соскочив в яму и стараясь не коснуться дохлой лошади, он пролез в глубь норы. В ней смогли бы уместиться двое. Забившись как можно дальше, он затаил дыхание. Вскоре послышались топот и дикая ругань. Конвоиры остановились над ямой, разрядили в нее свои винтовки, отчего конский труп засмердел еще ужаснее. Немного поспорив, куда мог деться убежавший, они затопали дальше.

До темноты он сидел в укрытии, страдая и от того, как жгло спину, и от тошнотворного запаха, а когда стемнело, поминутно останавливаясь и вслушиваясь, стал выбираться. Кругом стояла тишина, только где-то далеко брехала собака. Еще на бегу к обрыву он приметил в полуверсте, справа от дороги, обнесенные колючей проволокой бараки, видимо недавний лагерь для военнопленных. Там, несомненно, удастся набрести на воду и охладить спину, а потом и найти, где отлежаться и обдумать, как быть дальше.

Когда он добрался до бараков, сердце его забилось

толчками: окно одного из них тускло светилось. Положив пальцы между шипами, он оперся на проволоку и долго всматривался в это окошко. Но вот скрипнула дверь, и в ночь, сливаясь с нею, вышли две черные фигуры. Чиркнула спичка — оба закурили, потом один заговорил, и беглец, не разобрав слов, тем не менее ясно услышал родную речь. Преодолевая волнение и слабость, он испустил какой-то странный звук, похожий на писк летучей мыши. Говоривший сразу замолк,— по-видимому, оба прислушались. Наконец ему удалось свистнуть, и они осторожно двинулись к нему. Едва они немного приблизились, чтобы расслышать его, как он заговорил, стараясь как можно скорее и проще объяснить, кто он и что с ним произошло. Расспрашивать они не стали. Один побежал за чем-то в барак, а второй объяснил, что в бывшем лагере устроена больница и бараки полны сыпнотифозными. На вопрос, почему же они остались здесь, почти не различимый во тьме мадьяр ответил, что все здешние военнопленные специальным эшелоном уехали в Венгрию, но около сорока человек оставили здесь санитарами. Что было делать? Пришлось послушаться. Вот уже второй месяц, как они служат при бараках. Тут второй, что бегал в барак, вернулся с ломом и лопатой. Вдвоем они прижали проволоку книзу, и он просунулся внутрь, почти не зацепившись. Санитары сказали, что положить его в свой барак они не смогут: военные врачи регулярно совершают обходы. Поэтому им придется пока устроить его — пусть он не пугается — в морг.

Оборванного и заросшего земляка накормили холодным борщом с половиной черной ковриги, раздели, протерли спину спиртом, забинтовали, дали чистое белье и на носилках доставили в морг. Там подстелив под него одеяло, накрыли другим, а сверху положили крахмальную простыню, предупредив: если расслышит шаги, чтоб укрылся ею с головой и не только не шевелился, но и не дышал.

Каждый раз, принося нового умершего, венгры давали своему подопечному поесть, на третью же ночь одели его в пережеванные дезинфекционной камерой солдатские штаны и телогрейку, вручили документы только что скончавшегося от тифа демобилизованного, еще раз обмотали ему торс бинтами и отпустили на все четыре стороны, пожелав поскорее добраться до Венгрии...

Помолчав, Лукач добавил:

— Роман собираюсь так и назвать — «Анкета», а в заголовке этой главы будет поставлен вопрос: «Окончили вы партийную школу или получили партийное самообразование?..»

Не прошло, однако, и пяти минут, как литературные размышления генерала Лукача и его адъютанта бесследно улетучились. «Пежо» бежало по шоссе, проходившему по тылам предполагаемого удара, в котором Двенадцатой предназначалось место на самом левом его фланге, а между этой магистралью и будущими позициями протекала Харама, и Лукач решил посмотреть, как выглядят эти места.

За громадным утесом Васиа-де-Мадрид, принуждавшим и реку, и шоссе, и железную дорогу огибать его, раскинулась Арганда. Из нее па другой, высокий, берег поднималась местного значения дорога, а потому существовал и небольшой, но очень старый мост — пуэнте Пиндоке. Убедившись, что мост этот никем не охраняется и что никакой войсковой единицы в Арганде нет, Лукач повернул обратно, к Вальекасу, стоявшему на том же валенсийском шоссе, но у самой столицы. В нем находились штаб бригады, интендантство, санчасть и эскадрон. Батальоны же были разбросаны по окрестным поселкам и, получив русские винтовки, осваивали их и упражнялись в наступательных действиях на соседних холмах.

Начало обширной операции было назначено на первые числа февраля, однако франкисты, опередив республикан-

ское командование всего на три дня, внезапно нанесли сильный удар на своем правом фланге, захватили два небольших селения и, зная, что имеет дело с почти необстрелянными частями, начали активно развивать успех. Наступление продолжалось и на второй день, а так как ни опытные испанские бригады, ни интеровцы не были брошены им навстречу, Лукач забеспокоился.

Походив взад и вперед по своей комнате с заложенными за спину руками, он приказал вызвать к нему командира эскадрона. К этому времени им командовал бывший командир роты польского батальона Иван Шеверда, еще 9 ноября в Каса-де-Кампо раненный в грудь. Когда, залечив рану и отдохнув на берегу Средиземного моря, он явился в батальон, Петров, помнивший его по первому бою за Мадрид и даже расцеловавшийся с ним при встрече, рекомендовал «Ваню» генералу Лукачу как храброго офицера и конника со стажем. Переговорив с ним, комбриг отдал приказ о производстве его в капитаны и назначении на эскадрон. Обладавший высоким тенором, широколицый и плечистый Иван Шеверда и в самом деле не вчера заделался кавалеристом. В России он начал драться с семнадцати лет в одном из конных отрядов Махно и, до конца не изменив ему, драпанул за батькой в Румынию, а позже, опять-таки вместе с ним, обосновался в Париже. Но если сам Махно за границей вел себя тише воды и ниже травы, еженедельно посещал лекции местных престарелых теоретиков анархизма, а также изучал в Национальной библиотеке потрепанные труды Бакунина и князя Кропоткина, то его сподвижников подобное времяпрепровождение не устраивало. Шеверда, например, подался в иностранный легион. Отслужил в кавалерийском полку два срока, причем последние два года сержантом, заслужив за это французское гражданство. Среди первых иностранных добровольцев за Пиренеями оказался и французский анархист Жан Шеверда. Он участвовал в защите Ируна. До созда-

ния интербригад сражался на Арагоне. Став комэском, он покорил сердце генерала Лукача не только замашками заядлого кавалериста и кривыми ногами, но еще и тем, что знал уйму украинских песен и пел их фальцетом, но верно.

— Очень буду тебя, Ваня, просить,— ласково обратился к нему Лукач, когда тот предстал перед ним по вызову, мелодично звякнув прославленными савельевскими шпорами.— Играй тревогу — и по коням! Поведешь эскадрон на Арганду. Не спеши только: двигаться придется по асфальту, смотри, чтоб лошадей не переутомить. На месте переночуете, как удастся, а утром жди распоряжений.

После рассвета стало известно, что по ту сторону Харамы неприятель возобновил атаки, и Лукач послал Шеверде письменное распоряжение: эскадрону предлагалось немедленно взять на себя охрану единственной на этом участке переправы — моста Пиндоке. А после нового телефонного звонка в одиннадцать комбриг приказал адъютанту:

— Берите-ка машину товарища Петрова — с ним согласовано — и дуйте в Арганду, к мосту. Что-то у меня на душе неспокойно. Рассмотрите, какая там в целом обстановка, и убедитесь, что конники наши берегут этот самый Пиндоке всерьез. Сильнее всего Франко жмет на своем правом фланге. Анархисты перед ним отступают, а наши все не хотят заменить их, надеются, что еще удастся задуманный контрудар нанести. По-моему, поздно. А, не ровен час, выйдут их передовые части к высокому берегу, так оттуда, сверху, им все как на ладони...

Милош прямо-таки пролетел до поворота шоссе у Васиа-де-Мадрид, но дальше, к мосту, ему пришлось двигаться со скоростью пешехода. Высокая черная карета, переваливаясь с боку на бок, демонстративным скрипом напоминала, что рождена не для проселочных дорог, однако сидящий за рулем молодой великан упрямо вел ее по

ухабам. До моста оставалось вряд ли больше ста метров, когда с обрывистого противоположного берега Харамы звонко грянула пушка, и сразу же справа от машины мягко вознесся столб земли и грохнул разрыв. Милош, не удостоив его взглядом, осторожно объезжал какую-то колдобину, хотя давно уже было видно, что около низкого неширокого моста нет ни души. Лишь две трясогузки, беззаботно качая длинными хвостиками, взапуски бегали по настилу на мосту. Невидимая пушка так же звонко выстрелила вторично, но разрыв на этот раз поднялся слева и гораздо ближе: мелкие комья застучали по верху машины. Похоже было, что ее брали в «вилку». Алеша по-сербски приказал Милошу поворачивать. С того берега выстрелили вслед еще два раза, но машина, подпрыгивая, быстро удалялась прямо по полю, и палить по ней из одного орудия стало совершенно бессмысленно.

Однако, когда они влетели в чистенький городок, Алеша увидел нечто, испугавшее его больше артиллерийских гранат. Навстречу по проложенному через Арганду валенсийскому шоссе двигался эскадрон, но выглядел он так, словно отправляется не на охрану моста, а на киносъемку. Впереди на белой лошади, задрав в небо сияющую трубу и самозабвенно выдувая из нее отдаленно напоминающее столько раз слышанный гимн Риего, ехал трубач. На положенной дистанции за ним выступал откормленный вороной жеребец, несущий рослого знаменосца со вставленным в стремя древком алого стяга невероятных размеров. Два усатых поляка с саблей наголо охраняли знамя по бокам. Метрах в пяти за ними на чистокровной золотисто-рыжей арабской кобылке, с белой звездочкой и чулками, то перебирающей точеными ножками на одном месте, то вспархивающей легким прыжком, гарцевал сам Иван Шеверда, напряженно отведя в сторону некогда принадлежавший Массару обнаженный палаш, словно салютуя высыпавшим на этот парад аргандским жителям, и

самозабвенно улыбался проглянувшему солнцу, налетающим на него облакам, прохладному ветерку, резким звукам трубы и машущим ему платочками девушкам, их бабкам, матерям, поднявшим кулаки дедам и визжащим от восторга детям. Вслед за командиром шагал конь очень маленького француза в синей комиссарской форме, а за ним рассыпчато топотал и весь эскадрон, взвод за взводом.

Милош, почти загородив машиной улицу, остановил ее в десяти шагах от трубача, и тот, додребезжав музыкальную фразу до конца, остановил смирную лошадь. Алеша вышел, приблизился к командиру эскадрона и отдал честь. Шеверда вложил палаш в ножны, отковырял ответно и, перевесившись с седла, протянул руку. Все это время рыжая кобыла семенила копытами в опасной близости от адъютантских сапог.

— Товарищ капитан,— начал Алеша, представляя себе, что произошло бы, если б эти играющие в гусар безумцы, вот так, как есть, свернули бы в полукилометре отсюда и зарысили бы к Пиндоке,— генерал послал меня к вам с устным приказом охранять переправу спешившись. Генерал считал, что вы давно уже должны быть там, и потому просил передать, чтоб вы сразу же отправили коней с коневодами в Арганду. Кроме того, он приказывает немедленно начать окапываться, а поближе к мосту отрыть для двух ваших «льюисов» настоящие пулеметные гнезда, как для станковых. Он убежден, что на вас непременно налетят бомбардировщики.

— Кавалерист без коня что баба без юбки,— сентенциозно произнес Шеверда.— Спешенный эскадрон не один вид, но и боевитость теряет...

Но адъютант командира бригады уже торопливо переводил все сказанное им на французский подъехавшему комиссару. Миниатюрный и очень спокойный человек кивнул и, поворачивая коня, объявил Шеверде, что сейчас

же пошлет политответственного испанского взвода подыскать пустые сараи для укрытия лошадей от разведывательных авионов. Шеверде нечем было крыть. Он дал шпоры своей горячей кобыле и поскакал вдоль эскадрона, приказывая спешиться. Поняв, что теперь все пойдет как по маслу, Алеша сел в успевшую развернуться машину, и она понеслась к Мадриду.

В забитом интендантскими грузовиками Вальекасе он доложил комбригу, что возле Пиндоке они с Милошем попали под вражескую пушку, эскадрона же там не обнаружили, а встретили его на выезде из Арганды. Алеша признался, что набрался смелости и позволил себе от имени командира бригады приказать спешиться и скрытно пробираться к переправе, а там быстро начать рыть траншею. Лукач, склонив голову к плечу, посмотрел на него.

— Быстро вы мужаете. А еще недавно спрашивали насчет носков для вашего Лягутта... Можете не сомневаться: правильно поступили. Так же действуйте и впредь.— Он улыбнулся.— Но целиком меня не подменяйте, пусть я останусь все же командиром Двенадцатой...

На другой день бригада получила приказ быть готовой к переброске в Арганду. Белов предложил отправить первым батальон Андре Марти. Лукач согласился, но попросил пригласить к нему комбата капитана Бурсье и комиссара Маниу, огненно-рыжего маленького лионца.

Когда оба явились, Лукач через адъютанта выразил им свою уверенность, что фашисты уже выходят, если не вышли, на левый берег Харамы, а под ним практически единственная переправа на четыре-пять километров в обе стороны от Арганды. Так вот, не взяли бы они, Бурсье и Маниу, с сегодняшнего вечера охрану Пиндоке в свои руки, чтобы не оставить мост под присмотром малопригодных для окопного сидения кавалеристов?.. За неразговорчивого Бурсье — а молчаливых среди французов еще меньше, чем рыжих,— отвечал Маниу и предложил по-

слать на мост их молодежную роту, почти пятая часть которой состоит в Jeunesse communiste.

А перед рассветом в штаб бригады поступило трагическое сообщение, что охранявшая переправу вторая рота, молодежная, перестала существовать. Как удалось уразуметь из сбивчивого телефонного донесения, переправившиеся ночью на этот берег марокканцы начисто вырезали ее. По-видимому, они переплыли Хараму на резиновых лодках где-то повыше Пиндоке, ловкие, как кошки, прокрались за спину караулившему пулеметному отделению и бесшумно перекололи всех четырех, после чего прошли по мосту, и через полчаса около ста двадцати молоденьких французов и бельгийцев, крепко спавших на дне траншеи в надежде на своих пулеметчиков, не было в живых. Смогли спастись всего шесть человек, и то лишь потому, что они предпочли, завернувшись в одеяла, улечься на открытом воздухе, далеко позади окопа, и проснулись, когда до них долетел шум какой-то возни в нем и стоны умирающих товарищей.

Потрясенный дежурный по штабу разбудил генерала и доложил о страшном происшествии. Поспешно одевшись, натянув сапоги и ополоснув лицо, Лукач бросился к выходу. Алеша, на ходу всовывая в рукав не вполне еще разработанную правую руку, едва успел застегнуть френч и затянуть пояс портупеи. Лукач, не дожидаясь, пока «пежо» остановится, уже прыгнул в него. Лавируя между забившими двор и улицу укутанными брезентом камионами интендантства, машина свернула на шоссе. Лукач мрачно молчал. Вскоре они стали обгонять автобусы и грузовики франко-бельгийского батальона.

Не доезжая Арганды, «пежо» остановилось перед аккуратно побеленным домиком путевого сторожа. Всегда учтивый, Лукач грубо оттолкнул часового, не успевшего разглядеть, кто приехал, и ворвался внутрь. В небольшой комнате, слабо освещенной настольной керосиновой лам-

ной, клубами ходил табачный дым. Бурсье и еще два лейтенанта из штаба батальона нервно курили, разгуливая от черного окна к жаровне с погасшими углями, а некурящий Маниу сидел возле лампы и что-то отмечал в длинном списке; глаза его опухли и покраснели. Лукач подбежал к Бурсье, рядом с которым сейчас же встал Маниу, поднял кулаки и принялся по-русски кричать во весь голос на обоих, нимало не заботясь о том, что его не понимают. Адъютант, еще ни разу не видевший комбрига в таком бешенстве, был поражен и не без страха взглянул на него сбоку. Командир бригады продолжал осыпать смотрящих на него с испуганным недоумением французов бессмысленной, раз она не доходила до них, площадной бранью, однако покрасневшее от напряжения лицо его выражало не злобу, но страдание, а из глаз одна за другой стекали по щекам редкие крупные слезы, которых сам он, по-видимому, не замечал. Наконец, в изнеможении, он круто повернулся к двери и вышел, хлопнув ею. Алеша на минуту задержался, он почувствовал необходимость как-то загладить эту, ни на что не похожую, сцену и сделал шаг к Бурсье и Маниу, но лионец предупредил его:

— On comprend bien... Il est trop touché par le fin affreu de nos gars...[1]

Не успел он договорить, как дверь снова открылась, и комбриг шагнул в комнату. Не глядя ни на Бурсье, ни на Маниу, он обычным своим мягким баритоном, разве что суше, чем всегда, приказал Алеше телефонировать в штаб через общую сеть и дать от его имени команду: объявить тревогу в батальоне Гарибальди и как можно скорее двигать его сюда.

— Прямо к этому дому. Пусть сюда же выезжают

[1] — Понятно... Он потрясен такой ужасной гибелью наших пар...

Петров, Белов, оперативный отдел и связь. Батарея тоже обязана быть здесь поскорее. А им,— он указал подбородком на Бурсье и остальных,— объявите, чтоб были у железнодорожного моста. Пусть встречают и высаживают всех своих и сейчас же начинают окапываться по эту сторону. Из-за собственного преступного легкомыслия вторая рота не только сама ни за понюшку табака погибла, но и позволила врагу создать на этой стороне, фактически в нашем тылу, свой плацдарм. И теперь остальные три роты обязаны мало что зарыться в землю, во избежание дальнейших потерь, но и приготовиться к стойкой обороне. Бурсье и Маниу должны мне поручиться, что ни один фашист — ни живой, ни мертвый — через них не пройдет...

Очень высоко над горами, нависшими вдоль валенсийского шоссе, начало бледнеть черное небо. С порога беленькой, как украинская хата, просторной сторожки можно было определить, что светлеет оно очень быстро. Однако до зари было еще далеко, а вот у неприятеля, на западе, где горы не заслоняли горизонта, солнце должно было взойти по крайней мере на полчаса раньше.

Польский батальон, обогнав гарибальдийцев, уже проследовал в Арганду и сразу же, еще в темноте, был выведен на крутые, нависавшие над рекой холмы, южные склоны которых были покрыты виноградниками, а восточные — ровными рядами олив. Разомкнувшись среди них, домбровцы готовились к атаке франкистов.

К утру примчался из Мадрида и Фриц, уведомленный Горевым о несчастье с комсомольской ротой и о потере переправы. Сразу за Фрицем прибыло командование итальянцев, и Паччарди решил проехать на мотоцикле до железнодорожного моста, а оттуда — по проселочной дороге, по которой еще вчера пробиралась ведомая Милошем петровская карета, чтобы попробовать осмотреться и прикинуть, насколько продвинулся противник. В канад-

ке и вязаной своей шапочке он, взяв под мышку вынутую из планшета карту, покатил навстречу своим бойцам, подъезжающим на камионах к выделяющемуся в редеющей темноте белому домику. На шоссе их встречал Илио Баронтини, недавно прибывший из Москвы новый комиссар, заменивший все еще находящегося на излечении Роазио. С радостной улыбкой, будто он распорядитель на праздничном банкете, Баронтини принимал отделение за отделением и взвод за взводом, которые, высадившись, тут же спускались в кювет у шоссе и уходили по нему подальше от места разгрузки. Когда рассвело, подъехал и гость бригады — маленький, немолодой предводитель итальянских левых социалистов Пьетро Ненни, обладавший демонстративно штатской внешностью и тонким голоском, на котором он почти без акцента изъяснялся одинаково свободно и на французском и на испанском. Однако кабинетный этот человек попал где-то вместе с Петровым, показывавшим ему наше расположение, под пулемет и держал себя, по словам последнего, «как следовало мужчине», а у чубатого полковника заслужить подобный отзыв было нелегко.

Утром возле командного пункта Двенадцатой неожиданно появился знаменитый голландский кинодокументалист Йорис Ивенс со своим соотечественником и постоянным оператором Джоном Ферно в сопровождении большого и очень плотного человека в простых металлических очках, их помощника, а скорее, даже носильщика. Ивенс имел пропуск в любое место Центрального фронта и допускался даже в боевые операции, поэтому Лукач не обратил на него и Ферно, как и на их помощника, ни малейшего внимания. Он не знал, что круглолицый человек, помогающий Джону Ферно таскать тяжелую аппаратуру, не кто иной, как обожаемый им американский писатель Хемингуэй, который в «Прощай, оружие!» описывает тот же участок фронта, на котором, только с противоположной

стороны, когда-то сражался венгерский вольноопределяющийся Бела Франкль.

Приезжие выгрузили из помятой и грязной автомашины тяжелые аппараты и диски с кинолентами, после чего Ферно начал снимать все, что подворачивалось: генерала в длинной зеленой шинели, палкой указывающего какому-то заезжему мотоциклисту, где ему следует разворачиваться; полковника Фрица, подбежавшего к камиону и повелительно повторяющего сонным итальянцам едва ли не единственное, оставшееся у него с академии немецкое schnell, schnell. С тем же старанием Ферно ловил в объектив торопливо выговаривающего что-то Алеше капитана Херасси, фактического начальника оперативного отдела, потомка испанских евреев, изгнанных из родной страны еще при Филиппе II, но и за три столетия не потерявших ни испанского языка, ни обычаев; и, наконец, гарибальдийцев, полулежащих в придорожной канаве и ежащихся от предутреннего холодка.

Тем временем густые тени у подножия гор сократились, но стали еще чернее. Итальянцы потягивались, разбирались и гуськом тянулись по кювету к железнодорожному мосту, возле которого в неглубоком окопе тихо сидели потерявшие ночью около четверти состава французы и бельгийцы. Вернувшиеся из своей разведки на мотоцикле Паччарди, Баронтини и Пьетро Ненни на двух машинах обогнали своих бойцов. В том же направлении проехал и Фриц, направлявшийся к Мадриду, чтобы встретить вышедшие оттуда на Арганду танки и передать им распоряжение поддержать контратаку гарибальдийцев. Посмотрев вслед отбывшим, Лукач вдруг предложил Белову перенести командный пункт поближе к событиям и указал куда. Едучи к французам, он присмотрел слева от начала проселка обсаженный деревьями обширный одноэтажный дом с сараями. Прошло не больше получаса, как командир бригады, его заместитель, начальник штаба, начальник

оперативного отдела и недавно назначенный начальник разведки уже устраивались на новом месте. Вместе со старым Морицем, молодым адъютантом и шестью бойцами охраны они поспешно приспосабливали к новой роли большое кирпичное здание, своевременно и весьма организованно покинутое своими хозяевами: не считая хромого кухонного стола и трех табуреток с соломенными сиденьями, из него было вывезено все.

Над КП тянулись кверху высокие ровные стволы неизвестных деревьев, а шагах в двадцати по ту сторону дороги быстро текли коричневые после дождей воды Харамы.

Ни Фрица, ни танковой роты пока еще не было. Не поступало и никаких сведений о продвижении гарибальдийцев, с которыми отправились на небезопасные съемки Ивенс, Хемингуэй и Ферно.

С этого берега Васиа-де-Мадрид выглядел крутой безжизненной скалой, подножие которой омывалось довольно быстрой здесь речкой. За поворотом она становилась шире, а течение — медленнее, и, если судить по звукам, несколько приглушаемым бурлением воды, где-то ближе к Мадриду разгорался стрелковый бой. В неясный фон его изредка включались отчетливая пулеметная дробь и гулкие разрывы ручных гранат. Вслушавшись в эти звуки, Петров решил съездить посмотреть, что там делается. Лукач предложил коронелю взять с собой Алешу: в случае чего, поможет объясниться...

Разобравшись в обстановке и проведя необходимые переговоры, коронель уже возвращался обратно, но именно в тот момент, когда Милош готовился железными своими дланями крутануть баранку, с Васиа-де-Мадрид загремела очередь «гочкиса», и перед радиатором, треща, стали крушить асфальт тяжелые пули. Повинуясь возгласу своего шофера, Петров и Алеша мгновенно метнулись через левую дверцу в кювет, а машина, взревев почти как

танк, моментально исчезла за поворотом. В ту же секунду «гочкис» затрахтел снова, и пули опять загремели, но уже по скале и со столь же адским стуком рикошетили от нее в шоссе, а некоторые и в кювет поблизости от лежащих в нем плашмя заместителя и адъютанта командира бригады.

— Поползли,— бодро повелел Петров.

Но выяснилось, что рожденный ходить,— ползать, увы, не может.

— Хватит, черт бы их побрал совсем,— возмутился вдруг Петров, поднялся и, до пояса возвысившись над канавой, зарысил, прижав локти к кожанке.

Пробежали они совсем немного: из поля зрения пулеметчиков оба, видимо, вышли. Петров остановился, учащенно дыша, осмотрелся, что-то презрительно пробормотал по-болгарски и вылез на шоссе.

— Ну и ловкие, сволочи,— с сердцем выругался он.— Ты подумай, как быстро они втащили его на этакую верхотуру и уже чешут по шоссе. Хоть и по узкому отрезку, да ведь бьют. Фактически оно перерезано, и утешаться, что не вышли они на него, больше не приходится. Все равно что вышли, раз движение под угрозой. Придется объезд устраивать, чтоб им ни дна ни покрышки!.. Пошли, однако. Чтоб Лукач все поскорей узнал...

Почти месяц длилось сражение на Хараме, в котором участвовало с обеих сторон небывалое число людей и количество боевой техники. И хотя началось оно с убийственной неудачи у Пендоке, а также с утраты вершины Васиа-де-Мадрид, а позже и второго, безымянного, моста выше по реке, затяжные бои не привели к тому, ради чего были затеяны фашистами. Связи осажденной столицы с остальной территорией Республики, особенно же с богатейшей в продовольственном отношении валенсийской Уэртой и вообще с югом, нарушены не были. Между тем

именно ради этого штаб мятежников, оголяя второстепенные фронты, бросал по совету гитлеровских военных специалистов в наступление все новые и новые части вместо потрепанных в непрерывных атаках. Однако им противостояли отборные республиканские бригады. Кроме Двенадцатой и сразу за ней переброшенной сюда Одиннадцатой в дело были введены и Четырнадцатая, и принявшая на Хараме боевое крещение только что доставленная из Альбасете, блестяще подготовленная Пятнадцатая интербригада, а также испытанная дивизия Листера, сформированная тоже Пятым полком бригада под командованием итальянского эмигранта Нино Нанетти, бригада карабинеров и другие, заслуживавшие полного доверия части.

Еще в первый день гарибальдийцам при действенной поддержке шести танков удалось отбросить противника почти к самому мосту и достаточно твердо закрепиться. Правда, уже тогда франкисты, переправившие на эту сторону две новейшего образца немецкие скорострельные противотанковые пушки, подбили три танка, и еще один вывела из строя обычная полевая артиллерия, так что успех обошелся недешево. Тогда же осколком снаряда был ранен в голову Паччарди, по счастью нетяжело. Пьетро Ненни перевязал его, и он остался командовать батальоном.

Тяжелее всех на этом, начальном, этапе пришлось полякам, защищавшим Арганду левее итальянцев. Их атаковали два табора марокканцев, ринувшихся в бой с прямо-таки первобытной страстью. Их численное превосходство заставило польский батальон отойти на следующую гряду холмов, не успев при этом вынести своих убитых и даже тяжелораненых, которых озверелые «регулярес» перерезали.

Такие же тяжелые бои, сопровождавшиеся рукопашными схватками с применением штыков и прикладов, велись в течение нескольких суток по всему Харамскому фронту, особенно же в расположении дивизии Листера,


генерал
Лукач

а также Пятнадцатой бригады. Однако постепенно вражеский напор стал ослабевать, поскольку обороняющиеся все глубже зарывались в землю и все сложнее делалась конфигурация траншей, все расчетливее располагались огневые точки, все дальше к тылу уводили ходы сообщений. К концу февраля положение окончательно стабилизировалось, и лишь артиллерийские дуэли да возникающие порой над фронтом воздушные сражения напоминали, что война продолжается.

Около недели командный пункт Лукача пребывал на сахарном заводе, стараниями Морица идеально связанный со штабами батальонов и батареей и уж конечно с командующим сектором. Несмотря на тщательное соблюдение детальных указаний комбрига, касающихся скрытности и строжайшей автомобильной конспирации, вражеские артиллерийские наблюдатели что-то все же засекли, а может быть, им помогла пресловутая пятая колонна, но, как бы то ни было, в один очень ненастный день, вернее, утро, три вражеские батареи, в общей же сложности двенадцать орудий, внезапно шарахнули по давно бездействующему заводу, да так, что, казалось, весь он взлетает в небеса. Лишь к вечеру прекратился этот обстрел, когда производственные здания и пустые склады превратились в руины, среди которых темно-красным обелиском вызывающе продолжала торчать фабричная труба с черно-красным флагом наверху. Кроме нее таинственным образом уцелела еще заводская контора. В ней и пребывал штаб Двенадцатой во главе с Лукачем.

Комбриг приказал перебазироваться в Арганду, но и там его не оставили в покое. Уже на второй день, ровно в час, на центр городка налетели, безусловно, кем-то наведенные неправдоподобно низко шедшие три «юнкерса». Каждый сбросил лишь три бомбы, но все девять явно предназначались новой резиденции генерала Лукача. Правда, всего одна из них угодила в цель, но и ее оказа-

лось вполне достаточно, чтобы от двухэтажного дома осталась куча битого кирпича и мусора. Удачную эту бомбежку, видимо, предопределяла уверенность, что даже во время войны все нормальные люди садятся обедать в час дня, и, вероятно, фашистский агент уведомил свое начальство о блестящем успехе воздушной атаки. Однако в ритуальное время ни одного человека в штабе не было: все офицеры, начиная с комбрига, находились в самых разных точках фронта, на командном же пункте дежурил один телефонист. А так как Мориц обладал заметным предрасположением к подпольной деятельности, то и в Арганде коммутатор находился в подвале, и рыжего Ожела лишь завалило, впрочем основательно, так что саперы откопали его лишь к вечеру. Девятью двухсоткилограммовыми бомбами был убит часовой, стоявший в воротах.

И в конце месяца, когда стало несомненным, что франкистские войска, так и не выйдя на валенсийское шоссе, окончательно выдохлись, Белов, передавший Клоди для размножения текст приказа о выводе бригады в резерв Центрального фронта, закурил и удовлетворенно проговорил:

— Выстояли, выходит, и на сей раз. Потери, понятно, ужасные, но выстояли. Если так и дальше пойдет, смотришь, через полгода мы уже здесь станем не нужны. Без нас управятся. И тогда, наконец, поедем мы, братцы, домой, к женам и детям. То-то радости будет!.. Ну, а там отдохнем месячишко и за работу. Скорее всего, новую нам дадут. На наших-то местах давно другие сидят, не выгонять же их. Значит, снова придется анкету заполнять, и встретится в ней знакомый вопрос: дескать, чем вы подтвердите свою преданность делу трудового народа? И все мы, как один, напишем — добровольным участием в испанской войне...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Внезапное появление итальянского экспедиционного корпуса должно было неминуемо привести к падению Мадрида.

Несомненно, что решение о введении в бой около шестидесяти тысяч итальянцев было вызвано провалом наступления фашистов на Хараме и сильным давлением на Франко со стороны его высоких покровителей, стремившихся поскорее и поэффектнее завершить излишне затянувшуюся войну.

Однако беспечность и самоуверенность муссолиниевского генералитета, а также героизм защитников Республики привели к поистине невероятной развязке, от которой никогда вполне не оправились в Риме. Дуче вначале просто не поверил первым радиограммам, когда же пришлось признать случившееся, он беспощадно перешерстил командование корпусом, потребовав от вновь назначенных генералов максимальной — вплоть до расстрелов — суровости для восстановления среди составлявших его резервистов железной дисциплины. Уже к июню итальянские солдаты и офицеры изжили возникший было среди них комплекс боевой неполноценности и были направлены на Северный фронт, против басков. Благодаря своей численности и моторизованности они сыграли главенствующую роль в выходе франкистов к морю, иначе говоря, в отделении Каталонии от остальной республиканской территории, а там и в занятии Валенсии.

Непосредственным же результатом разгрома экспедиционного корпуса в горах за Гвадалахарой было то, что республиканская Испания смогла вести боевые действия еще два года.

Нескончаемо тянутся иные минуты на войне, но нигде время и не проносится быстрее, чем там. Человеку, попав-

шему под интенсивный огонь артиллерии и вот-вот ждущему прямого попадания в воронку, где он притаился, час кажется вечностью. Но вот он прошел, и в очередных перемещениях, несмотря на массу новых, калейдоскопических впечатлений, часы монотонно сменяются часами, день пролетает за днем, а там и недели начинают сливаться в памяти.

Вспоминается такой случай.

Сорокалетний седой корреспондент «Комсомольской правды» Савич проводил ко дню комсомола анкету среди молодежи интербригад и с этой целью приехал на позиции в Каса-де-Кампо. День выдался солнечный, а Савич явился на фронт, как всегда, элегантный, в сером костюме, при галстуке и в модных желтых полуботинках. Идти по ходам сообщения пришлось больше километра, и Савичу стало невмоготу жарко, а тут еще сопровождающий предупредил, что сейчас придется идти по траншее неполного профиля и надо хорошенько пригнуться. И тогда Савич жалобно воскликнул: «Если б вы только знали, до чего мне жмут эти проклятые новые туфли, которые я сдуру надел сегодня, вы бы ко мне со всякой чепухой не приставали...» Рассказ об этом вызвал в штабе неподдельное веселье, но когда выяснилось, что Савич прошел опасное место действительно не сгибаясь и над неглубоким ходом сообщения несколько минут плыла серебряная его шевелюра, за которой вражеские снайперы устроили форменную охоту, завершившуюся, по счастью, лишь тем, что аккуратную его прическу дважды осыпало песком, смех заменился сочувственными улыбками. У Лукача же с той поры появилось явно нежное отношение к франтоватому парижскому корреспонденту «Комсомолки».

Впрочем, глубже всего в этой живой хронологии запечатлелся Международный женский день, отмечаемый в Испании лишь в узкопартийных кругах. Штаб бригады задумал хорошенько организовать это празднование. Вы-

веденная с передовой, она уже третьи сутки отдыхала в привычном своем месте, штаб же был помещен в пустующих домах придворной челяди за Эль-Пардо. Седьмого марта за обедом Лукач напомнил, какой завтра день, и заговорил о том, до чего политически важно как следует его отметить.

— Впрочем, о политическом значении пускай Густав думает. Для меня же главное — наших девушек порадовать, чтоб они хоть раз почувствовали себя не прислугой, а полноправными товарищами, нашими дорогими сестрами...

К общему удовлетворению, решили, что с утра всей работой по штабу, начиная с растопки плиты, приготовления завтрака, обеда и ужина, включая, понятно, мытье кастрюль и посуды, уборку комнат, займутся младшие офицеры, а Пакита, Леонора, Лаура и Асунсьон ничего не будут делать, но три раза в день их будут усаживать за парадные трапезы в обществе генерала, его заместителя, начальника штаба, комиссара и старого Морица. По замыслу, праздник должен был закончиться танцами под патефон, на которые были приглашены из находившегося рядом штаба испанской бригады Кампесино три девушки и мамаша одной из них, состоявшая при всех трех кем-то вроде дуэньи.

Рано утром девичья, начавшая было горячо возражать против такой несообразной затеи, получила формальный приказ генерала в Международный женский день своей постоянной службы не выполнять. Поднявшиеся же ни свет ни заря младшие офицеры, в том числе и Алеша, неумело, но старательно растапливали печи, накрывали на стол, заваривали кофе, подавали завтрак и подметали полы. Пакита, Леонора, Лаура и Асунсьон, усаженные рядом с большим начальством, сначала отнеслись к происходящему смешливо, как к плохо отрепетированному представлению в домашнем театре, но, когда разлили кофе и сам

генерал, встав, торжественно поздравил их, объявил о премировании за самоотверженную работу месячной зарплатой милисьяно и каждой пожал руку, они посерьезнели, а Леонора от избытка чувств даже прослезилась.

Вечером в салоне особнячка открылись танцы и под бдительным оком полуседой, полной, но черноокой и румяной матроны все семь девушек, храня на свежих личиках приличествующую случаю важность, сами избрали себе партнеров. По свойственной простым испанцам деликатности, первыми они пригласили Петрова, Белова и, конечно, Лукача, и лишь после них кавалерами стали и сегодняшние стряпухи с офицерскими нашивками. Тянулось какое-то аргентинское танго, когда вдруг около девяти часов Лукача зачем-то затребовали в Мадрид.

Вернулся он уже после одиннадцати с очень серьезным лицом и, проходя к себе мимо танцующих, бросил по-русски:

— Кончайте поскорее это дело, товарищи,— и, взглянув на часы, пояснил: — Ровно через десять минут, в двадцать три тридцать, я сообщу вам чрезвычайно важные новости...

Извинившись перед «товарищами женщинами», Белов остановил патефон. Свои и кампесиновские девушки с их «мамитой» торопливо удалились в нижние помещения. Отодвинутые к стенам столы и стулья почти мгновенно были возвращены на положенные места. Ждать пришлось недолго. Лукач вышел даже раньше назначенного и сразу же начал каким-то не своим, напряженным тоном:

— Друзья. Час тому назад комбриг Горев сообщил мне об очень тяжелой, можно сказать, ужасной угрозе, надвигающейся на Мадрид с северо-востока. По направлению к Гвадалахаре наступает моторизованный экспедиционный корпус Муссолини, по предварительным данным насчитывающий свыше пятидесяти тысяч. Малочисленные наши передовые заслоны были сразу смяты и отступили,

и уже в начальной стадии операции войска фашистской Италии выиграли больше десяти километров в глубину. Потеряны отвоеванные нами на Новый год Альгора, Мирабуэно и Альмадронес. Наше командование, чтобы задержать продвижение корпуса, уже выслало навстречу наличные танки, а этой ночью со всей возможной поспешностью бросает нас, Одиннадцатую интербригаду, бригаду Кампесино, Семидесятую, анархистскую, и еще должна будет подойти с Харамы одна из бригад Листера. Все вместе по численности вряд ли составят и треть того, что необходимо. Я всегда был с вами прям и сейчас не хочу скрывать, что предстоящее почти выше человеческих сил. Однако знаю твердо, что бригада выполнит свой долг до конца. Но, если ей суждено погибнуть в неравном бою, прошу всех быть готовыми со мной вместе пойти на передовую, чтобы разделить участь наших товарищей...

Впоследствии европейские газеты сравнивали победу республиканцев под Гвадалахарой с «чудом на Марне» времен мировой войны, еще свежим в памяти. Защитники Республики сумели остановить, а затем и успешно контратаковать моторизованный корпус, весь из резервистов и возглавляемый кадровым офицерством. Можно понять военных корреспондентов и политических обозревателей, видевших в поражении четырех фашистских дивизий нечто сверхъестественное. Между тем, знание всех слагаемых давало случившемуся вполне естественное объяснение.

Важнейшей причиной того, что произошло, надо считать преувеличенное представление фашистских итальянских генералов и офицеров о своем несоизмеримом превосходстве над испанцами вообще и тем более над импровизированной армией республиканцев, плохо вооруженной, малочисленной и в то время все еще почти сплошь состоящей из добровольцев. Такое убеждение, подкрепленное недавними легкими успехами итальянских

войск в Абиссинии, а еще больше взятием Малаги, привело к уверенности в собственной непобедимости и вытекающей отсюда недооценке противника. Только этой недооценкой и можно объяснить то, что имевшие опыт мировой войны итальянские генералы допустили движение на Гвадалахару по извилистым и узким горным дорогам сплошным потоком, да еще без разведки и сторожевых охранений.

А уж чего им, во всяком случае, не следовало игнорировать, так это присутствия в Испании советской авиации, хотя и малочисленной, но обладавшей отличными пилотами. Правда, погода большую половину марта стояла совсем не летная: по ночам и ранними утрами в горах за Гвадалахарой ртуть в термометре опускалась до трех, а то и до пяти градусов ниже нуля, а иногда даже шел снег, днем сменявшийся холодным дождем. В таких условиях полевые аэродромы были практически непригодны, движение муссолиниевских колонн не охранялось с воздуха из-за метеорологических условий. По той же причине они и не опасались нападения республиканской авиации. Однако изобретательные республиканцы умудрились соорудить на утопающем в грязи ближайшем походном аэродроме дощатые взлетные полосы достаточной длины, чтобы их асы смогли поднять в низкое, мокрое небо несколько истребителей, обрушивших уничтожающие пулеметные очереди на идущие вплотную друг за другом армейские камионы с пехотой и перемежающую их технику. Новехонькие машины с пехотой врезались одна в другую, становились на дыбы и валились на бок, рассыпая и давя ошалелых солдат. Огромными были и психологические последствия. В несложные души вчера еще столь гордых берсальеров взамен самолюбования и самодовольства проникла неуверенность в себе; впервые обещанная перед отплытием в испанские порты быстрая и победоносная война начинала выглядеть смертельно опасной.

Не меньшее охлаждающее воздействие на пылкие сердца движущегося в направлении Гвадалахары фашистского воинства оказали и пушечные танки. В первые же минуты их встречи с весело выбежавшими вперед хорошенькими итальянскими пулеметными танкетками четыре из восьми последних были пробиты навылет, и в дальнейшем при виде хотя бы одного Т-26 они разбегались, как овцы перед волком.

Двенадцатой бригаде был отведен по необходимости необычайно широкий участок. В центре его по решению Лукача расположились гарибальдийцы, численно превосходившие оба других батальона, однако тоже ослабленные, хотя и не потерями, но отсутствием Паччарди, за неделю перед тем отпущенного в Париж на десять дней, чтобы проверить у врачей-специалистов поврежденное на Хараме ухо, а заодно и набрать новых бойцов среди итальянских республиканцев. Его заменял комиссар Илио Баронтини. Когда бригаду неожиданно опять двинули на фронт и наступил едва ли не самый ответственный момент ее существования, в батальон для укрепления духа приехал сам Луиджи Галло.

Ночь в горах наступила как-то особенно поспешно. Высланная еще засветло разведка по возвращении доложила, что передовые посты фашистов находятся в расщелине, приблизительно в километре от гарибальдийцев, и до утра, конечно, в такой тьме не шелохнутся. Мороза пока не было, зато посыпался мелкий как бисер дождь. Гарибальдийцы рассредоточились в лощине за густым кустарником, и скоро все, кроме выдвинутых в него патрулей, спали.

Штаб устроился чуть поодаль в неглубоком и узком овраге, заросшем неказистым леском, развел костерок и варил кофе. Он уже закипал, когда с той стороны, где

деревья росли гуще, послышался хруст хвороста. Все повернули головы. На свет костра вышли четверо незнакомцев в касках и с пистолетами на поясах. В то же мгновение сидевший среди других в ожидании кофе итальянец лейтенант Чичон, всего с месяц как вступивший в батальон, а еще недавно служивший в той самой королевской армии, которая прислала на подмогу Франко целый корпус, вскочил, выхватил винтовку у стоявшего рядом молоденького часового и, наведя ее на незнакомцев, почему-то по-французски выкрикнул: «Haut les mains!..» Одновременно второй часовой, оказавшийся за спинами неизвестных офицеров, повторил тот же окрик. Вышедшие на костер медлили, но Чичон выстрелил поверх их голов, и те с недоумевающим видом подняли руки. Галло и Бароптини осветили их своими фонариками. Сомнений быть не могло: перед штабом Гарибальди стояли муссолиниевские офицеры, причем один из них был ни больше ни меньше как майором. Чичон в слабых отблесках костра первым узнал походную форму, которую еще в прошлом году сам носил на осенних маневрах.

Ледяным тоном Галло задал старшему из соотечественников несколько вопросов, и скоро выяснилось, что перед ним командир и штабные офицеры отдельного пулеметного батальона дивизии «Литторио», а позади них движется весь его штаб, в общей сложности около сорока человек младших офицеров и нижних чинов, — телефонистов, шоферов, ремонтников. Услышав это, Чичон и Брачаларге быстро сняли со все еще ничего не понимавших господ их пистолеты и, негромко распоряжаясь, повели часовых и разбуженную охрану двумя расходящимися шеренгами в лес, навстречу остальным тридцати шести фашистам. Тем временем майор, проводивший оторопелым взглядом длинного поджарого Брачаларге, уносящего его пистолет, продолжал, опустив руки, рассказ о том, как они еще до сумерек отправились осмотреть расположение авангар-

да дивизии, чтобы подыскать где-нибудь на стыке подходящую позицию для батальона. Найдя, они двинулись в обратный путь, но кто-то предложил не петлять по тропинке, а пройти напрямую, лесом, однако в наступившей темноте они сбились с направления. Скоро, на их счастье, между деревьями замелькал огонек. Они осторожно пошли на него, а приблизившись и услышав не испанскую, а родную, итальянскую, речь, обрадованно зашагали к своим. Галло понадобилась некоторая настойчивость, чтоб растолковать оптимистически настроенному майору, что он вовсе не в своей дивизии, но в плену у итальянских антифашистов. Окончательно тот поверил этому, рассмотрев нашейные красные платки и красные звездочки на беретах и фуражках, не сразу бросавшиеся в глаза из-за темноты. Убедившись, он согнулся вдвое, ударил себя обоими кулаками в лоб и закричал, как подраненный заяц. Однако утешать его было некому: все, кто находился поблизости, отправились в ночной лес окружить и захватить врасплох остальных пулеметчиков, что и удалось без единого выстрела.

Лишь тогда позвонили Лукачу. Ему отчаянно хотелось посмотреть вблизи на живые трофеи гарибальдийцев, но он понимал, что нельзя терять ни минуты, и приказал сейчас же и на самой высокой скорости доставить все сорок пленников автобусом в Мадрид. Майора же и его ближайшее окружение Галло самолично помчал на допрос. Оглушенное скоропостижностью и нелепостью происшедшего, командование пулеметного батальона не слишком упорствовало, и руководству Центрального фронта удалось установить многое о количественном и качественном составе экспедиционного корпуса, получить характеристики его генералитета, осведомиться об их ближайших оперативных намерениях и пополнить данные об итальянском вооружении.

Но все это вовсе не облегчило самих боев за подступы

к Гвадалахаре, тяжелейших из всех, в каких бригаде до сих пор приходилось участвовать, включая и харамские. Слишком тяжелы были климатические условия, а также очень сильно было нервное напряжение от сознания многократного численного превосходства наступающих и прямо-таки невероятного преимущества их вооружения. Несколько суток судьба не одной Гвадалахары, но и самой испанской столицы, да и вообще Республики, висела на тончайшем волоске. Но человеческий дух оказался сильнее и неиссякаемых потоков раскаленного свинца, и броневой стали, и самых неопровержимых арифметических расчетов. Против вполне современной итальянской машины войны стояли люди, нравственно чистые и уверенные в своей правоте, а потому готовые умереть, но не уступить. Тем не менее ситуация была трагичной. Особенно угрожающе выглядела растянутость. Лукач даже ладонью по столу хватил, рассматривая свежие отметки на карте начальника штаба и увидев, какая брешь существовала между левым флангом Двенадцатой и правым — анархистов. Оставалась надежда на то, что образованные итальянские генералы будут упрямо продвигать свои моторизованные подразделения лишь по двум ведущим к Гвадалахаре дорогам, а подчиненные им полковники, майоры, капитаны и лейтенанты, тоже получившие специальное образование, не смогут и мысли допустить, что против вверенных им доблестных бригад, батальонов и рот, носящих названия, подобные заглавиям старинных романов, сплошного фронта попросту нет.

Самым опасным на его участке Лукачу представлялось бездорожное и пустынное пространство справа от так называемого «французского» шоссе, до которого, увы, не дотягивался правый фланг бригады. Доехав на «пежо» до места, где республиканский фронт фактически кончался (метрах в двухстах от шоссе), он отошел шагов на пятьдесят вправо, постелил на влажную почву захваченное

из машины одеяло, лег на него и долго разглядывал в бинокль покрытое прошлогодней чахлой травой необитаемое плоскогорье. Проведя так с четверть часа, он приказал адъютанту съездить за Шевердой.

— Вот что, Иван,— продолжая глядеть в бинокль, заговорил он, когда Шеверда, позванивая своими консерваторскими шпорами, приблизился.— До сей поры вы, братцы мои, скажу прямо, не слишком-то много сражались. Все больше для парада существовали. Но я всегда знал, что рано или поздно вы нам нужны будете позарез. Ложись-ка. Видишь эти голые холмы? Пейзаж, скажу тебе, удивительно напоминает центральный Казахстан. Никогда там не бывал? Так вот какая перед тобой ставится задача: весь эскадрон, до последней сабли, должен будет от зари и до зари маячить по этим вершинам небольшими разъездами по четыре-пять всадников. Необходимо, чтобы у голубчиков этих создалось представление, что здесь накапливается не меньше чем кавалерийский корпус. Не поверят? Еще как поверят. У страха глаза велики. Мне важно, чтоб они не вздумали послать сюда свою пехоту и обойти нас по бездорожью. Улавливаешь, как много от вас зависит? То-то же. Действуй!

Меньше чем через две недели при допросах захваченных бригадой пленных подтвердилось, что хитрость Лукача удалась. Фашистское командование не только заметило конников у себя на левом фланге, но и придало успешно сыгравшим свою роль «статистам» Шеверды такое значение, что держало специальный заслон из целого стрелкового батальона, подкрепленного легкой батареей.

Несмотря на обнадеживающее, в общем, начало, порой возникали совершенно непредвиденные опасности. Одна из них появилась на пятый день непрерывных артиллерийских обстрелов и авиационных бомбежек и была результатом сочетания фашистской наглости с анархистским легкомыслием. Около полудня, в сравнительно небольшой

(метров триста) разрыв между Двенадцатой и Семидесятой, за которым обязан был наблюдать правофланговый батальон последней, начали незаметно просачиваться предприимчивые фашистские ударные группки. Всего накопилось там авантюристов этих что-нибудь около четырехсот. Обнаружили их уже больше чем в километре от передовой. Старый Мориц, в одиночку проверявший свою проводку по тылам к штабу Кампесино, заинтересовался, что это там за люди, он посмотрел в бинокль и не без некоторого содрогания узнал в руках у них итальянские винтовки. Поскольку наступил священный час обеда, проникший в республиканское расположение отряд был занят едой, однако направление их рейда сомнений не вызывало: они шли параллельно фронту и, судя по всему, должны были выйти прямо на командный пункт генерала Лукача. Мориц попятился от одного дерева к другому, а выбравшись за пределы видимости, пустился бегом. Почти в то же время дежурный по штабу Кампесино предупредил свое командование, что в лесу позади Семидесятой расположилось что-то около полубатальона, неизвестно откуда взявшегося, скорее всего, это дезертиры из анархистской бригады, но кто их знает; хорошо бы в этом всетаки убедиться.

Лукач обратился с этим к командиру танковой роты капитану Демченко, выведшему свой танк из боя, потому что неприятельским снарядом на нем заклинило пушку. Он поставил свою боевую машину за домом, где находился командный пункт Двенадцатой, занялся ремонтом, но скоро убедился, что своими силами не обойтись, и зашел доложить генералу о необходимости отойти на базу. В бригаде этот танковый капитан был своим человеком: он свободно говорил по-польски, его еще с Харамы постоянно посылали содействовать польскому батальону. Да и сейчас он возвратился от поляков. Так что обращенная к нему просьба Лукача была вполне естественна.

— Отложи это на час, а? Ведь туда и обратно ты в десять раз скорее смотаешься, а стрелять из пушки в своем тылу не понадобится.

В этот момент вбежал задыхающийся Мориц.

— Туважиш хенерал! Але там у тептом лесичку фашистске итальяни! И они иду тута!..

Невозможно было утверждать, что эта новость не произвела на присутствующих никакого впечатления. Но обмениваться общей всем обеспокоенностью явно было некогда. Белов начал быстро считать вслух наличные силы: вместе с генералом Лукачем всех офицеров семь, телефонистов трое, пять бойцов охраны, три шофера и один мотоциклист — Луиджи. Еще имелись четверо легкораненых, ожидавших машины, на которой Беллини должен привезти обед, а на обратном пути захватить их. Оружия, однако, не хватало. У охраны был, правда, один «льюис», но винтовок не насчитать и десяти, почти половина из тех, кому идти в лес, располагала лишь пистолетами.

— Кроме начальника штаба и раненых, все выходим навстречу фашистам,— заявил Лукач.— Давайте собираться, и быстро.

Но Петров остановил его:

— Я здесь старший и по партийному, и по жизненному стажу, кроме того, за мной и академия. И я обязан тебе напомнить, что мы не в партизанском отряде. Ты командир бригады, и никто тебя от этих обязанностей не освобождал. Ты и Белов обязаны оставаться здесь. Останется и твой шофер, чтобы в случае прямой угрозы оба вы, захватив раненых, могли бы добраться до наших позиций. А ты, Демченко, хотя и придан нам, но танк твой в аварийном состоянии, и чтобы тебя не отрезали, чеши-ка ты, братец, поскорее к себе...

Демченко вытянулся:

— Разрешите, товарищ полковник, с вами. Машина

моя на ходу, а без нее они вас не сильно испугаются.

Лукач подошел к Демченко, взял за плечи и поцеловал в обе щеки.

— Спасибо. Танк все решит, увидишь. Откуда им знать, что пушка твоя не стреляет? И чем ближе ты подойдешь, тем лучше. Только давайте поскорее...

Демченко побежал к своему чудовищу. Все вышли за ним. Капитан по-польски пригласил Морица в люк — показывать дорогу. Трое из четырех раненых — один был в горячке,— узнав в чем дело, вызвались пойти со штабными.

Танк переполз через кювет, и смешанный отрядик, в котором не насчитывалось и двадцати человек, двинулся за ним через шоссе.

Белов, косолапя, поспешил к коммутатору. Лукач же остался снаружи и, заложив руки за спину, прохаживался по шоссе. Минут через двадцать из леса донеслась дальняя винтовочная перестрелка, но вскоре затихла. С шоссе было слышно, как Белов разговаривает по телефону, потом он долго крутил рукоятку, пытаясь сам куда-то дозвониться, но безуспешно. Расстроенный, он вышел к Лукачу.

— Кампесиновцы информируют, что в толпе дезертиров возникла стрельба, после которой они повернули обратно на позиции. Но вот новая беда: связь с нашими батальонами нарушена...

Лукач вдруг повернулся к лесу и прислушался. Похоже было, что танк возвращается. Вскоре стало видно, как он идет, выбирая дорогу между старыми деревьями и укладывая на землю некоторые молодые стволы. В открытом люке стояли улыбающийся Демченко и мрачнейший Мориц, а на броне, держась за цепи, сидели три раненых поляка. Танк вышел на шоссе, ссадил раненых и Морица и развернулся на Гвадалахару.

— Без выстрела побежали,— крикнул Демченко.—

Только люк опустил, будто иду давить их. Как дадут врассыпную! Даже странно. Видно Т-26 на нервы им действует.

— Еще и еще раз спасибо, мой дорогой! — закричал в ответ Лукач.

Демченко отдал честь. Его водитель почти с места включил предельную скорость.

— Чем ты, Мориц, недоволен? — удивился Белов.

— Та проклета тварж со своима гусеница уси мои проволоки зрушила. Тилько с Кампесиной зустали нерушены,— отвечал Мориц, считая, что говорит по-русски.

— Не расстраивайся, чудак. Ты радуйся, что сам да и все мы целы. А провод — дело наживное...

Из лесу счастливой толпой вывалили офицеры штаба, охрана, телефонисты, два шофера и Луиджи с «льюисом» на плече. Позади всех широко шагал Петров, безотчетно продолжавший размахивать стиснутым в правой руке маузером. Увидев встречающего их комбрига, он спохватился, на ходу раскрыл деревянный футляр и уложил в него громоздкую свою пушку.

Опасный день миновал, прошел еще один, и еще почти в таких же тревогах.

— Как ни дорого обошлась нам эта победа, но ее военные, а еще больше политические последствия уже и сейчас таковы, что я утверждаю: они окупили все наши потери,— вслух размышлял Лукач, когда через неделю после разгрома экспедиционного корпуса дуче штаб бригады продолжал стоять все в том же Фуэнтес-де-Алкаррия, недавно находившемся меньше чем в двух километрах от передовой, а теперь оказавшемся в глубоком тылу.

На участке Двенадцатой успех стал наиболее впечат-

ляющим и завершился ночным взятием Бриуэги, откуда неполных три месяца назад батальоны Андре Марти, Домбровского и Гарибальди выходили под Новый год отбивать три небольших горных селения.

Республиканское контрнаступление началось, едва рассвело, уже к девяти часам батальоны Кампесино и Лукача, так же как Одиннадцатая и листеровцы, при поддержке танков сбили врага с его позиций, захватили несколько решающих высот и в течение всего дня продвигались медленно, но верно. При этом каждая атака советских истребителей заставляла итальянских резервистов терять самообладание.

К вечеру на командном пункте генерала Лукача констатировали значительное продвижение вперед всех трех батальонов и даже эскадрона, начавшего совершать рейды на шоссе, где им была захвачена штабная машина с тремя офицерами. Примерно на том же уровне шли Одиннадцатая и бригада Кампесино, который после полудня прискакал вдоль фронта к Лукачу, чтобы, сверкая цыганскими глазами и показывая белые зубы над черной как смоль бородой, похвастать своими успехами.

Стало уже темно, когда в штабе было решено продолжать наступление, ибо главная его цель — взятие Бриуэги — не была достигнута. Но было достигнуто нечто, может быть, еще более значительное. Носящие до безвкусицы пышные наименования батальоны дуче явно упали духом. Отступая, они оставляли на поле боя не только своих убитых, но также и немало оружия. То там, то сям валялись винтовки, а то и станковые пулеметы, почти полные или даже нераспечатанные металлические коробки с игрушечного вида черно-красными наступательными ручными гранатами. Отступающими были покинуты также грузовики, несколько офицерских автомашин, походные кухни, вещевые мешки, консервы, фляги и солдатские каски. Особенно повезло гарибальдийцам, наткнув-

шимся в глубоком овраге на одиннадцать камионов, груженных всемирно прославленными итальянскими макаронами. Только одна бригада Лукача взяла до двухсот пленных, сдававшихся в стремлении хотя бы таким образом выйти из войны, внезапно потребовавшей самопожертвования и ничем больше не напоминающей туристический поход на Малагу.

Однако начало обнаруживаться и предельное утомление наступающих. Измученные бойцы валились в первую попавшуюся канаву или даже падали на каменистую тропинку и тут же засыпали. Чем ближе дело шло к ночи, тем яснее становилось Лукачу и его окружению, что это изнеможение значительно ослабляет бригаду, ряды ее заметно редеют, а сокращенным числом взять Бриуэгу вряд ли удастся. Как только Белов высказал такое сомнение, Петров встал, надел фуражку, поправил висящий на бедре деревянный приклад и объявил:

— Порыв не терпит перерыва. Я пошел в батальон Домбровского. Раз бывшим моим домбровцам брать Бриуэгу, то, по старой памяти, я хочу лично подтолкнуть их на это последнее усилие. Поддену тем, что и батальон Кампесино повернул в том же направлении. Красиво будет, если они, находясь на километр дальше, раньше поляков в Бриуэгу войдут? Несмываемый позор!..

Около трех ночи Мориц протянул телефонную трубку дремлющему за столом Лукачу. Приглушенным за дальностью, но ликующим голосом Петров уведомлял комбрига, что Бриуэга занята.

— Ой, не спеши, милый мой,— стал упрашивать его Лукач.— Не спеши, умоляю тебя. Ты ведь с командного пункта Янека звонишь, не правда ли? Но своими глазами ты ничего не видел. Вспомни, как мы, когда были в Университетском городке, сообщили Ратнеру, что поликлиника наша, а там продолжали сидеть марокканцы. Кто-то у нас ее с Медицинским факультетом спутал, но сообще-

ние-то пошло и успело на другой день в газеты попасть. Не забыл, какой тогда конфуз вышел? Хорошо еще, что в Москву не дали знать. Боюсь, как бы и сейчас игра в испорченный телефон не получилась... Прошу тебя: подожди до света и сходи сам проверь. Если дойдешь до площади, где мы в январе стояли, ну, значит, и вправду взяли. Тогда немедленно звони. Вот тогда я во все колокола и ударю. До того же не имею права поверить. Слишком важна эта победа, и колоссальными будут ее последствия. Давно ли мы считали, что живыми отсюда никому из нас не уйти?..

Ждать рассвета Петров, однако, не стал. Спустя час с небольшим опять загудел зуммер, и полковник подтвердил свое сообщение. Вместе с Янеком он ходил в Бриуэгу, побывал и на главной площади. Двухэтажного здания, в котором некогда размещался штаб бригады, больше нет, одни развалины. Мирного населения в поселке ни души. Большинство ушло с войсками Республики, меньшая часть бежала сейчас с фашистами. Стены уцелевших домов покрыты хвастливыми итальянскими надписями. Сейчас они выглядят довольно забавно...

— Поздравляю тебя и Янека от всей души,— радостно прокричал в ответ Лукач.— Поздравляю бойцов и командиров батальона, да и всю бригаду! А ты своим личным участием, честное слово, заслужил почетное дополнение к фамилии... Представляешь? Георгий Васильевич Петров-Гвадалахарский! Звучит!.. Ну, возвращайся поскорее. Вместе порадуемся. Белов ждет тебя не дождется. Да и все остальные. Только еще одна просьба: уломай ты Янека, чтоб сию же минуту вывел своих ребят на высоты вокруг. Чует мое сердце: как развиднеется, налетят фашистские птички на Бриуэгу, как пить дать — налетят. Зачем Янеку лишние потери?..

Нетерпеливое желание Лукача собственными глазами увидеть отвоеванную Бриуэгу привело к тому, что он сам

туда выехал. Возвращавшийся Петров издали увидел его машину и остановил свою боярскую колымагу. Поравнявшись с нею, притормозил и Лукач. Опустив стекла и обменявшись несколькими шутками, они разъехались.

Пока, объезжая свежие воронки, Эмилио выруливал на площадь, на которой осталось всего четыре неразрушенных дома, на глаза Лукачу попали три легковых автомобиля, прижавшихся к сложенной из циклопических плит церковной ограде. А ближе к руинам прежнего своего штаба он увидел Реглера в его замызганном альбасетском полушубке, упрямо носимом и после смерти Баймлера. Лукач знал, что весь предыдущий день и последнюю победоносную ночь комиссар провел с франко-бельгийцами, а после того, как маленький храбрый Бернар повел их в темноте на штурм толстостенного Паласио-Ибарра и взял его, Реглер перебрался к полякам. Сейчас он с жаром рассказывал обступившим его Хемингуэю, Ивенсу и Эренбургу обо всем происшедшем за сутки на этом отрезке фронта. В измятом полуспортивном костюме из толстой, как одеяло, материи, на вид неуклюжий, но, как еще под Аргандой заметил Лукач, ловкий и тренированный Хемингуэй, засунув концы пальцев в передние карманчики брюк, слушал, не пропуская ни слова. Посасывая трубку, внимательно слушал и Эренбург, одетый в сугубо штатское и даже элегантное широкополое пальто, сидевшее на нем, однако, мешком. Лишь небольшой, но крепко сшитый, мужественно красивый Ивенс отвлекался, часто щелкая по сторонам своим аппаратом. Его оператор Джон Ферно — тот вообще ничего не слышал, фотографируя группу с самых неожиданных ракурсов.

Дружески пожав всем руки и помахав издали Ферно, Лукач весело посмотрел на Эренбурга, которого в свое время не мог читать по недостаточному знанию русского языка, а позже не стал из-за доверия к руководящим рапповским критикам и только совсем недавно схватился

за его книги и проглатывал одну за другой, отдавая предпочтение поистине художественной его публицистике. Еще радостнее отнесся Лукач к Хемингуэю, через своего адъютанта спросив, нашел ли он в госпитале Пятнадцатой контуженного патриота, которого искал, а выслушав перевод утвердительного ответа, посетовал про себя, что не может непосредственно общаться с таким по духу близким ему и ни на кого не похожим писателем. Но что поделаешь? Сам он знал венгерский, немецкий и русский, а Хемингуэй — английский, испанский и французский: шесть языков на двоих, а не разговоришься... И, вздохнув, комбриг по-немецки пригласил всех проехать к нему в штаб, где можно будет и договорить и кофе выпить. Здесь же не стоит задерживаться. Вот-вот прилетят сюда итальянские «кондоры» отомстить освободителям Бриуэги.

— Они, ясное дело, уверены, что мы, круглые дурни, уже начали банкеты устраивать. Ан мы совсем не дураки, тут наших людей днем с огнем не найдешь, кроме вас да меня, и бомбить некого...

Его настоянию вняли без особого энтузиазма. Больше других был недоволен Реглер, не успевший кончить свой рассказ, вполне достойный быть записанным. Но, когда вслед за «пежо» три «коче» завиляли по серпантину на выезде из Бриуэги, откуда-то из-за гор донесся все приближающийся гул, похожий на отдаленные раскаты грома, а, едва машины вышли на гвадалахарское шоссе, позади так загрохотало, что пассажиры возблагодарили Лукача за предусмотрительность.

После кофе, едва гости разъехались, Лукачу подали телефонную трубку. Негодующий голос Горева вопрошал из Мадрида, почему это он, Лукач, позволил противнику оторваться километров на двадцать вместо того, чтобы ворваться на его плечах, ну, хотя бы в Масегосу? На это Лукач, сдерживая возмущение, отвечал, что его бригада, да и соседние, они совершенно истощены, не говоря о том,

что при пятикратном вражеском превосходстве только в артиллерии Двенадцатая за неполные две недели потеряла около трети бойцов и офицеров. Если запросить врачей, они скажут, что не меньше трети состава бригады нуждается в госпитальном лечении.

Непокорного комбрига для дальнейшего увещевания тут же пригласили в подвал министерства финансов, где на него нажало все окружение Горева, но Лукач остался непоколебим, и в конце концов его отпустили с миром. Вдогонку за экспедиционным корпусом направили все, что оставалось под рукой. И где-то, километрах в десяти, разрозненные республиканские батальоны вышли на поспешно возведенную линию обороны, за которой против ожидания сидели, однако, не итальянские фашисты, а гораздо более крепкие солдаты Франко.

Конец марта и начало апреля штаб генерала Лукача и эскадрон провели все в том же Фуэнтес-де-Алкаррия, батальоны же и батарея — в селениях, расположенных поблизости, к юго-востоку от французского шоссе. Двое суток в Фуэнтесе находился и штаб Кампесино, а также его четвертый, молодежный, батальон. Дома поселка тянулись по хребту параллельно шоссе и создавали единственную улицу, упиравшуюся в небольшую площадь. Почти всю ее занимала старинная церковь, размерами своими очень устраивавшая Шеверду — в нее поместился весь эскадрон: и люди, и лошади. Ее средневековые стены надежно защищали и тех и других от осколков любых размеров, а за несколько налетов, совершенных уже в первые дни, бомб на площади разорвалось немало. В самом селении, однако, почти никто не пострадал, потому что еще при слухах о приближении войск Муссолини жители переселились в расположенные вдоль обрыва пещеры, в которых испокон веку хранились мехи с вином, глиняные кувшины с асей-

те[1], овощи, мешки с гарбансосами; рядом со всем этим ночевали козы и овцы, а теперь жили и люди.

Кампесиновские бойцы тоже проводили ночи в здешних куэвас[2], а дневали на открытом воздухе. Батальон этот был еще в октябре сформирован из мадридских строительных рабочих, главным образом двадцатилетних, но встречались среди них и совсем мальчишки, не достигшие и восемнадцати. В подражание героям фильма «Мы из Кронштадта» все они были шикарно, крест-накрест, обмотаны пулеметными лентами и увешаны ручными гранатами различных систем, да и вели себя соответственно и такому стилю и своему возрасту. После первой же ночевки большая группа их, голых до пояса, несмотря на нежаркую погоду, с мыльницами в руках и полотенцами, столпилась на уступе около фуэнте[3], метров на десять ниже улицы, а кто-то, выйдя из пещеры, в виде изысканной шутки швырнул туда похожую на пасхальное яйцо итальянскую наступательную гранату. Конечно, он хотел лишь напугать умывавшихся и бросал в сторону от них, но не рассчитал, и двоих поцарапало мелкими осколками, тем не менее это вызвало не ропот, а — после недоуменной паузы — взрыв хохота. Тонкая шутка удалась.

Лукач со своим штабом размещался в двухэтажном домике как раз над площадкой, где лопнула граната, и кто-то из офицеров бросился к окну узнать, что случилось, потом выскочил на улицу и с высоты ее накричал на буйную вольницу.

Часа через два, когда не вполне безопасная шалость уже забылась, Лукач, в сопровождении адъютанта посетив эскадрон, возвращался к себе. Они еще издали увидели, что к громадной куче хвороста, сложенной возле их дома, приблизилось несколько кампесиновцев. Большими охап-

[1] Растительное масло (*исп.*).
[2] Пещеры (*исп.*).
[3] Источник (*исп.*).

ками они хватали его, очевидно собираясь развести огонь. Первый из них уже отходил, осторожно ставя подошвы, потому что высокая груда сучьев заставила его задрать подбородок к небу, как вдруг на пороге штабного дома появилась хозяйка с метлой. Громко бранясь, она принялась лупить по чем попало ближайших расхитителей ее собственности. Бросая хворост, они кинулись врассыпную, будто забравшиеся в чужой сад проказливые мальчишки.

— Видали? — довольным тоном спросил Лукач.— Так. А поняли, что эта сцена доказывает? И вы и я смогли воочию убедиться, что простая здешняя женщина ни капельки не боится этих с ног до головы вооруженных башибузуков. Наоборот, они испугались ее метелки. А ведь эти ребята всерьез готовы, если понадобится, сложить свои головушки в следующем же бою, а еще больше готовы сражаться со своими врагами. А самая обыкновенная женщина бесстрашно колотит их, потому что для нее они не какие-то там завоеватели, а свои парни, из этого же Фуэнтеса или из соседнего села. И они видят в ней пожилую женщину, вроде матери того или иного из них. Вот это и есть народная армия, а для нас с вами — очень радостное подтверждение, что, решая ехать в Испанию, мы не ошиблись...

Над снова застывшими фронтами текли дни за днями, недели за неделями и продолжали чередоваться месяцы, только уже не зимние, но весенние. Однако за кулисами обыденной фронтовой жизни генерал Лукач, а за ним и Белов с Петровым развернули кипучую деятельность, поначалу импровизированную, даже секретную. Целью ее было создание двух новых батальонов: балканского и венгерского. Настойчивая переписка с друзьями из альбасетских кадров и помощь комиссара-инспектора Галло привели к тому, что с базы формирования интербригад прислано было наконец долгожданное разрешение.

Сверх того из Альбасете в госпитали, дома для выздоравливающих, в интербригады, а также в испанские части был разослан циркуляр, предлагавший всем, кроме Пятнадцатой (в ней был собственный балканский батальон Димитрова), немедленно отчислить всех имеющихся в них югославов и болгар в Двенадцатую, где на базе изъятой из польского батальона балканской роты будет создан балканский батальон имени Джуро Джаковича; всех же венгров, где бы они ни были и какие бы посты ни занимали, направлять в личное распоряжение генерала Лукача. И так как еще до Харамы бригаде был придан испанский добровольческий батальон «Мадрид», а после Гвадалахары ее укрепили тысячью мобилизованных новобранцев, то комбриг втайне лелеял мечту: опираясь на это пополнение, на батальон «Мадрид» и после окончания формирования двух новых — преобразовать Двенадцатую интербригаду в интердивизию.

И уже к концу апреля, когда солнце пекло, будто в июне, и когда бригада опять занимала окопы в Каса-де-Кампо и со скукой смотрела на изученную до мельчайшей складки местность, генерал Лукач, дописав письма жене и дочери, чтобы успеть до отправки диппочты, почувствовал усталость и попросил адъютанта дать ему поспать двадцать минут до обеда.

Ровно через двадцать минут с сияющим лицом Лукач вышел в залитую солнцем столовую. Сидевшие встали.

— С утра храню одну тайну. Молчал же потому, что хотел объявить ее всем одновременно. Можем радоваться. Послезавтра бригаду выводят, но не в резерв фронта, а в распоряжение министерства. Переберемся подальше от Мадрида. Там вручим знамя батальону Джуро Джаковича, там завершим организацию и венгерского. Там наша дивизия официально будет оформлена и получит номер. Готовь переброску по всем линиям, Белов. Пусть только и на новом фронте нас не оставит военное счастье.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

К концу апреля Двенадцатая, впервые за пять месяцев, была отведена для отдыха и переформирования километров на сто к юго-востоку от Мадрида, в почти не затронутые войной, глухие поселки в район Саседона. Штаб будущей дивизии занял там огромное палаццо, покинутое титулованным собственником, любившим уединение, потому что нигде поблизости не было ни захудалого домишка, ни пастушьей хижины, а в самом дворце отсутствовало даже такое достижение цивилизации, как телефон, и ближайший был в получасе езды на мотоцикле. Единственное, что в окрестностях напоминало о жилье,— развалины романского замка на отдаленной вершине, лет пятьсот назад служившего неприступной резиденцией предкам герцога. Лукач превратил его поместье в организационный центр будущей интердивизии.

Лишь теперь Лукач, Петров и Белов смогли приступить к непосредственному созданию двух самостоятельных бригад: одной, состоящей из громоздкого батальона Гарибальди и сводного испанского батальона «Мадрид», и второй — из двух польских батальонов (Домбровского и Палафокса), батальона Андре Марти и балканского батальона Джуро Джаковича. Кроме того, Лукач занялся собиранием всех рассеянных по республиканской Испании венгерских добровольцев. Он поселял их в особо укромном уголке, куда вела неасфальтированная дорога, и вскоре ему удалось объединить таким образом до трехсот ветеранов, среди которых больше половины вступили в бой еще на Арагоне. Однако альбасетский приказ об их объединении не всегда и не всеми одинаково хорошо выполнялся, и Лукачу иной раз приходилось для достижения поставленной цели в свою очередь прибегать к не вполне легальным средствам.

Так, во второй половине апреля он получил доставлен-

ное заезжим интендантским водителем неподписанное письмо с жалобой на генерала Вальтера, который, мол, плевать хотел на указание отдела кадров и не только задерживает в охране своего штаба пять мадьяр, но и приказал им не сметь думать ни о каком отчислении.

Раза два в неделю Лукач ездил из-под Саседона в «Гайлорд» к Кольцову за новостями и последними советскими газетами. Однажды он встретился у него с Вальтером, спросил, не осталось ли у него в бригаде венгров, но тот, ласково погладив ладонью свою бритую голову, глазом не моргнув, соврал, что никаких венгров у него нет, да и в помине никогда не было. Лукач хладнокровно выслушал его, а дня через три отправился нанести ему прощальный визит, поскольку Четырнадцатая прочно оставалась на Центральном фронте. Уже посмотрев на часы и попросив не поминать лихом, он извинился, что не поверил было на днях, когда услышал от генерала Вальтера, будто у него нет ни одного мадьяра. Однако сейчас совершенно точно установлено, что ни одного мадьяра в Четырнадцатой и в самом деле нет. Вальтер остро взглянул на гостя, но, увидев на лице его детское чистосердечие, удовлетворенно кивнул, еще не зная, что это было неопровержимой истиной, поскольку брезентовый грузовичок, приняв в условленном месте пять выполняющих альбасетские указания «перебежчиков», уже мчался в несусветную глушь за Саседоном.

— Так ингуши и чечены похищают своих будущих жен, всегда с их согласия,— просветил Лукач своего адъютанта на обратном пути.

Утром, в последнее воскресенье месяца, перед предстоящим отбытием формируемой дивизии в еще неизвестном направлении, к Белову и Петрову приехали проститься два болгарских инженера, присланных в Мадрид из Москвы для помощи в налаживании производства современных

армейских прожекторов. У обоих, как и у всех, имелись и настоящие и здешние фамилии, но обычно их называли вошедшим в болгарский язык турецким словом «баджанаки», так как старший из двух был «баджанаком», то есть кумом Белова: еще до эмиграции они поженились на сестрах. За машиной баджанаков следовало еще одно «коче», в котором прибыл Савич в сопровождении секретарши ТАСС, научившейся вполне сносно объясняться по-русски, хорошенькой испанки Габриэлы. И сразу же выяснилось, что явился Савич не просто так, а поздравить генерала Лукача с только что прошедшим сорок первым днем рождения, о котором никто из штабных и не подозревал. Несмотря на возражения смутившегося генерала, было решено придать миновавшему событию обратную силу.

Погода стояла по-испански безоблачная, но в горной местности не по-испански нежаркая, поэтому и гости и хозяева пожелали провести празднование в горах, «на лоне природы», как, следуя своей любви к старомодным литературным словосочетаниям, выразился Белов. Новый интендант бригады майор Отто Флаттер попросил час на подготовку всего необходимого для скромного пикника, что, однако, вдвое скорее обеспечил запасливый Беллини.

Вскоре три автомобиля выехали за ворота дворца и осторожно двинулись по извилистой каменистой дорожке к показанной на карте речке, омывающей подножье горы. По прибытии выяснилось, однако, что река эта всего-навсего обросший ивняком прозрачный и прохладный ручей в шесть шагов шириной и глубиной не больше полуметра. Но все остальные предвкушения не были обмануты. За ручьем тянулись покрытые травой холмы, а над ними возвышалась скалистая гора с романтическими руинами на вершине. По склонам ближайшего холма паслись козы и овцы под надзором тощего небритого пастуха, «пастора» по-испански, с библейским посохом, но в кургузом городском пиджачке.

Оставив машины на левом берегу, все, перепрыгивая с камня на камень, перебрались через ручей и расположились на правом, более высоком и зеленом бережку. Пастух за скромное количество песет охотно согласился уступить приезжим сеньорам упитанного козленка, за которого вдохновенно взялись баджанаки, и очень скоро он начал печься на самодельном вертеле из молоденькой ивы над благоухающим костром.

После обильного обеда участники его долго поднимались в гору и, достигнув замка, снимались на фоне грандиозных стен, сложенных из неровных циклопических плит. Весь день проходил в радостном и одновременно лирическом настроении. Веселые разговоры и шутки сменялись хоровым пением любимых Лукачем украинских песен или задорных мадьярских, которые он пел соло, а припев подхватывали Отто Флаттер и Мигель Баллер, или еще пронзительно грустных болгарских, в унисон исполняемых балканским квартетом. Кончив петь, пускались в воспоминания о ярких и опасных приключениях, пережитых одними в дремучей тайге, а другими — в «сентябрийском» восстании двадцать третьего года.

Внезапно из-за гор на авиационной скорости вылетела и, закрывая небо, начала пухнуть сизая туча. Постепенно она чернела, по ней заметались голубые молнии, и оттуда страшно загрохотало, словно там шла массированная бомбежка. Через мгновение на развалины набросился валящий с ног горячий вихрь, и тут же с неимоверным шумом сверху обрушился настоящий водопад. За несколько секунд все промокли не то что до нитки и не до костей даже, но до самых внутренностей. Одежда, особенно форменная, вмиг набухла и мешала двигаться. К счастью, падающая с неба вода была почти теплой и вдруг иссякла так же внезапно, как полилась. Когда наконец удалось спуститься по скользким камням в долину, оказалось, что вместо ручья по ней, рыча, несется широкая и глубокая

рыжая река; вероятно, она и была показана на картах. Всем, кроме Габриэлы, которую рыцарственный Савич перенес на руках, пришлось после недавнего душа еще и окунуться до пояса в пенящийся грязный поток. Впрочем, двойное это омовение никому не испортило настроения.

По возвращении во дворец все немедленно переоделись, но если для офицеров это было совсем несложно, то Габриэла, элегантный Савич и баджанаки стали похожи на потерпевших кораблекрушение; миниатюрная Габриэла в волочившемся по полу черном шелковом платье Пакиты и с распущенными волосами напоминала послушницу какого-то монашеского ордена.

За турецким кофе празднование продолжалось, только под влиянием Савича постепенно переключилось с музыки на литературу. Он вдруг взялся читать стихи глуховатым своим голосом, умело оттеняя разнообразие их ритмов, сквозь которые проступала пронизанная и чувством и мыслью неповторимая лирика петроградских поэтов начала века. Общее благодушие и свойственное умным людям уважение к культуре да и расположение к исполнителю обеспечили ему даже шумные аплодисменты. Польщенный Савич, повернувшись к Лукачу, предложил ему отметить день рождения хотя бы временным возвращением к своей второй, основной и мирной, профессии и рассказать что-нибудь «из себя». К удивлению присутствующих, Лукач согласился. Отодвинув от себя чашечку с кофейной гущей на дне и нетронутую рюмку коньяка, он объявил, что попробует пересказать давно напечатанный рассказ «Яблоки», который уже несколько лет как задумал переписать заново. И, не жеманясь, он заговорил на своем русском языке, к которому окружающие привыкли так, что уже не замечали ошибок.

Довольно скоро определилось, что несложный, в общем, рассказ о вкусе надкушенного в тяжкий час поражения незрелого, до щемления в скулах кислого яблока и дру-

того, сорванного спелым, душистого и сладкого, главное же, съеденного в радостном ощущении победы, тем не менее отличался целомудренной сдержанностью и детальной продуманностью замысла. И едва стих гул общего одобрения, как после краткой паузы заговорил Савич:

— Мне, товарищ генерал, как вам известно, знакомо ваше литературное имя. Но до сегодня я имел лишь весьма общее представление о написанном вами. И потому, прослушав вашу новеллу, не могу не выразить своего удивления и даже восхищения. Вы не только испанский генерал, вы настоящий писатель. Вам есть что́ сказать, и вы понимаете, ка́к это сделать. Однако вы ведь пишете по-венгерски. Кто же переводит вас?

— Это главная моя беда,— серьезно ответил Лукач.— Сам. С помощью машинистки.

В последних числах апреля выросшую вдвое бригаду передислоцировали еще дальше к югу, но не вдоль валенсийского шоссе, а опять в сторону от него, да и от других больших дорог. Лукач со штабом и вспомогательными службами, а также эскадрон осели в глубоко тыловом винодельческом и виноторговом местечке Меко, батальоны же комбриг упрятал еще глубже — к ним вели лишь пыльные колеи, выбитые в почве высоченными крестьянскими двуколками, когда, до верха нагруженные мешками с зерном или винными бочками, они караванами по четыре или по пять тянулись из этой глуши к Мадриду, а на мешках или на бочках обязательно спали возницы, больше, чем в себе, уверенные в маленьких осликах, тоже в постромках семенящих впереди и ведущих куда надо двух или трех запряженных цугом мулов.

Первого мая на утрамбованной площадке, перед въездом в местечко, состоялся парад эскадрона и всех нестроевых служб. В полном составе на нем присутствовал штаб. Ровно в десять Лукач верхом на гнедом коне в сопровож-



Хэмингуэй и Алеша Эйснер

дении Ивана Шеверды подскакал к повзводно выстроившимся кавалеристам, объехал их и шеренги подсобных подразделений, повернув, остановился против штаба и здесь произнес по-русски краткую, но полную внутренней энергии речь. Адъютант, стоя рядом с его левым стременем, выкрикивал ее, фразу за фразой, на французском.

— Поздравляю вас, товарищи и боевые друзья, с Днем международной солидарности трудящихся! Вы знаете, что лозунг его — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», и уверяю вас, что никто на свете не имеет права с такой радостью и гордостью встречать этот праздник, как мы, живое воплощение этого лозунга. Ура нам с вами, товарищи!..

До темноты Лукач и старшие офицеры успели посетить все батальоны и повсюду принимали первомайские парады. И везде он, поздравляя людей, высказывал ту же воодушевляющую мысль, и всякий раз она звучала не простым повторением, но выражала самую суть его речи. Полякам же, по случаю возникновения отдельной польской бригады, специально прибывший в Испанию член польского ЦК вручал шелковое красное знамя, вышитое золотом в варшавском подполье. Перед ними кроме Лукача говорил, а вернее, кричал нечто очень пылкое Петров, их фактический крестный отец.

А через неделю до Меко дошел наконец долгожданный приказ министерства обороны о сформировании из Двенадцатой бригады Гарибальди и Тринадцатой (вместо потерпевшей поражение еще в декабре 1936-го под Теруэлем) бригады Домбровского новой интердивизии, получающей 45-й номер. Командование ею поручается генералу Лукачу. И вскоре стало известно, что дивизия эта отправляется на застывший с прошлой осени Арагонский фронт в распоряжение генерала Посаса, с заданием овладеть Уэской, почти полностью окруженной еще с сентября.

Тем самым республиканское командование надеялось отвлечь часть франкистских войск с Севера. На Страну

Басков, с самого начала отрезанную от остальной части Республики, почти не имеющую ни авиации, ни танков, оказывалось в последние месяцы все усиливающееся давление со стороны мятежников. Они начинали угрожать даже Бильбао.

Одновременно со сведениями о предстоящем переезде было по секрету сообщено, что и комбриг Горев оставляет полномочия старшего мадридского советника и перелетает на ту же должность в Бильбао. И теперь становилось очевидным, что смелая мысль Лукача о превращении Двенадцатой в дивизию шла навстречу планам республиканского командования.

Чтобы добраться до Арагона, новорожденной 45-й предстояло проследовать мимо поразительных летних пейзажей юга Испании, малознакомых ее бойцам и командирам, полюбоваться райскими картинами валенсийской Уэрты, восхититься густыми апельсиновыми рощами, в которых на фоне темных листьев светились неправдоподобно оранжевые плоды, миновать бесчисленные виноградники и рисовые поля, а затем, объехав по разным трассам многолюдную Валенсию, двинуться через лежащую посреди постепенно беднеющей природы невзрачную Лериду к раскаленному, как сковородка, арагонскому плоскогорью.

В теперешний же правительственный центр, где пребывало и министерство обороны, должны были заехать для получения последних указаний лишь Лукач и его самые ответственные сотрудники. Надлежало Лукачу посетить и валенсийскую резиденцию генерала Григоровича [1], заменившего Гришина в роли главного советника при премьер-министре и министре обороны. Понятно, что в Валенсии предусматривалась и менее официальная, но

[1] Г. М. Штерн.

приятная встреча с недавно переведенным сюда, поближе к руководящим кругам, всеобщим другом Савичем, теперь единственным представителем ТАСС на всю Испанию.

Перемещение целой дивизии на такое расстояние потребовало бы и от ее прежнего полноценного штаба величайшего напряжения, сейчас же, когда ради укрепления входящих в нее бригад Лукачу пришлось уступить им нескольких штабных офицеров, руководящий центр ее по численности стал напоминать тот, первый, вместе с телефонистами и охраной умещавшийся в сторожке у моста Сан-Фернандо, и обеспечение этого передвижения стало делом чрезвычайной трудности.

И сам Лукач, и Петров, и Белов, и Мориц, и Отто Флаттер, и Никита, продолжая исполнять положенное по своей должности, охотно брались за все, что необходимо было делать в данный момент. И потому неудивительно, что больше недели никто из штабных не ложился спать. Лишь урывками им удавалось поспать — то в ожидании обеда, уронив голову на скрещенные перед прибором руки, то в своей машине на скорости сто километров.

Лукач, всюду бравший с собой адъютанта, провел первую ночь в бывшей загородной резиденции Гришина, ныне занятой генералом Григоровичем, с которым у комдива еще в Мадриде наладились вполне дружеские отношения. И когда, после обильного ужина со старым вином, переводчица хозяина — маленькая, изящная и миловидная девушка — проводила генерала и адъютанта в роскошно обставленную спальню, с кроватями под балдахинами, и по-московски пожелала им «спокойной ночи», оба, едва успев сбросить портупеи, стащить сапоги и снять форму, мгновенно провалились, как бывало лишь в детстве, в глубокий сон. Впрочем, не хуже спалось и остальным их товарищам, которых угощал Савич в знаменитом своей кухней и еще больше изысканными винами ресторане на третьем этаже отеля «Метрополь». Второй этаж занимало

очень немногочисленное полпредство СССР во главе с третьим секретарем, столь же скромное торгпредство, консульство, состоящее из вице-консула и одного его помощника, и ТАСС — в лице Савича и Габриэлы. Однако все номера этого шестиэтажного здания были заняты, потому что Советский Союз представляли в Испании не дипломаты и внешнеторговые учреждения, но военные советники, артиллеристы, летчики, танкисты, моряки да еще инженеры, налаживающие здесь производство снарядов, винтовок, сборку самолетов, ремонт подбитых танков или, как баджапаки, изготовление прожекторов.

На другое утро к тем, кому оказал гостеприимство «Метрополь», присоединились и завершивший беседы с Григоровичем комдив с адъютантом. Вечером все должны были выезжать, чтобы побывать у командования фронтом, получить уже подписанный приказ о наступлении на Уэску, детально изучить его и успеть принять необходимые подготовительные меры.

Перед отъездом собравшиеся в помещении ТАСС гости да и хозяин несколько погрустнели. Хотя русских было всего двое, но все, по старому русскому обычаю, присели перед дорогой и помолчали. Савич проводил друзей до машин. Лукач ласково поблагодарил его и, прежде чем открыть дверцу «пежо», протянул ему обе руки, но Савич обнял его и на испанский манер — не целуя — похлопал по спине.

— Желаю новой славы Сорок пятой и всем вам,— говорил он, пока водители запускали моторы.— Я ведь в начале весны был там, под Уэской. Она еще с прошлого года как перезревший плод, который вот-вот упадет, но все еще держится, столько месяцев... Видно, вас ждет. Берите ее поскорей и приезжайте в Валенсию праздновать.

Проехав мимо бивуаков обеих бригад, Лукач поручил их Петрову, пересадил адъютанта на место Крайковича и пригласил в свою машину Белова. Необходимо было

побывать в арагонском штабе, поскорее разобраться во всех деталях приказа и начинать действовать.

В замке, на большом расстоянии от передовой, где по-барски расположился генерал Посас, Белов со все возрастающим удивлением ознакомился с ненужно длинным приказом. А когда стал переводить его, то не только Лукач пришел в негодование, но и его адъютант.

С бюрократической тщательностью объяснив положение на участке, многословная бумага архаическим языком расписывала предполагаемую операцию по часам и даже минутам, не оставляя никакой инициативы командованию интердивизии и не допуская никакой случайности. Но большей странностью было то, что всем издавна окружавшим Уэску частям было предписано, не производя ни единого выстрела, ждать, пока 45-я возьмет два укрепленных и защищающих единственный узкий выход из города на запад населенных пункта — Чимильяс и Алере. Несколько предыдущих неудачных атак, сопровождавшихся серьезными потерями, а главное, утратой республиканцами веры в успех, до того безвыходно законсервировали их в траншеях и настолько лишили вкуса к действиям, что, как стало известно еще в Меко, сигналом авиационной тревоги под Уэской служил... выстрел из винтовки. Из стоявших вокруг Уэски трех дивизий лишь одна, носившая имя Карла Маркса, была сформирована каталонской партией, объединявшей коммунистов и социалистов. Остальные же две лишь с оговорками признавали право правительства Народного фронта и республиканского командования распоряжаться у них на Арагоне. Объяснялось это чрезвычайно просто: одна из них была анархистской, подчинявшейся (да и то не беспрекословно) руководству ФАИ, а другая, представлявшая более существенную военную силу, состояла из сторонников весьма напористой левацкой группировки ПОУМ, имевшей заметное влияние в Каталонии и почти никакого в остальной

Испании, хотя руководящий центр ее находился в Мадриде и даже выпускал там газету. В осаде города участвовало еще несколько мелких и абсолютно независимых черно-красных отрядов. Казалось бы, после нескольких месяцев молчаливой, почти символической, осады одновременное и внезапное открытие огня по всему фронту должно было бы произвести психологическое воздействие на осажденных и если не ввергнуть в панику, то хотя бы посеять тревогу, однако в приказе черным по белому было пропечатано: «Ningun tiro de fusil»[1]. Общий штурм должен был начаться лишь после того, как 45-я добьется успеха.

— Чистый бред,— вознегодовал Лукач.— Во-первых, какого черта с самого начала запирать ворота, через которые смогут уйти женщины с детьми и вообще все желающие из гражданского населения? И потом, разве не ясно, что взятые в котел будут драться до последнего, поскольку у них нет пути отступления? Ладно... Что в ступе воду толочь?.. Я пошел к Посасу, а ты двигай к его начальнику штаба. Оба потребуем внести необходимые поправки. Не могут они не послушаться. Детишкам понятно, что так не воюют.

Через полчаса из кабинета своего старшего коллеги вышел Белов. По виду его можно было догадаться, что переговоры прошли не так, как предрекал Лукач. Чуть позже по устланной сукном лестнице со второго этажа спустился и он сам в сопровождении адъютанта.

— Об упрямстве Посаса я наслушался от наших еще в Мадриде,— садясь рядом с Беловым, вспоминал Лукач.— Наивно, что я к нему так, без подготовки, пошел. Увидев же, что он и слушать меня не хочет, я обозлился, но Алеша-то у нас дипломат, переводил меня на французский вежливо. Да результат все равно — нуль. Кончил

[1] Ни одного выстрела из винтовки (*исп.*).

Посас тем, что будет настаивать на последовательном и неукоснительном выполнении всех параграфов приказа, чтобы Уэска не позже захода солнца 12 июня была очищена от мятежников.

— Ну а мне начальник штаба сказал, что во многом со мной согласен: действительно, составленный оперативной службой план взятия города не дает ничего самостоятельно решить его исполнителям, но сразу же объявил: изменить приказ ни на йоту нельзя, потому как генерал Посас никогда не меняет принятых решений.

— Все будто специально для удобства фашистов придумано, чтоб они, ни о чем не беспокоясь, целиком свои резервы против нас сумели обратить. Но до операции еще целых два дня, и все это можно поломать. Давай так, мой дорогой, я сейчас же звоню Григоровичу, да и остальные переговоры с начальством беру на себя, а ты займись своим делом. Но сначала совместно с Петровым набросай собственный, наш, план, чтоб дивизия Карла Маркса начала демонстративное наступление, а, когда пальба разгорится, мы с противоположной стороны неожиданно ударим.

Выяснилось, однако, что Григорович отбыл в Мадрид, где, как Лукачу было известно, готовилось наступление и тоже в масштабе интердивизии, а командовал 35-й генерал Вальтер, только создали ее по другому рецепту — придали Четырнадцатой еще две серьезные испанские бригады: бери, голубчик, и командуй на здоровье.

Уверившись, что в ближайшее время с Григоровичем ему не связаться, Лукач еще более помрачнел и все чаще брался за виски, а ложась в постель, принял какие-то порошки.

— Вот и сам знаю, что безнадежно: это ведь не просто так голова разболелась, это же непоправимые последствия давней контузии, а глотаю, хотя никто и ничто не помогает — ни врач, ни знахарка и ни лучшие лекарства...

Ну а вы спите,— гася лампу, посоветовал комдив адъютанту,— спокойной ночи.

Рано утром все офицеры штаба дивизии съехались в крохотное Сьетамо, километрах в пяти от которого лежала скрытая холмами Уэска. Во всем селении не нашлось достаточно большого дома, где хотя бы старшие командиры смогли устроиться вместе, и Лукач с адъютантом и Крайковичем поместились на выезде из Сьетамо в однокомнатном домике, хозяева которого перешли к родственникам, а Петров, Белов, Мориц и другие заняли на противоположной окраине пристройку к пустому каменному складу, очень пригодившемуся интендантам.

Несмотря на то что мигрень еще не прошла, Лукач сразу же выехал осмотреться. За возвышенностью, позади которой теснились домики Сьетамо, дорога выходила к перекрестку и раньше вела прямо на Уэску, но теперь по ней туда не ездили, а поворачивали направо. Широкое шоссе дальше сужалось и километра два бежало долиной, а затем круто брало опять вправо и серпантином подымалось на довольно крутую гору. По-видимому, серпантин этот откуда-то просматривался неприятелем, потому что был закрыт сплошными кулисами из сухого тростника на металлических опорах; по сторонам же дороги было немало воронок от гранат полевой артиллерии. Но в долине, вероятно, шоссе было невидимо неприятельским наблюдателям; во всяком случае, следов разрывов ни на нем, ни по сторонам от него не было. Тем не менее перекресток у Сьетамо был началом прифронтовой зоны, потому что возле него стояла хижина, напоминавшая пастушью, откуда выскочило двое караульных. Крайкович вышел поговорить с ними по-каталонски, а садясь обратно, объявил, что это пост дивизии ПОУМа.

Серпантин, на который они благополучно свернули, повилял, повилял и выпрямился на широком плато. Лукач остановил «пежо» и через засаженную старыми оливами

обширную террасу направился с адъютантом к обрыву. Внизу, на некотором отдалении, лежала Уэска. Отсюда, где они стояли, простым глазом можно было различить крыши больших зданий и колокольни церквей. Однако комдив принялся разглядывать город в бинокль. Адъютант последовал его примеру. В цейсовские стекла отчетливо стали видны и сохнущее во дворах ближней окраины белье, и развевающийся, вероятно, над резиденцией военного губернатора оранжево-красный королевский флаг, о котором в дореспубликанские времена романтические испанцы говорили, что он цвета золота и крови. Лукач опустил бинокль.

— Как думаете, возьмем? Это вам не Бриуэга,— вполголоса, чтобы снова не разбередить головную боль, спросил он и сразу же сам ответил: — Возьмем. Как пить дать — возьмем. Только, понятно, не завтра, а деньков этак через пять. Сначала необходимо будет обойти командные пункты всех до одного окружающих ее соединений и со всеми, даже с поумовцами, по-хорошему договориться, кто, как и когда будет действовать. А там, подготовив все с толком, с чувством, с расстановкой, возьмем, обязательно возьмем. При этом ни Чимильяса, ни Алере, мы, ясное дело, и трогать не будем. Зачем на рожон лезть? Пройдем ближе к городу...

— А как же завтра? — с беспокойством спросил адъютант.

— Будто вы меня не знаете. Мы же с вами не со вчера знакомы. Не стану я завтра наступать, и все тут. Благо в приказе все по часам и минутам расписано, есть за что уцепиться. Например, девять республиканских бомбардировщиков в шесть сорок пять двумя налетами подавляют огневые точки противника в Чимильясе и Алере. Но вы когда-нибудь слышали, чтоб они с такой точностью прилетали? А ни в жисть. Аэродром-то у них где-то под Барселоной, и прилетят они, положим, в семь ноль пять

или в семь десять. А я в шесть пятьдесят уже предупрежу Посаса, что сегодня наступать не могу: авиация в указанное приказом время не бомбила. То же и дальше. В приказе что́? До начала атаки в мое распоряжение должны поступить двенадцать танков. Но они своим ходом идут, и сроду не бывало, чтоб их сколько вышло, столько и пришло. Хорошо восемь, а то и семь явятся, да и припоздают. А я, значит, опять к проводу. Пехоте было обещано, что с каждым из штурмовых батальонов по шесть танков пойдет? Было. А их только по четыре. Могу я людей на неподавленные «гочкисы» слать?.. Дня два или три так пройдет, а там видно будет...

Уже садясь в «пежо» и сдвинув брови оттого, что Крайкович шарахнул за собой дверцей, комдив узнал от него, что есть и вторая дорога отсюда на Сьетамо, но она вдвое длиннее и очень узка: на некоторых поворотах и здешним двуколкам трудно разъехаться, не то что камионам. Выслушав, генерал решил возвратиться по ней и самому все посмотреть. Скоро он убедился, что информаторы Йошки не преувеличивали. Дорога оказалась не просто узкой, но не вполне безопасной даже при одностороннем движении. Часто машине приходилось прижиматься к скале, потому что с другой стороны в каких-нибудь двадцати сантиметрах тянулась пусть и не пропасть, но пренеприятная крутизна.

— Слушайте меня внимательно,— не поворачивая головы к адъютанту, заговорил Лукач.— Уже сегодня надо наглухо закрыть движение по тому, главному, шоссе. Сами видели, что оно побывало под обстрелом. Сразу как вернемся на то место, где сейчас стоит пост дивизии ПОУМа, поставьте наших бойцов и внушите старшему быть построже. Поумовцев же, с очень вежливой грамотой за подписью Белова, отправьте к своим. И чтоб больше ни одна и ничья машина там не прошла. Повторяю: ничья и ни одна. Движение будет односторонним: на фронт,

с грузами или людьми,— только по этой, где едем; пусть кругом, зато без риска, да и враг не засечет и не подсчитает. С позиций же вниз: одни пустые, ну и санитарные с ранеными — тут уж ничего не поделаешь!.. Как на перекрестке все устроите, возьмите охрану — и сюда. Где опасно, расставьте людей с флажками, чтоб шоферам издали видно было. Ясно? Пообедаем, и беритесь за дело...

Подъезжая к своему домику, они издалека опознали идущий навстречу запыленный автомобиль.

— Фриц пожаловал! — расцвел Лукач.

Оказалось, что по дороге Фриц подобрал Реглера, машина которого вышла из строя. Комиссар доставил командиру 45-й от Савича свежие (двухнедельной давности) советские газеты и флакон лаванды из Франции. Лукач радостно обнял Фрица.

— Не выдержал, понимаешь,— басил тот.— Узнал от наших, что́ здесь с вашим участием затевается, и первый раз в жизни дисциплину нарушил: не спросясь бросил свой Теруэль. Там теперь прямо-таки зимняя спячка. Махну, решил, к своим. Столько вместе пережили, авось чем и помогу.

Взаимно похлопавшись и с самим Фрицем и с его шофером, знакомым еще по совместному путешествию из Парижа в Альбасете, Алеша тут же в машине старшего теруэльского советника, пожелавшего поскорее ознакомиться с посасовским приказом, отправился к складам, где теснился штаб и все прочее. Оставив Фрица в крепких объятиях Петрова, адъютант предложил сархенто охраны — инвалиду и последнему из тельмановских могикан, пожелавшему по возвращении из госпиталя остаться в Двенадцатой,— подобрать четырех решительных ребят и вскоре на полуторке повез всех пятерых на перекресток. Поумовские милисьяносы подчинились без возражений. С благоговением неграмотных они приняли оправдательный документ, адресованный их предводителям, собрали

нехитрое солдатское барахло и затопали вверх по шоссе. Внушив, что следовало, исполнительному немцу, адъютант вернулся в Сьетамо.

Едва переступив порог, он еще из сеней увидел Лукача, сидевшего за столом и подпершего опущенную голову кулаками. Услышав шаги, комдив оглянулся.

— Это вы? А у меня опять мигрень разыгрывается. Но я сразу две таблетки принял, надеюсь, к приезду Фрица обойдется.

Пака привезла обед. Она наливала кофе, когда подъехал Фриц. Пакита поставила и налила третью чашку.

— Белов мне слово в слово приказ перевел и по карте все показал. Действительно странно,— с оттенком неодобрения сказал Фриц.— Хотелось бы посмотреть на тех, кто такое сочинял.

— Вряд ли их нам выведут напоказ. Зато есть возможность увидеть утвердившего эту...

Лукач не договорил: перед дверью, раскрытой, чтобы было не так душно, остановилась чья-то машина, окрашенная в тусклый защитный колер, по которому были пущены вполне декадентские коричневые разводы. Из нее вышел коротенький, курносый и скуластый незнакомец, загорелый, как араб, в военизированной и в то же время не форменной одежде. Новоприбывшего отличала лишь яркая, голубая шелковая рубашка. Фриц с ним уже где-то встречался, потому что поздоровался как со знакомым, но без обычной своей веселой приветливости, из чего Лукач понял, что советник в небесной рубашке не пользуется особой симпатией полковника. Тем не менее Фриц представил новоприбывшего как оперативного работника танковой группы на Арагоне. Еще пожимая протянутую ему руку, тот начал излагать «убедительную просьбу советника фронта, чтобы комдив 45-й безотлагательно прибыл вместе с командирами Двенадцатой и Тринадцатой интербригад на рекогносцировку к пункту...» —

и назвал то самое селение над Уэской, где Лукач уже побывал сегодня.

Лукач хотел было возразить, что он уже обследовал Уэску с этого плато и что оттуда даже в бинокль оборонные сооружения врага практически неопределимы, да и зачем накануне операции демонстрировать неприятельским наблюдателям кучу машин и толпу людей, из которых некоторые к тому же в цивильном, и бедным франкистам никак не догадаться, кто это такие. Однако, посмотрев в зеленые, как у кошки, глазки танкиста и выслушав не слишком новаторские его увещевания, не следует, мол, испытывать терпение начальства, вдруг сдался:

— Ладно, поехали, хотя оно абсолютно бесполезно и даже вредно. Алеша, вы сейчас будете около Белова, так пусть он распорядится, чтоб Паччарди и Янек со своими начштабами и комиссарами поживее выезжали туда, где мы с вами были.— Он, едва танкист вышел, взглянул на циферблат.— Ишь, как время летит. Всего сорок минут осталось. Просто удивительно. Пора и нам понемногу собираться. Тебе не кажется, Фриц, что вот уже дня три, как часовые стрелки вдвое быстрее пошли? Нет? Странно. А мне чудится. Будто даже шелест от полета времени слышен. Неприятное ощущение. Главное, ничего не успевается...

Забежав на минутку в помещение штаба с поручением от комдива, адъютант легко подобрал девять человек, которым предстояло стать регулировщиками, но, пока они запасались сухим пайком на сутки, наполняли фляжки, получали карманные электрические фонарики для ночной сигнализации и привязывали разрезанную простыню к штыкам, чтобы регулировать днем, прошло не меньше часа.

Сборы обоих комбригов были вдвое короче, и вскоре их машины одна за другой пропылили мимо домика, где Лукач, переходя с русского на немецкий и наоборот, из-

лагал Фрицу и Реглеру свои соображения, как избежать завтрашнего губительного наступления.

— Вот чудаки,— прервал он себя, когда мимо прошли две машины.— Или их не предупредили, что проезд напрямую закрыт? Давайте и мы за ними... А то как бы Паччарди там в амбицию не вломился. Храбрый и дельный офицер, но так самолюбив.

Фриц сел справа от Лукача, а Реглер рядом с шофером. Когда «пежо» вышло к перекрестку, стало ясно, что обе машины уже миновали пост. Нельзя было не сделать вывода, что приказание генерала игнорируется. Он пожелал разобраться в этом. Машина поравнялась с декоративной хижиной. Густав подозвал сархенто и строго спросил в чем дело. Тот по-немецки ответил, что ни одна машина туда не прошла и не пройдет, покуда он здесь, геноссе комиссар может ему поверить. Но имеет ли право начальник поста направлять в объезд сразу двух командиров бригад, если они избрали этот путь? Он отдал и тому и другому честь, но и не подумал останавливать. А то окажется, что он и геноссе командира дивизии имеет право остановить, если он решит здесь проехать? Нет, он не прусский солдат, а революционный боец и слепо выполнять приказы не умеет.

Лукач, не вмешиваясь, выслушал тельмановца.

— Ничего не попишешь,— признал он.— Некоторая логика в его словах есть.

Солнце палило немилосердно сверху, да еще отражалось от нагретого, как плита, шоссе. В машине, несмотря на то что все стекла, кроме передних, были опущены, сразу стало как в духовке. Где-то впереди время от времени глухо разрывались снаряды, хотя пушек и не было слышно.

— Чуешь? Не иначе как начали к замаскированному серпантину пристреливаться. А всего две легковые прошли. Это что-то новое. Вовремя я догадался послать адъютанта окружное движение организовать. Легковые бы,

конечно, проскочили, но сейчас-то уже грузовик за грузовиком впритык пойдут, могли бы и подбить. Однако, пора.

Эмилио включил мотор и начал разворачиваться, но Лукач тронул его плечо.

— А может, напрямик дернем? — повернулся к Фрицу.— Очень уж печет, а тут всей дороги минут на двадцать...

Фриц усмехнулся.

— Янек и Паччарди только проехали пост, а по ним уже ударили. Риск какой-то есть. Опять же это твое указание, чтобы здесь не ездить, и ты первый тобой же установленный порядок и нарушаешь. Но, с другой стороны, как бы и впрямь не припоздать...

— Выбор, как в русской сказке: прямо поедешь — голову потеряешь, направо возьмешь — коня лишишься,— пошутил Лукач.— Времени-то и вправду нет.

«Пежо» рвануло вперед. Горячий воздух, врываясь в окна, превращался в охлаждающий ветерок. Где-то слева от шоссе тянулись, постепенно приближаясь к нему, невидимые пока республиканские позиции, вдали подходившие к окраинам Уэски. Там перед ними, как крепость, стоял бывший сумасшедший дом, еще в прошлом году, благодаря тому, что его защищали одни унтер-офицеры, отбивший все атаки анархистов.

Когда до поворота к серпантину оставалось меньше двух километров, в машине стали слышны франкистские пушки, изредка стрелявшие с закрытых позиций откуда-то слева. Реглер, повернувшись к Лукачу, делился с ним своими мрачно-ироническими впечатлениями о крестьянских коммунах, организованных и управляемых арагонскими теоретиками анархии. Ведя машину на предельной скорости, Эмилио напряженно смотрел вдаль, чтобы неожиданно не налететь на выбоину. Фриц тоже смотрел перед собой, поверх растрепанной шевелюры Реглера, размышляя о том, что Лукач собирается избежать завтраш-

него наступления требованием скрупулезного выполнения всех предварительных его условий. По всей своей природе сочувствовать этому он никак не мог, но почему-то не испытывал и возмущения. «В испанской войне происходит много непостижимого, как, впрочем, и у нас в гражданскую бывало,— думал он.— Однако бюрократизма в министерствах достаточно, чтобы кого хочешь взбесить, а сколько случаев прямой измены. Конечно, бороться и с тем, и с другим надо легальными средствами, но ведь Лукач-то, в конце концов, академии не кончал и вообще на многое смотрит по-своему. Ну, и слишком мягок тоже. Писатель ведь. Хотя встречаются писатели не очень-то добренькие. Бригада же его, надо признать, не хуже, а часто лучше других себя показывала. Его, мягкого, бойцы почему-то зачастую слушаются лучше строгих. Доходит, видно, до людей его удивительная заботливость о них...»

Удара артиллерийской гранаты в шоссе, ближе к левому кювету и всего в нескольких метрах от «пежо», никто из сидевших в нем, кроме шофера, видеть не мог, но и он не услышал разрыва, потому что на таком расстоянии осколки летят гораздо быстрее звука, а они поразили Эмилио в лоб. Одновременно они изрешетили левую ногу комдива. Он услышал бы разрыв вместе с ощущением острой боли, но в голову ему ударил бесформенный полуфунтовый кусок металла. Реглера же поразило в спину, так что он тоже, ничего не услышав и не сообразив, потерял сознание.

Единственный, кто все слышал и видел, был Фриц. И он не мог не удивиться профессиональной ловкости Эмилио. Успев до ранения увидеть вздыбленное взрывом шоссе и взлетающую в небо щебенку, он в долю секунды убрал ногу с педали газа, нажал на тормоз и даже инстинктивно повернул вправо в наивной попытке увернуться, но тут же упал залитым кровью лицом на баранку.

«Пежо» ударилось крылом в парапет короткого мостика, под которым весной стекала в долину вода, и остановилось. Реглера при толчке качнуло вправо и выбросило его руку и плечо в открытое окно, а Лукач беспомощно повалился на Фрица. Осторожно высвободившись, тот нажал на рукоятку дверцы, чтобы открыть ее и бежать за помощью, но дверцу заклинило, и тогда, пользуясь своим малым ростом и худобой, он выбрался над опущенным стеклом, оттолкнулся руками от парапета, просунулся между ним и боком машины, оказался позади нее и бросился к тылу.

Он довольно долго бежал по заросшей канаве, по которой бежать почему-то показалось легче, чем по горячему гудрону, и вдруг увидел стоящую вдалеке у обочины санитарную машину, разминувшуюся с ними десять минут назад. Фриц закричал и сам удивился неузнаваемо ослабевшему своему голосу, но его услышали. Из кювета поднялись присевшие перекусить два санитара и очень высокий шофер. Очевидно, до них долетел грохот гранаты, а возможно, они увидели и разрыв и теперь сообразили, в чем дело. Длинный шофер, выйдя на дорогу, издали узнал только что промчавшееся ему навстречу серое «пежо», уткнувшееся в бетонное ограждение мостика. С неожиданной быстротой все трое попрыгали в светло-желтую карету с большими красными крестами и промчались мимо Фрица. Он остановился в кювете, смотря им вслед, и вдруг почувствовал непривычную слабость в коленях и сильное головокружение, вероятно, решил он, от бега по немыслимому солнцепеку. Появилось странное ощущение, будто он стоит на одной ноге. Опустив глаза, Фриц пораженно обнаружил уродливо распоротый и в нижней части раздувшийся сапог, запачканный чьей-то запекшейся кровью, а вокруг забрызганную ею траву. И внезапно понял, что тоже ранен, а между тем каким-то чудом — поверить невозможно — пробежал столько на поврежден-

ной в щиколотке онемевшей ноге. В глазах его потемнело, ощупывая край кювета рукой, он хотел сесть и тут же лишился чувств.

Рванув дверцу, вытащив и уложив на носилки незнакомого им, напряженно хрипящего плотного командира, на другие — почти не дышавшего второго раненого, с нашивками дивизионного комиссара, а потом и шофера, принятого ими за мертвого, санитары с помощью своего товарища, похожего на кинокомика Пата, закрепили их на полках машины, после чего разделились: один остался внутри, а второй сел возле водителя, и тот, еще раз лихо развернувшись, понесся в тыл. Вскоре оба увидели лежащего лицом на краю дороги, а ногами в канаве, добежавшего до них иностранного компаньеро. Устроив его па последние носилки, они поехали дальше.

Фриц пришел в себя, когда санитарная машина приближалась к перекрестку. Все вокруг продолжало кружиться, как в детстве, когда в престольный праздник он раз перекатался на деревенской ярмарочной карусели. Наверное, это — последствие большой потери крови, только к пренеприятному ощущению прибавилась теперь еще и боль в ноге, до того острая, что миновавшее забытье казалось счастьем. Однако ни медленное вращение боковых стенок «санитарки», ни почти нестерпимое дерганье от ступни к колену не могли помешать Фрицу сознавать, что самое важное сейчас — это как можно скорее дать знать штабу дивизии о тяжелом ранении Лукача, а также уведомить начальство о временном выходе из строя старшего советника под Теруэлем, необъяснимо как очутившегося под Уэской в разбитой машине комдива 45-й. Слабым голосом, используя четыре или пять из двадцати имевшихся в его распоряжении испанских слов, он уломал санитара остановить санитарную карету у поста на пересечении дорог и, показав подошедшему сархенто на лежащего рядом совершенно неузнаваемого, окровавлен-

ного Лукача, еле слышно произнес: «Хенераль вуэстро», повел глазами наверх, отчего все перед ним завертелось еще сильнее, прибавил: «...эль комиссарио Реглер» — и, с трудом прошептав: «Телефонирен битте», опять впал в забытье.

Потрясенный сержант, узнав от долговязого водителя, что раненых везут далеко, в Сариньену, и заметив на кузове каталонскую надпись, свидетельствующую, что машина принадлежит госпиталю дивизии ПОУМа, опрометью кинулся к своим бойцам и погнал самого быстроногого из них к Белову, с готическими каракулями на выдранном из книжечки для самокруток листке папиросной бумаги, сообщавшими, кого, в каком виде и куда провезли мимо их поста в таком-то часу, со столькими-то минутами.

Белов, не замечая слез, застревавших на небритых в предзавтрашних хлопотах щеках, схватился за телефон, и через невообразимо короткий промежуток времени после того, как в обширную реквизированную виллу, довольно толково переоборудованную под военный лазарет, внесли и поставили на мрамор холла четверо носилок с бесчувственными, залитыми кровью ранеными, к ней вихрем подлетела подаренная Хемингуэем американская санитарная машина, из которой выскочили Хулиан и два его ординатора. Не прошло и нескольких минут, как Хулиан определил, что генерал безнадежен, что легко ранен один Фриц, а Реглеру и Эмилио жизнь, увы, не гарантируется.

Тело комдива, с забинтованной широкими бинтами от ступни до паха левой ногой и обложенной ватой разбитой головой, не делая операции, перенесли в небольшую светлую комнатку, на обыкновенный обеденный стол и накрыли простыней — жара стояла страшная.

Осмотрев щиколотку пришедшего в себя Фрица, главный хирург 45-й препоручил его одному из своих помощ-

ников, сам же с другим занялся Реглером, а Эмилио доверил начальнику госпиталя.

Около двух часов Хулиан возился с изуродованной спиной несчастного, начав операцию с переливания крови и повторив его в конце. За это время он извлек из-под смещенных позвонков три больших осколка и еще множество мелких из мускулов и застрявших под кожей. Наложив швы и собственноручно забинтовав не приходящего в себя комиссара, он помог переложить его ничком на койку, снял с себя марлевую маску, вытер полотенцем мокрое лицо, вымыл руки, сбросил еще более испачканный халат и вышел на улицу покурить.

Стояло неподвижное июньское пекло, и табачный дым висел в нем, будто в комнате, не рассеиваясь. К усталости от затяжной и опасной операции не прибавлялось обычное в таких случаях удовлетворение от успеха: наоборот, Хулиан испытывал удручающее сознание собственного бессилия. Конечно, если не произойдет непредвиденных осложнений, Реглер должен выжить, хотя и останется инвалидом. Но и все лучшие хирурги в мире ничего не смогут сделать для Лукача, будто он убит на месте. Собственно, так оно и есть. Всякий другой скончался бы раньше, чем его вытащили из разбитой машины. Ведь этот осколок, врезавшийся в мозг, несомненно, разрушил основные его центры, однако сердце почему-то не остановилось, и железный организм продолжал бороться за уже окончившуюся жизнь.

И почему именно он, один из распахнутых навстречу людям среди бросившихся помочь Испании иностранцев, был обречен на смерть, от единственного снаряда, волею слепого случая упавшего на шоссе под Уэской как раз, когда там проходило перламутровое «пежо»?

Отбросив окурок, Хулиан направился ко входу в госпиталь, но увидел приближающуюся знакомую черную машину и остановился. Из нее поспешно вышел бледный

Белов и устремил умоляюще-вопросительный взгляд на хирурга. Тот отрицательно покачал головой. Белов подавленно всхлипнул, стараясь скрыть это, деланно кашлянул и, овладев собой, упавшим голосом спросил, неужели же операция ничего не дала? И, смотря на носки своих сапог, молча выслушал, что никакой операции и не производилось. Увидев изменившееся лицо начальника штаба, Хулиан счел необходимым добавить, что его-то не надо убеждать в спасительной роли хирургии на войне, где она, по существу, решает все. И русский полковник с немецким именем недели через три будет ходить с палочкой, а через год ему придется вспоминать, в какую ногу он был ранен. Успешно прошла и трепанация черепа, которую сделали генеральскому шоферу, и будем надеяться, что его юность поможет избежать возможных тяжелых последствий. Выживет и Реглер. А вот командира дивизии оперировать было просто незачем. Осколком в голову генерал был фактически убит, хотя его могучее сердце еще бьется. Зачем же терзать его тело бесполезной операцией, тем более, что никто не может сказать с уверенностью, не испытывает ли оно боли, даже если внешне на нее реагировать не в состоянии?

Нижние ресницы Белова заблестели слезами. Он одернул френч, будто ему предстояло являться к высокому начальству, и робко промолвил, что хотел бы проститься с умирающим. В маленькой комнате особенно громко и страшно раздавался прерывистый хрип Лукача. Простыня, покрывавшая его до тщательно выбритого еще этим утром, почти такого же, как она, белого подбородка, то резко вздымалась, то так же судорожно опадала. Вытянувшись и держа кулак у козырька, Белов с минуту простоял неподвижно и вышел на цыпочках.

Из коридора он увидел в палате справа Хулиана, наклонившегося над кем-то из раненых, повернул туда и узнал Реглера. Едва Белов подошел вплотную, как ране-

ный слабо простонал, и глаза его приоткрылись. Он долго всматривался в Хулиана и, похоже, не узнавал, зрачки его перешли на Белова и оживились.

— Спасайте Лукача,— внятно произнес он по-французски.— Главное это... Спасайте его... Меня оставьте пока... даже если я умру... Вы обязаны спасти Лукача...

Чужая медицинская сестра, с выбившимися из-под косынки седыми прядями, приблизилась к койке, держа шприц обеими руками. Комиссару сделали укол, и он затих.

Хулиан повел Белова в палату легкораненых. В глубине ее полулежал Фриц, глаза его лихорадочно блестели, похожая на небольшую подушку, обмотанная бинтами ступня лежала на сложенном вчетверо одеяле.

— Меня везут в Валенсию,— возбужденно объявил Фриц.— За моей машиной уже послано. Наши так решили. Но только поправлюсь — вернусь к вам... Лукач меня прикрыл собою и умирает. Я обязан заменить его, помочь тебе и Петрову...

Белов осторожно пожал сухую горячую руку Фрица, погладил плечо Хулиана и, не смотря по сторонам, пошел на душную улицу.

По возвращении в Сьетамо он узнал, что Петров распорядился отпечатать приказ о своем вступлении в должность командира дивизии, подписал его, но задержал распространение и сейчас же отправился к местам выгрузки обеих бригад, намереваясь провести в их расположении ночь и проследить за максимальной секретностью предутренней смены ими анархистской колонны, с полгода уже бездействующей в траншеях напротив Чимильяса и Алере.

Белов отпустил проститься с умирающим комдивом его сразу исхудавшего адъютанта и приступил к завершению последних приготовлений на завтра. Под вечер ему позвонили из штаба Посаса и от его имени предупредили, что из министерства обороны получено распоряжение дер-

жать в строжайшей тайне сегодняшнее трагическое событие до окончательного занятия Уэски. Внутренне не соглашаясь с этим решением, Белов все же отдал необходимые распоряжения по нижестоящим штабам, а потом, почти до рассвета, просидел над телефоном, в перерывах между переговорами прикуривая одну сигарету от другой. Когда же небо за окном начало светлеть, они вдвоем с адъютантом выехали на командный пункт. Уже подъезжая к палатке первой помощи с огромным красным крестом, от которой дальше следовало идти пешком, оба заметили сгорбленного и почему-то без каски или хотя бы фуражки Морица, бредущего откуда-то сбоку. Дождавшись его, Белов справился, все ли по части связи в порядке. И Мориц, подойдя вплотную, подтвердил, что «вшистко е в поржондку», но вдруг упал лбом на запыленный борт открытого автомобиля и навзрыд заплакал, что-то приговаривая по-польски. Белов, как ребенка, погладил его по седым вихрам.

— Плакать нам с тобой теперь нельзя, Мориц. Некогда. Потом, когда найдется свободное время, мы поплачем вместе, а сейчас операцию начинать надо.

Бывший командный пункт анархистов скрывался под солидным бетонным навесом. Стены были покрыты дорогими коврами, под ними стояли уютные кожаные кресла, а на неотесанных досках пола валялись груды пустых бутылок. Белов нашел, что пункт этот, смахивающий не то на импровизированный бар, не то на стан Пугачева, находится слишком далеко от позиций, и приказал переселяться на наблюдательный. Он был оборудован в глубоком укрытии, куда вел извилистый ход. На бруствере стояла стереотруба, к которой можно было подняться по деревянным ступеням, а в дальнем углу, к радости Белова, спал, лежа прямо на земле, исчезнувший со вчерашнего дня Петров. Услышав шаги, он сел, потянулся, протер глаза, посмотрел на часы и вскочил.

— Здорово, орлы,— преувеличенно бодро приветствовал он всех.

Обменявшись с ним несколькими словами по-болгарски, начальник штаба взобрался наверх, осмотрелся и, раздвинув засохшие маскировочные ветки папоротника, припал к окуляру. Телефонистам принесли кофе, и они поделились с остальными. Вскоре притащили десятилитровый термос, а также сумку с продуктами и охрапе. Она тоже предложила перекусить начальству, но ему было не до еды. Все же и Петров и Белов сделали по нескольку глотков кофе, но едва закурили, как в укрытие спустился Хейльбрунн.

— Генерал Лукач скончался около шести утра,— с деловитой сухостью и почему-то по-испански сообщил он.

Адъютант уткнулся лицом в стенку, и плечи его задергались. Хейльбрунн потоптался и пошел к ходу сообщения, сказав, что едет проверить, как на передовой подготовились к оказанию первой помощи и эвакуации тяжелораненых, а на обратном пути еще наведается.

Но незадолго до назначенного прилета республиканских бомбардировщиков Белова пригласили к телефону, и по лицу его сразу стало видно, что произошло нечто очень скверное. Положив трубку, он сначала закурил, а потом вздрагивающим голосом сообщил, что говорил Ожел с какого-то промежуточного коммутатора. Неподалеку от него германский истребитель спикировал на возвращавшуюся с передовой легковую машину и вдребезги ее раздолбал. Бросив аппарат, Ожел сбегал к проселку и нашел в изуродованной машине двоих уже бездыханных товарищей: майора Хейльбрунна и его шофера. Необходимо прислать за ними санитарную машину...

День начался весьма пасмурно, а закончился еще мрачнее.

Несмотря на предсказанное покойным комдивом опоздание легких бомбардировщиков, несмотря и на то, что

танков (и тоже с опозданием) прошло всего пять, приказ, касающийся пехоты, начал выполняться по писаному и, если не привел 45-ю к полной гибели, то причинил ей жестокий урон. Ни Чимильяс, ни Алере, оборонявшиеся солдатами регулярной испанской армии под командованием кадровых офицеров, не только не были взяты, но интеровцам не удалось даже приблизиться к ним на подходящее для последнего броска расстояние. Главной причиной этого была даже не стойкость их гарнизонов, но то, что оба пункта располагали средствами, исключающими возможность успешной на них атаки в лоб,— вплоть до вращающихся пулеметных башен. Уже к полудню в бригаде Гарибальди погиб лучший из комбатов, а два других ранены, погибли почти половина командиров и комиссаров рот. Польская же бригада потеряла свыше трети всего состава, причем между убитыми был всеми любимый за веселую храбрость адъютант батальона, недавно назначенный начальником оперативного отдела штаба бригады варшавский студент Давид Давидович.

Во второй половине дня Петров, пытаясь переломить ход событий, бросил в уже проигранное сражение и венгерский батальон, который Лукач собирался держать в собственном резерве. Вышло, однако, так, что именно этот резерв пострадал особенно сильно, и первым пал один из основателей венгерской компартии, носивший здесь фамилию Нимбург. Впереди всех, по-стариковски опираясь на палочку, он повел своих людей...

На поле затихшего боя уже опускались сумерки, когда Белов подписал и отправил начальнику штаба фронта подробный отчет о тяжелых результатах дня и о потерях, предсказанных генералом Лукачем, предвидевшим и заранее определившим причины этой неудачи. Однако, ознакомленный с беловским рапортом, неколебимый Посас приказал на следующее утро повторить все сначала и по тому же расписанию. Выслушав это, Петров прыгнул в

открытую машину своего друга и, стоя в ней, помчался в тыл уговаривать командующего отказаться от явно безумной затеи, но тот и слушать не пожелал...

На второе утро операция была повторена, с пичуть не большим, чем накануне, успехом.

Ночью же на позиции франко-бельгийского батальона вышел перебежчик, и не какой-нибудь там вчера мобилизованный, а сархенто второго года службы и при этом сторонник Республики. На допросе он показал, что еще дней десять назад их предупредили о предстоящем 12 июня штурме Чимильяса и Алере красной дивизией, составленной якобы из международных уголовных элементов и предводительствуемой известным венгерским, имеющим смертный приговор у себя на родине, бандитом по прозвищу Лукас.

А еще через день в дивизии Карла Маркса стало известно, что две недели назад к франкистам перешел, прихватив с собой проект приказа о взятии Уэски, один из штабных работников Посаса.

Лишь после этого Петров получил запоздалое указание, не поддаваясь ни на какие провокации, в бой с противником не ввязываться, однако позиции свои удерживать.

И только тогда санитарная карета повезла в Валенсию одетое в парадную генеральскую форму истерзанное тело генерала Лукача, героического и талантливого комдива, оплакиваемого бойцами, комиссарами и командирами, как в очень большой и дружной семье оплакивают ее главу. По сторонам же этого гроба, на линолеуме превращенной в погребальную колесницу санитарной машины, стояли еще два дубовых гроба — с останками Хейльбрунна и шофера Луиса. Возле водителя сели сопровождавшие — дочерна загорелый майор Пардо, командовавший сводным испанским батальоном «Мадрид», и адъютант покойного комдива. За машиной следовал вместительный автобус со знаме-

нами от всех батальонов, при знамени — по три человека от каждого батальона: сержант-знаменосец и два ассистента — боец и лейтенант. Более многочисленной делегации послать было нельзя: дивизия находилась на передовой.

Из покинутого арагонскими крестьянами прифронтового селеньица, где в пустых домах расположились госпиталь и все медицинское хозяйство дивизии, еще три дня назад так умело управляемое доктором Хейльбрунном, сейчас запертым, по испанскому обычаю, на ключ в тесном своем последнем пристанище, обе машины вышли еще затемно. Торжественная правительственная встреча первого убитого в боях испанского генерала была назначена во временной столице Республики на послеполуденные часы, по окончании сиесты, когда июньское солнце немного смягчится, ехать же предстояло часов восемь, так что время было рассчитано даже с запасом. Однако случилось непредвиденное: за Леридой зачихал и вскоре совсем отказал двигатель автобуса, из-за чего траурному поезду больше шести часов пришлось провести в авторемонтной мастерской, и к Валенсии он подошел лишь поздней ночью. В этот час на широком проспекте дожидался лишь сборный взвод офицерской школы интербригад, прибывший из Альбасете, и еще вернейший из верных — Савич с маленькой Габриэлой. Командовавший назначенным в почетный эскорт взводом немолодой югослав решил в честь убитого советского комбрига скомандовать по-русски: едва санитарная карета остановилась перед строем, как в затемненной улице в первый и в последний раз за века ее существования прозвучали команды: «Взвод, смирно!.. Слу-у-шай!.. Под знамя на кра-ул!!!»

Взвод альбасетских курсантов, неся винтовки на правых локтях дулом в землю и отбивая замедленный похоронный шаг, пошел впереди. За ним, развернув невидимые во мраке боевые знамена семи батальонов дивизии

(первым поплыло новенькое, но уже простреленное знамя мадьяр), двинулись знаменосцы с ассистентами по бокам, за знаменами, поскрипывая, проползла машина с гробами, за которой понуро и не в ногу шли команданте Пардо, лейтенант, полгода бывший адъютантом генерала Лукача, среброголовый Савич и Габриэла.

Шествие машин и людей, плохо различимых в теплой густой тьме, достигло старинного дома, где недавно помещалась семинария. Сейчас он принадлежал местному Крестьянскому союзу. Будущие офицеры интербригад по шестеро внесли гробы в семинарский зал, из которого были давно выброшены все прежние приметы его прошлого, и установили на постаментах. И ночью в богатый дом стали поодиночке, по двое и по трое приходить люди, чтобы негласно проститься с генералом Лукачем.

Но вот наступило утро, а за ним пришел безоблачный и потому невыносимо жаркий день. После полудня на раскаленной главной площади начали собираться густые толпы жителей Валенсии. Немного позже стали подъезжать машины, из которых выходили: председатель совета министров, видный ученый, доктор химии и профессор, социалист Хуан Негрин, начальник штаба республиканской армии генерал Рохо, министр земледелия коммунист Урибе, другие министры, Долорес Ибаррури, многие военачальники, представители комитета Народного фронта города, испанские писатели и поэты. По указанию генерала Григоровича, за редким исключением, отсутствовали ради соблюдения конспирации только советские товарищи покойного.

После выступлений нескольких ораторов похоронная процессия потянулась к главному городскому кладбищу. Черный же лакированный гроб со стеклянной крышкой, в котором покоился мертвый Лукач, был установлен на артиллерийском лафете, везомом тремя парами вороных, управляемых ездовыми.

Самые близкие из сослуживцев и друзей Лукача на руках внесли гроб в ворота.

Почти вся Валенсия, кроме ближайшей к морю ее части, стоит на скалах, и рыть могилы в ней невозможно. Поэтому даже на самом буржуазном местном кладбище гробы замуровываются в специально сооруженных полых стенах, напоминающих гигантские соты. Несшие убитого повернули направо и подошли к массивной стене, в которой на уровне человеческого роста зияли три одинаковых склепа. В боковых уже стояли два гроба, центральный предоставлялся генеральскому. Кто-то предложил, однако, поскольку война затягивается и многое предугадать невозможно, на всякий случай переставить гробы павших товарищей так, чтоб нельзя было догадаться, в какой нише кто захоронен. Кладбищенские каменщики, закрыв отверстие хорошо подогнанными пластинами, зацементировали их. Специальный раствор застыл с необыкновенной быстротой, и тогда Антек Коханек слева направо латинскими буквами нацарапал куском древесного угля на каждой нише: Luis, Heilbrunn, Lucach.

Около получаса перед этим катакомбным захоронением и несовпадающими надписями молча простояли человек десять офицеров и около двадцати бойцов, а также Савич и Габриэла, пока кладбищенский сторож не предупредил, что ворота закрываются.

Большинство уже утром выезжали на фронт и больше не могли посещать это кладбище. Однако через месяц советская делегация на Втором международном конгрессе писателей в защиту культуры, многие заседания которого проходили в Валенсии, побывала у места погребения своего коллеги и положила цветы к его склепу.

ЭПИЛОГ

Война в Испании продолжалась, становилась все напряженнее. Каждая новая неделя, а там и месяц за месяцем постепенно опускали невидимую завесу забвения перед стеной, в которой был замурован гроб генерала Лукача рядом с двумя товарищами по оружию и смерти. Когда пала Валенсия, между прахом его и всеми друзьями встала новая непреодолимая стена, отделившая его от мира, в котором он жил и в котором продолжали жить его близкие. А скоро вспыхнула и вторая мировая война. Ее огонь охватил большую часть человечества, неся с собой ни с чем не сравнимые потери и заслонив и далеко-далеко отодвинув еще недавно так волновавшие весь мир испанские события.

Но когда затих оглушающий грохот новейших средств уничтожения, осела пыль в разрушенных дотла городах и ветры развеяли запах пожарищ, тогда, не сразу конечно, стало выясняться, что всепоглощающее время не всегда заставляет забыть некоторые, казалось бы, уже навсегда выпавшие из памяти дела. И понемногу стали возвращаться из небытия бескорыстные подвиги испанской войны. И тогда — едва ли не первым из всех — в Москве вспомнили Матэ Залку. И к двадцатой годовщине со дня, когда он был убит на жаркой дороге под Уэской, главные наши толстые журналы поместили статьи и воспоминания о нем, издательства начали переиздавать его произведения и многочисленные книги о нем. Не всегда и не во всем то, что писалось, отвечало строгой истине. Однако память о Матэ Залке в СССР и в Венгрии не только возрождалась, но и сохраняется вот уже десятилетия. И объясняется это в первую очередь особенностью и яркостью его биографии, удивительной его жизнью. Под своим паспортным именем он ушел воевать за Австро-Венгрию, в русском плену взял свой литера-

турный псевдоним и прославил его сначала в роли руководителя сибирского партизанского отряда и позже в качестве командира интернационального кавалерийского соединения, а по окончании гражданской войны он сумел стать писателем Матэ Залкой и, наконец, под третьим именем — генерала Лукача, пал в борьбе с фашизмом. Однако это не единственное объяснение. Еще больше поражает людей и поддерживает живую память об этом богато одаренном и мужественном человеке его непосредственная и всепроникающая доброта, сохранявшаяся в нем в столь жестокие и многотрудные времена.

Через сорок один год и десять месяцев после того, как осколок снаряда, разорвавшегося на шоссе под Уэской, сразил командира 45-й интернациональной дивизии, 11 апреля 1979 года доставленные самолетом из Испании останки генерала Лукача были преданы земле в Будапеште.

Этому событию, достойно увенчавшему жизнь и смерть героя, предшествовала длительная и кропотливая работа венгерских офицеров и дипломатов. Еще тогда военный атташе ВНР в Москве собирал среди советских ветеранов испанской войны сведения обо всех обстоятельствах погребения генерала Лукача. Подобные уточнения производились и среди венгерских бойцов интербригад. Но при первом же очень осторожном устном запросе о возможности перенесения праха его на родину правительство диктатора Франко ответило безапелляционным отказом. После смерти каудильо прощупывание было возобновлено и встретило уже не столь враждебную реакцию. Переговоры периодически возобновлялись, прежде чем удалось воплотить благородный замысел. Общий, большой и давний долг был выполнен, и выполнен достойно. Прах Матэ Залки вернулся домой и лег в землю праотцов.

Эйснер А. В.

Э-33 Человек с тремя именами: Повесть о Матэ Залке.— М.: Политиздат, 1986.— 335 с., ил.— (Пламенные революционеры).

Э $\frac{0506000000-028}{079(02)-86}$ 153—86

84Р7+66.61(4Вн)
Р2+3КИ1(092)

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЭЙСНЕР

ЧЕЛОВЕК С ТРЕМЯ ИМЕНАМИ

ПОВЕСТЬ О МАТЭ ЗАЛКЕ

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*
Редактор *Л. Б. Родкина*
Младший редактор *М. В. Водолагина*
Художник *А. И. Сперанский*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *И. А. Золотарева*

ИБ № 3246

Сдано в набор 26.08.85. Подписано в печать 08.02.86. А 00028. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 15,31. Усл. кр.-отт. 18,46. Уч.-изд. л. 15,70. Тираж 300 тыс. экз. Заказ № 464. Цена 1 р. 20 к.

Политиздат. 125811, ГСП,
Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уральский рабочий»,
620151, г. Свердловск, пр. Ленина, 49.



